

175

ГРАНИ

GRANI

ГРАНИ

1995

175

1995

Verlagsort: Frankfurt/M, Oktober-Dezember

"ГРАНИ"

Ежеквартальный журнал литературы, искусства, науки и общественно-политической жизни. Проза, поэзия, очерки современности, философия, публицистика, литературная критика и пр.

Журнал считает своим долгом способствовать развитию свободной мысли, свободного слова, свободного творчества; почти полвека журнал способствовал публикации произведений, которые не могли быть изданы на родине из-за цензурных или политических ограничений. Из широко известных авторов в "Гранях" были опубликованы произведения:

А. Ахматовой, Д. Андреева Л. Бородина,
М. Булгакова, И. Бунина, Г. Владимова,
В. Войновича, А. Галича; Э. Гиппиус,
В. Гроссмана, Ю. Домбровского,
Н. Заболоцкого, Б. Зайцева, Е. Замятина,
Н. Коржавина, В. Корнилова, А. Куприна,
С. Левицкого, Н. Лосского, В.
Максимова, О. Мандельштама, В. Набокова,
Виктора Некрасова, Б. Окуджавы,
Б. Пастернака, К. Паустовского,
А. Платонова, Г. Подъяпольского,
Р. Редлиха, А. Ремизова, Ф. Светова,
А. Солженицына, В. Солоухина, В. Тарсиса,
М. Цветаевой, И. Шмелева, В. Шульгина

и многих других отечественных и эмигрантских авторов.

И в новых условиях уже в самой России журнал будет следовать прежним принципам, в первую очередь способствуя публикации произведений, помогающих освобождению от остатков тоталитаризма в душах людей и восстановлению прерванных им традиций российской культуры.



**Журнал основан в 1946 году
Основатель журнала Е. Р. Романов**

Редактировали:

1946 Е. Р. Романов, С. С. Максимов, Б. В. Серафимов

1947 - 1952 Е. Р. Романов

1952 - 1955 Л. Д. Ржевский

1955 - 1961 Е. Р. Романов

1962 - 1982 Н. Б. Тарасова

1982 - 1983 Р. Н. Редлих, Н. Рутыч

1984 - 1986 Г. Н. Владимов

**Главный редактор
Е. А. Самсонова-Брейтбарт**

Г Р А Н И

ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ, ИСКУССТВА, НАУКИ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ

Год L

№ 175

1995

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Игорь ГЕРГЕНРЕДЕР Птенчики в окопах (<i>Повесть</i>)	5
Алла МИХАЛЕВИЧ "Вся жизнь моя – лесоповал..." (<i>Стихи</i>)	35
Борис КРЯЧКО Во саду ли, в огороде (<i>Повесть</i>)	42
Давид РАСКИН "Мир за оконным стеклом..." (<i>Стихи</i>)	85
Владимир КАНТОР Стоп-кран (<i>Рассказ</i>)	90
Рита́лий ЗАСЛАВСКИЙ "Вода который век течет..." (<i>Стихи</i>)	103
Александра ПОПОФФ Гуд бай, Арина (<i>Рассказ</i>)	111

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Григорий КРУЖКОВ Видение цыганки: Йейтс и Блок	117
Юрий МАЛЬЦЕВ Феноменологический роман (Глава из новой книги "Иван Бунин")	127

ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ

Галина ПЕТРОВА Чабаталы дворяннар	151
--------------------------------------	-----

Татьяна ЖИЛКИНА	
Встреча и прощание с адъютантом Верховного Правителя	176

ИСТОРИЯ

Проф. Сергей УТЕХИН	
Череда судьбоносных выборов	189
Борис СОКОЛОВ	
Собирался ли Сталин нападать на Гитлера?	213

ПУБЛИЦИСТИКА

Валерий СЕНДЕРОВ	
Евразия: прошлое или будущее, реальность или миф?	247

ФИЛОСОФИЯ. РЕЛИГИЯ. КУЛЬТУРА

Николай СЛАВЯНСКИЙ	
Теорема Архилоха	279

КНИГИ И ЖУРНАЛЫ

Елена БАЖИНА	
Если предание возвращается (Сб. "Дар ученичества". М., Руссико, 1993)	303
Георгий ПАХОМОВ	
"А было путешествие отменным..." (<i>"Берега". Стихи поэтов второй эмиграции.</i> Филадельфия, 1992)	310
КОРОТКО ОБ АВТОРАХ	314

Обложка работы художника Н. Мишаткина

Игорь ГЕРГЕНРЕДЕР

Птенчики в окопах

Я крепко спал, накрывшись хозяйским тулупом, когда прибежал Вячка Билетов. Я не слышал, как он дубасил ногами в ворота, переполошил соседских собак, поднял хозяина. Вячка сбросил с меня тулуп.

- Лёнька, выступаем!

Я сел на топчане, из открытой двери обдало морозом; у меня сразу застучали зубы. Вячка схватил за плечо пятерней в ледяной перчатке:

- Ноги в руки и - топ-топ! А я побежал других собирать... - он выскочил; дверь, обросшая по краю льдом, закрылась неплотно.

Была ночь на 12 января 1919. Наш 5-й Сызранский полк стоял в Оренбурге, на который наступали две армии красных: одна с северо-запада, от Самары; вторая - с юга, от Актюбинска. Меньше суток назад наш полк отвели с северо-западного участка, мы встали на квартиры, и вот - тревога.

Обуваюсь. Хозяин, малорослый бородатый возчик, дымит самокруткой, поглядывает на мои американские ботинки с голенищами. Натягиваю их на толстые шерстяные носки. Ботинки достались по счастью. Когда в сентябре 18-го мы, кузнецкие гимназисты, вступали в Сызрани в Народную армию Комуча, нам подфартило. В инденданстве оказался приказчик галантерейного магазина из Кузнецка Василий Уваровский. Он и постарался, чтобы американские ботинки были у всех кузнецчан.

Нас пришло в Сызрань больше тридцати. К нынешней ночи осталось двадцать четыре. Пятнадцать – из нашей гимназии.

– Х-хе, сударь солдатик, без ног будете, – замечает хозяин, посиживая подле меня на табуретке, тянется рукой к моему ботинку, – одна кожа, без подкладки?

– С подкладкой, – возражаю я, – да и носки!

Он качает головой. Не знаете, мол, наших оренбургских морозов, то, что до сих пор было, – это еще не морозы. Нынче – уже да! Как пошлют вас в степь, на ветер... Убеждает сменять ботинки на валенки: у него есть запасная пара.

Я вспоминаю, как последние недели в степи коченели ноги, но отдать мои темно-желтые, с рыжинкой, мои высокие ботинки свиной кожи – надывается сердце.

– Чтоб душа у вас кровью не залилась, можем эдак, – предлагает хозяин. – Коли воротитесь и скажете – валенки, мол, вам были без надобности, я возверну вам ботиночки.

Соглашаюсь. Хозяин одобрительно бормочет: – Умно! Еще как умно. – Дает мне мятые листы оберточной бумаги: из такой в лавках сворачивают кульки для пряников, сахара. – Поверх натальной рубашечки, сударь, завернитесь. А после – пухом... – сует пуховый оренбургский платок. – У нас так-то говорят: на бусурмана – отвага, на мороз – пух да бумага.

* * *

Прибегаю к школе прапорщиков, где наш штаб полка. Во дворе курят человек десять добровольцев, поеживаются на морозе. Другие несутся мимо них в здание. Звонко скрипит утоптаный промерзший снег. Я тоже спешу в школу, в столовую. Увы, варевом тут не пахнет.

- Лёня, ботинки стырили? - встревоженно восклицает Юра Зверьянский, глядит на мои валенки. Машу на него рукой, объясняю, в чем дело.

- Посмотрим... - мрачно говорит он насчет предложения моего квартирного хозяина. - Если не захочет возвращать, я приду!

Юра на год старше меня: ему семнадцать. Сын врача. Давно прославлен в гимназии страстью к самодельным адским машинам. Одна из них взорвалась у Юры в руках: лицо осталось обезображенным. Вместо левой брови - шрам; шрамы на щеках, на подбородке. Когда Юра сердится, лицо кажется злодейским - за это его прозвали Джеком Потрошителем. Прозвище Юре нравится. А вообще он очень гордый, обидчивый.

К нам подходит Петя Осокин, он учился в одном классе с Юрой. Сын небогатого помещика. У Пети большие, прямо-таки коровьи глаза, а в профиль похож на грача. Он - пылкий любитель литературы, причем увлекается Гоголем, Толстым и всей русской классикой. Это странно, многие из нас любят читать, но мы жадно читаем Эжена Сю, Хаггарта, Буссенара. Стрельба, приключения - что в книгах может быть интереснее этого? Для Осокина же страшно интересна какая-нибудь фраза из Гоголя. Когда, например, Чичиков торгуется с Собакевичем и Собакевич сообщает, что сейчас скажет Чичикову одно приятное слово. И говорит: "Хотите угол?"

- Хо-хо-хо! - Осокина душит смех. Петя вновь и вновь пересказывает сцену. - Представляете, Собакевич дерет за мертвую душу угол - двадцать пять рублей! И это для Чичикова - приятное слово, ха-ха-ха!

Пете возражают: ну и чего, дескать, особенного? Показано, что Собакевич - жадный, вот и всё.

- Не всё! - Осокин мотает головой. Ты только

почувствуй, как ввернуто! Какой иронизм. – И заговорщицки повторяет: – Хотите угол?

Сейчас Осокин, кивнув на меня, говорит Джеку Потрошителю:

– Лёнька – прямо Ноздрев! Проиграл ботинки, спёр у истопника валенки...

– Будет тебе, Николай Васильевич, – говорю я. Лучше скажи, чего нас взбулгачили?

Осокин окликает сызранского реалиста Селезнёва, в эту минуту вбежавшего в столовую: – Что-нибудь знаешь, Селезень? – Тот повернулся к нам, лицо розовое с мороза, на ресницах иней. С выражением бесшабашности выкрикивает:

– Оренбург прос...ем! Красные лупанули с юга, взяли Соль-Илецк. Нас бросают им навстречу.

– Врешь? – Джек Потрошитель обхватил сызранца за плечи, глаза Джека загораются. Селезнев клянётся, что не врет. Мы трое тискаем его, хлопаем по спине, по шее. Нас охватил азарт. Бои, в которых мы до сих пор участвовали, кажутся второстепенными. Мы всё время ждали бешеной победной битвы. Неужели она – вот-вот?

Примчались Саша Цветков, Вячка Билетов. Да, полк перебрасывают на южное направление. Будем заслоном на пути наступающих красных.

* * *

Так называемая Туркестанская армия красных продвигалась вдоль железной дороги Актюбинск – Оренбург. Ползли поезда с войсками, по бокам тянулись сотни саней, а дальше, по сторонам, простиралась покрытая глубоким снегом равнина.

Приблизившись к станции, занятой нашими частями, красные останавливались и начинали артиллерийский обстрел с дальней дистанции. Белые

отвечали, готовые отразить атаку. Но атаки не было; проходил морозный день. А ночью отряды красных на санях совершали по равнине глубокие обходы, с рассветом обрушивались на станцию справа и слева, грозя отрезать находящуюся в ней часть. В это же время красные атаквали и в лоб, по железнодорожному полотну. После короткого боя белые отходили, пока оставалась свободной железная дорога позади них. Через два-три дня подобное повторялось на следующей станции.

Против тактики красных могли и должны были помочь казаки. Это их местность. Им по силам не только перехватывать ночами отряды красных, но и самим делать набег, перерезать железную дорогу у противника в тылу. Однако в своем большинстве станичники воевать не рвались.

И вот Туркестанская армия уже в Соль-Илецке. Еще таких дней пять, и она вступит в Оренбург...

Нам положение отнюдь не представляется безнадёжным. Мы грезим победами.

— Сейчас слышал разговор офицеров, — возбужденно рассказывает Вячка Билетов, — к нам поступили французские пушки-скорострелки — митральезы! у них, как у револьверов, — барабаны. Снаряды — бу! бу! бу! Митральезки — на платформы. Платформы — впереди паровоза. И — понеслись! На один выстрел красных — семь наших. Краснюки в понос, и тут мы, пехтура, как рванем...

Когда это будет? — спрашиваю я.

Вячка уверяет, что нынче днем. При поддержке метральез мы переходим в наступление. Наш полк должен первым ворваться в Соль-Илецк.

Билетов — мой бывший одноклассник. На мой взгляд, у него много недостатков: ехидный, неумный, не всегда честный. Но он — мой лучший друг. Пухлый пунцовый рот Вячки всё время в движении: то причмокивает, посвистывает, то втягивает с

сипением воздух, сплевывает, то издает неприличные звуки. Однажды, когда нам было лет по двенадцать, Билетов принялся рычать на черного добермана-пинчера, который высовывался из окна дома кузнецкого пристава Бутуйсова. Пёс выпрыгнул в окно, ухватил убежавшего Вячку за каблук, отчего Вячка упал в обморок, и пёс его больше не тронул.

Отец Билетова - бухгалтер хлеботорговой компании; когда был жив мой отец, они у нас в доме часто играли в шахматы, а в клубе - в преферанс. Оба крепко выпивали, оба особенно любили мадеру.

* * *

Мы стоим в столовой школы прапорщиков, рассуждаем о митральезах. Джек Потрошитель говорит, что револьверные орудия применялись еще в японскую войну, но заметно себя не зарекомендовали. Вот если б начинять снаряды некоей особой взрывчаткой! Он оживленно о ней рассказывает.

Саша Цветков слушает с сомнением, вздыхает:

- Эх, дали б нашему батальону хотя бы пулеметик "льюис"! Да если и дадут, у нас пулеметчиков нет.

- Я могу быть пулеметчиком! - восклицает Билетов.

Саша не отвечает, выразительно усмехается. Умный, красивый, обстоятельный. Он один у матери, отца нет. Мать - известная на весь Кузнецк портниха. Из своих шестнадцати Саша три года отработал помощником повара в ресторане Гусельщикова "Поречье".

Билетов едко взывается на Сашу, придумывая, как его поддеть, но Петя Осокин берет Вячку за отворот шинели:

- Знаешь, ты кто? Помесь Хлестакова с Хомой Брутом.

Вячка в ярости подпрыгнул на месте, ударив себя каблуками по задку. Это его всегдашняя манера. Заорал на Петю:

- Петушенция, враль, я твой длинный нос отсеку!

Голос фельдфебеля Кривошеева, которого у нас почему-то зовут Кошкодаевым, гонит на поверку. Выбегаем во двор. Луна блестит в огромном слабо светящемся круге. Ну и стужа! После проверки ненадолго возвращаемся в столовую. Нам дают по седелке, по куску черного хлеба и по кружке чая. Проглотив это, хотим жрать как волки, растравленные косточкой ягненка.

Приказ - получить шанцевый инструмент, патроны. Затем строем направляемся на вокзал. Вдоль нашей колонны, визжа полозьями, проносятся сани; за ними еще, еще. Сворачивают на площадь к ярко освещенной гостинице "Караван-Сарай". У подъезда урчат моторами три автомобиля. Из гостиницы доносятся звуки оркестра.

- Что празднуют всю-то ночь? - произносит сызранец Мазуркевич, ученик фотографа.

- Может, уже знают о нашем наступлении? - предположил его земляк Чернобровкин.

Раздаются злой смех, ругань Селезнёва:

- Оренбург пропивают!

Проходим Новотроицким бульваром, здесь горят окна ресторана "Яик". Из распахнутых дверей вываливаются господа в одних сюртуках, хватают пригрошнями снег с сугробов, прикладывают к багровым лицам. От съеденного и выпитого им так жарко, что надобно взбодриться. С наслаждением вдыхают ледяной обжигающий воздух, из ртов вырываются облачка пара. Один из гуляк кричит нам:

- Ребятушки-земляки, самарские есть? Какой полк? Победа будет?

- А ну, без вопросов! - рявкнул на гуляку Кошкодаев, шагая обочь колонны. У него тяжелая поступь, голова ушла в широкие прямые плечи. Слышу, как он скрипуче ругается сам с собой: - Город на осадном положении, а где порядок?

* * *

- Гляди, Лёнька, и в кафе "Россинант" кутят! - на ходу поталкивает меня плечом Билетов. Наша колонна движется мимо пятиэтажного красивого дома, цокольный этаж занимает кафе. Вячка повернул голову к манящим окнам. - Лёнька, а ты съел бы на пари сорок блинов с икрой? Куда тебе, немчура. А я бы съел!

- Второй Собакевич! - насмешливо обронил Осокин, тут же словил от Вячки "длинноносого вральмана", "клювомордника" и "быкоглазого петуха".

Билетов ругается вполголоса, чтобы не слышал Кошкодаев. С Сипением втянул воздух, сказал: - С кем пари, что Гога съест пятьдесят блинов?

Впереди меня шагает Гога Паштанов, самый старший в батальоне; ему уже восемнадцать. Окончил нашу гимназию; пока не записался добровольцем в Народную армию, выступал в самарском цирке гиревиком. Его отец - столяр-краснодеревщик; когда готовую мебель грузили на подводы, за одну сторону комода брались трое грузчиков, а за другую - один Гога. Его выступление в цирке так понравилось купцу-татарину, что тот на свои деньги повез Паштанова в Казань и там, на празднике сабантуе, Гога бросил на лопатки знаменитого борца Ахмета Душителя. Газета "Казанский телеграф" поместила о Гоге захватывающий очерк "Юный лев Георг".

Паштанов ведет себя совершенно как взрослый. На приставания Билетова полуобернулся, заметил:
– Роняешь себя, Вячеслав!

Голова колонны поворачивает за угол. Нас нагоняют сани, с них кто-то в шубе кричит: – Эх-ма, тоска-а! Всё теряем, конец! Кто остановит? – Другие голоса успокаивают господина, он не умолкает: – Братцы, накажите их! Покарайте их, братцы... – зовет нас: – Прошу, молодцы, берите...

Джек Потрошитель зло бросает:

– Закроют ему рот?!

Но несколько наших, в том числе Вячка, пользуясь тем, что Кошкодаев уже за углом, бегут к саням. Вернулись. Билетов бурчит: – Там только вино да папиросы.

От Кошкодаева передают команду: подтянуться! Бодро поём:

Пошел купаться Уверлей,
Оставив дома Доротею.
На помощь пару, пару, пару
Пузырей-рей-рей
Берет он, плавать не умея...

Песня вызывает представление о старинной усадьбе. Тихий пруд, сад; среди его зелени белеют статуи обнаженных нимф, Диониса, стройных эфебов. Купанье в жаркий день... Всё это весьма странно представлять в ночном промерзшем городе, шагая по наезженному блестящему снегу, пуская из рта парок.

* * *

Звучит команда: "Вольно!" Мы на привокзальной площади. Здесь расположилась бивуаком конница: волжские татары. Над костром – широкий котел, в нем булькает варево. Какой восхитительно-дразнящий запах! Билетов толкает меня:

- Иди попроси мяса!

- А ты сам?

- У тебя морда вежливее – скорее дадут.

Мне не по себе; делаю два шага, останавливаюсь, Татарин в волчьем малахае смотрит на меня. Улыбнулся, запустил в котел шашку – на ее конце протягивает мне огромный шмат мяса. Рукой в перчатке хватаю его, благодарю – и тут команда: грузиться. Растегиваю шинель, сую мясо за пазуху. Бежим к составу, вскакиваем в теплушку, но нам кричат – в теплушках поедут казаки с лошадьми, а мы едем в вагонах третьего класса. Бежим туда.

Расселись, состав потащился. Билетов притискивается ко мне: – Давай мясо! – Шарю за пазухой: шмата нет. Выронился в беготне. Вячка лезет мне под шинель обеими руками. Вскочил со скамьи, подпрыгнул, ударив себя каблуками по заду.

- Один сожрал!

Я всё время был у него на глазах, он знает, что я не мог съесть мясо. Но ему хочется сорвать злость.

- Ну, немчур! Худой, а жрать здоров...

Бросаюсь на него, мой кулак попадает ему в скулу. Тут же получаю удар в переносицу. Стальные руки Паштанова хватают нас за шкирки: лечу на одну скамью, Вячка – на другую. Миг – и мы вновь кинемся друг на друга. Но властный голос Паштанова впечатывает:

- Больше разнимать не буду – пачкаться! Есть суд чести! Не доросли до него? Не понимаю, что вам вообще делать в армии.

Подавленно молчим. Эшелон прошел первую от города станцию Мёртвые Соли. За окном, обросшим инеем, по-прежнему – темнота. В вагоне топится печка, но всё равно холодно. Эх, почему сейчас не лето? Насколько легче было бы воевать! Со мной заговаривает Осокин:

- Слышь, Лёня, я всё вспоминаю – ох, и смешно!

Помнишь, как Пьер Безухов после Бородинского сражения мыслит, ищет истину – сопрягать, мол, надо, сопрягать. А оказывается, это он сквозь сон слышит возчиков: "Запрягать!"

Петя хохочет, я улыбаюсь; в самом деле, комично. Когда я читал это место в "Войне и мире", тоже смеялся.

– Или возьми, когда Пьера Безухова как поджигателя привели к маршалу Даву, а тот говорит: "Я знаю этого человека!" Лопнуть же можно...

– Ну, – возражаю, – вот тут уж ничего смешного нет.

– Что ты, Лёнька? – в Петиных красивых коровьих глазах – и недоумение, и жалость. – Ведь Даву видит Безухова в первый раз, не может его знать! Он играет, представляется – понимаешь? Погляди, какой иронизм! – Осокин изображает мрачного Даву. В профиль Петя похож на грача – у него выходит очень смешно. Хохочу.

– Да у Толстого всё – смех. – восклицает Петя. И что Пьер проводит время, размышляя о квадрате. И что Платон Каратаев не угодлив, а, хи-хи, ла-асков с французами. И то, как наши братушки якобы пустили к костру Рамбаля и его денщика: они, мол, тоже люди, ха-ха-ха!

– Пустят они нас к костру, – угрюмо замечает Джек Потрошитель.

* * *

На станции Донгузской мы было вышли из вагонов, но оказалось: здесь займут оборону основные силы, а наш батальон и казачья полусотня выдвигаются дальше.

Состав сторожко ползет вперед; сидим в вагоне, засунув руки в карманы шинелей. Воображаю кар-

ту, на ней – линию железной дороги, по которой навстречу друг другу движутся две стрелы. Вот-вот будет точка, где они сойдутся.

– А я Толстого тоже читал! – вдруг сообщает Саша Цветков. – Между прочим, с карандашиком.

– А? – Осокин озабочен.

– Помните, – говорит Саша, – Пьера Безухова зовут солдаты поесть кавардачку? Написано: сварили сало, набросали сухарей. А у нас в ресторане кавардак готовится ой не так! Тушится мясо с картофелем, горохом, луком...

– О-оо, опять про харчи! – раздражается Джек Потрошитель. Цветков смущенно умолк.

– Знаете, кто Сашка? – восклицает, смеясь, Осокин. – Господин Штольц из романа "Обломов"!

Это несколько неожиданно. Штольц как будто не имел отношения к кулинарии.

– Читал, – тихо сказал Саша; по лицу видно: раздумывает, обидно для него услышанное или нет?

– А Лёнька кто, знаете? – хохочет Осокин – Тургеневский Чертопханов!

У меня вырывается: почему?

– Да потому что смешно! Русачок Саша – немец, а немец Лёнька – безоглядный русский тип! Разве ж не иронизм?

– Тоже нашел немца, – ворчит Джек Потрошитель, – я его в прошлом году попросил сделать часовой механизм к адской машине – ничего не сумел. Даром что отец был инженер.

* * *

Умер отец на Пасху в 1914. Ему успешно удалили камни из мочевого пузыря, но фельдшер, промывавший заживающую рану, был под хмельком, занес инфекцию – заражение крови...

Отец строил мосты, плотины, водяные мельницы, строил и дома богатым купцам. Заработал состояние. Купил дом в Кузнецке, усадьбу в деревне Бессоновка, триста десятин земли. Но к сорока годам увлекся политикой, охладев к работе. Вступил в партию кадетов, часто ездил в Москву, в Петербург по партийным делам, жертвовал деньги, за свой счет построил в Кузнецке богадельню и сиротский приют, а в Евлашево – школу.

Когда отец умер, матери пришлось продать поместье, чтобы расплатиться с долгами; у нас остался только дом в городе.

Мать – одесситка, из состоятельной семьи образованных немцев-эльзасцев. Получила такое образование, что безупречно говорила, писала по-русски и по-французски, а на немецком объяснялась через пень-колоду. Она любила романы Чарской о гимназистках, состояла в обществе трезвости и, по очереди с другими дамами, работала подавальщицей в чайной для народа, где к яичнице бесплатно предлагали на выбор молоко, квас, клюквенный морс, сбитень и взвар.

После смерти отца у нас собрались его сестры, причитали, как же мать не уследила – был богатый человек и всё порастратил... Мать сцепила руки на груди, громко и нервно произнесла:

– Он служил России!

Когда началась война с Германией, мы с братьями, конечно, желали победы России, но такой, чтобы и Германия не была растоптана. Ведь из нее тянулся наш род. Мы любили немецкую живопись. Немецкая музыка нас будоражила. Мы считали Германию страной университетов, задумчивых сонных парков. Нас задевало, что в газетах германцев называют дикими гуннами.

Самое лучшее, если б война кончилась вничью, как партия в шахматы...

Старший брат Павка пошел на войну добровольцем, но, чтобы не стрелять в немцев, попросился на Кавказский фронт. Военное начальство его поняло и удовлетворило просьбу.

Отречение императора порадовало: мы считали его виновным в войне и вообще мы были республиканцами.

Большевистский переворот не показался серьезным. Вернувшийся с фронта Павка ходил по друзьям, читал газеты и чуть не ежедневно объявлял: ну вот, большевикам конец! Он симпатизировал правым эсерам, горячо повторял: "Увидите, еще какой переворот совершит Борис Савинков!"

Большевики заключили Брестский мир – и мы впали в смятение. С одной стороны, мир с Германией – это прекрасно. С другой – такое унижение для России... А эти большевистские декреты: какие слова! "Именем Республики..." Разберись тут.

В кузнецком Совдепе – симпатичные люди. Механик паровозного депо Суёмов – я дружил с его сыном. Телеграфист Ловисский – заядлый рыболов, сколько раз брал меня на рыбалку. Теперь оба называют себя большевиками, утверждают: народ на пороге великого, светлого...

1918, апрель. В Кузнецк вошел красногвардейский отряд Пудовочкина. И тогда стало понятно всё. В один день я увидел десять убийств. Они происходили на улице, а сколько их было в домах, в сараях... Купца Ваксова, единственного, похоронили в гробу. Всех других, по приказу красных, просто зарывали где попало.

С каким восторгом мы встретили выступление чехословаков против большевиков! Как сумасшедшие кидали вверх фуражки, узнав о формировании Народной армии.

Пошел купаться Уверлей...

Спрыгиваем с площадки в снег. Посветлело; перед нами простирается белая целина. Мы должны закрепиться справа и слева от железной дороги, перпендикулярными к ней линиями. Нас всего штыков полтораста, так что линии обороны получаются недлинными.

— Как с котловым питанием? — Селезнёв подступил к Кошкодаеву.

Тот отвечает расплывчато: положено, чтоб со следующим составом прибыла кухня

— Я вас поздравляю! — кричит Вячка Билетов, издает губами неприличный звук. — С добрым утром! А она прибудет?

Фельдфебель угрюм, раздражен: — Какие ко мне претензии? Воевать надо, сполнять приказ!

На него наседают: — А что — наступление? Сколько нам тут быть?

— Отставить разговоры! — он рывкает, потом, смягчая, добавляет: — Вы образованные, а дело военное — как не понять? Должны занять оборону, без приказа не отходить... — и заключает, как бы ссорясь, брюзгливым возгласом: — Я вас на войну не гнал!

Говорит с нами, добровольцами, обиженно и уважительно. Так он всегда. Однажды высказал: "Вам бы год — и были бы вы молодежь! А пока вы еще недоросли, мягонька кость — ну как на вас жать?"

Недоросли — это же оскорбление! "Мягонька кость..." Мне полтора месяца назад исполнилось шестнадцать. Вячка на две недели старше. А Наполеон говорил: нет лучше солдата, чем тот, кому шестнадцать! Кошкодаев, по-видимому, умней Наполеона... Голова втянута в плечи, несуразно широкий, грудь выдается какой-то бочкой. Осокин

называет его помесью унтера Пришибеева с Держимордой.

– Маловато нас, – озабочен Паштанов, – с флангов легко обойти.

У Кошкова такое выражение, будто у него болят зубы.

– Могут прислать сюда, – он покашливает, – ударный офицерский отряд...

– Офицерский? – Саша Цветков в сомнениях. – На наш батальон и одного офицера не хватило.

Выгрузилась казачья полусотня. Машинист огласил снежные просторы долгим прощальным гудком, паровоз дал задний ход; опустевший состав покати́л от нас в обратном направлении.

Тех, кто занял оборону справа от насыпи, – человек семьдесят. Мы, кузнечане, – в их числе. Кошкова назначил командиром Паштанова, а сам с другой половиной батальона, в котором нет и трети комплекта, расположился слева от железной дороги.

Мы вытянулись цепочкой от насыпи и принялись рыть лопатками ячейки в снегу, через пять-шесть шагов друг от друга. Позади, метрах в трехстах по железной дороге, – будка и сарай Сухого разъезда. Справа от нас, верстах в двух с половиной от фланга, виднеются дымки селения. Это хутор Утиный. Перед нами же, до горизонта, – сплошное белоснежное пространство. Вдаль убегает линия насыпи, сливаясь с равниной.

Казачья полусотня верхами потянулась по насыпи вперед, на разведку. Лошади фыркают, от их морд подымается пар. Спасаемся от мороза, ожесточенно работая лопатками. Какой-то казак обернулся, кричит:

– Интеллигенция свое дело знает! Ай, побегут нынче кр-р-расные!

Слева от меня роет ячейку Билетов, за ним – Джек Потрошитель. От меня справа – Осокин, дальше – Саша Цветков. Я почти по пояс в снегу, когда лопатка натывается на землю. Она как камень. Стараюсь разрыхлить ее штыком; дело трудно, но подвигается. Снял слой промерзшей земли в ладонь.

– Казаки! – крик Вячки.

Полусотня возвращается. Станичники съезжают с насыпи позади нас. Паштанов, оступаясь в снегу, идет наперерез передним: – Что происходит?

– Красные! – бросил с лошади старший урядник. – В степи снег лошадям по брюхо, воевать нельзя. Мы – на хутор, чтоб они его не заняли. За свой правый фланг не тревожьтесь: обойти не дадим!

Полусотня шагом тянется к Утиному. В противоположной стороне, за насыпью, розовеет половинка туманного солнца. Впереди у горизонта – морозная хмарь. В ней что-то движется. Сани. Еще, еще... Пять саней друг за дружкой ползут к нам.

Далекий гул, клубы дыма. Левее саней вытягивается, приближаясь, поезд. От волненья спешу рыть землю, наконец бросаю это. Поезд грохочет колесами на всю степь. Катит неспешно, но такое чувство, будто он приближается ужасно быстро.

Впереди паровоза – открытая платформа, позади – двенадцать теплушек и два синих пассажирских вагона.

По цепи передают: "Изготовьсь!" Сдираю перчатку с правой руки, затвор обжигает пальцы, как раскаленный добела. Платформа от меня приблизительно в версте; команда: "Целься в паровоз!" Прицеливаюсь в будку машиниста. Тут – грохот винтовок слева, за насыпью. Стреляю. От нашей

цепи несется оглушительный треск, будто рвут полотнище.

Выстрелы бьют почти непрерывно. Поезд убавляет ход. Над бортами платформы взблескивают огоньки, слышу свист пуль. По бокам какое-то нагромождение. Они, видимо, обложены мешками с песком, за ними прячутся красноармейцы. С платформы ударил и пулемет. Второй строчит с тендера паровоза.

Я скорчился в ячейке; грудь сжимает ноющее противное чувство. Если пуля ударит в снег передо мной, она косо прошьет снежную подушку – и мне в грудь! Я не защищен.

Поезд остановился; паровоз пыхнул паром, потянул назад. Пули посвистывают близко над головой, вокруг. То и дело тыкаюсь носом в снег, но заставляю себя целиться, спускать курок. Обойма израсходована – я спрятался в моей яме с головой, перезарядил винтовку.

– Сани! – кричит Билетов.

Перед нами, метрах в шестистах, развернулись сани. Обе лошади упали в снег, бьются. Позади саней чернеют две лежащие фигурки, три других медленно убегают, увязая в снегу. Дальше четверо саней, успев развернуться, уходят гуськом. Значит, наши били не только по паровозу, высыпали и этим. Прицеливаюсь, стреляю в беглецов.

Вдруг отходящий поезд остановился, раздвинулись двери теплушек, из них посыпались фигурки. Вытягиваются в цепочку по белой целине.

– А где знамёна? Хо-хо-хо! – Вячка захлебывается нервным смехом.

– Перестань обезьянничать! – неожиданно рассвирепел Джек Потрошитель.

Сидим в ямках в снегу. Передо мной поверх насыпанной горки – грядка выкопанной земли. Грядка в метр длиной, полторы ладони в высоту и немного больше – в ширину. Пуля стукнула в нее у моего лица: потеряв силу, упала на дно ячейки. "Ага! – успокаиваю себя. – Раз было так близко, в меня уже не попадут!"

До цепи красных, наверное, меньше версты. Мне кажется, их – штыков сто двадцать, не менее. Неумолимо приближаются. Состав опять пошел вперед: по нам ведут огонь стрелки с платформы и оба пулемета. От Паштанова передают команды: то бить по паровозу, по пулеметам; то – по цепи.

– А казаки-то, – кричит справа от меня Осокин, – как здорово могли бы теперь обойти красных! Не успели б и в вагоны уйти.

Он прав. И вовсе не по брюхо снег лошадям. Душат досада, злость.

– Где твои митральезы, Билет? – ору из ямки, корчась в ней и ненавидя сейчас казаков больше, чем красных. – Брехло-сволочь!

Расходую обойму за обоймой. А цепь красных уже метрах в трехстах. Поезд – впереди, слева – и того ближе. От плотного мучительного посвиста пуль тело непроизвольно вздрагивает, вздрагивает. Это невозможно выдержать! А красные наступают перебежками. В нашей цепи взвился жалобный вскрик. Его обрубил сильный уверенный голос Паштанова:

– Они сейчас лягут! Все – огонь по паровозу!

Целюсь в тендер, где пулемет, потом дважды бью по будке машиниста; и снова – прицел в тендер... Наша цепь трещит, грохочет выстрелами, паровоз сейчас принимает десятки пуль. Пуля трехлинейки легко пробивает обшивку паровозной

будки даже с расстояния в версту. Возможно, красные уже не раз заменили машиниста. Или же стенки будки укреплены.

Ну вот, наконец, состав отползает. Пулеметы смолкли. Скорее всего, ранены или убиты пулеметчики. Цепь противника рассыпалась, красные бегут к поезду, который тащится еле-еле. На ходу запрыгивают в теплушки. Кто-то из наших кричит: "Ура!" В самом деле, какое облегчение, радость. Продолжаем стрельбу

Пули реже, но всё еще свистят над нами: противник ведет огонь с платформы уходящего состава. Стреляют и с тормозных площадок.

- К-ха! - Вячка кашдяднул, взвизгнул. Вертит головой, выплевывает что-то. - Пуля в рот попала!

- Трепло! - выкрикиваю я; у меня уже нет злости.

Поезд встал верстах в трех. Как тихо сделалось вдруг! Оттираем снегом онемевшие носы. Мы насчитали девять оставшихся на равнине фигурок. У нас убиты трое, семеро ранены. Среди них - Паштанов. Сказал, что ранен легко, в руку; кость не задета. Приказывает спешно рыть окопы: противник наверняка получит подкрепление и повторит атаку.

* * *

Конский храп сзади, скрип полозьев. Оборачиваюсь. Подъезжают легкие санки, запряженные одной лошадью, ею правит усатый поручик. Встал в сани, с усов свисают сосульки.

- Как я вижу, гимназисты? Кто командует? - у офицера южно-русский выговор.

Паштанов вылез из своего окопчика, идет к саням пригибаясь, согнув раненую руку; кисть спрятана под борт шинели.

- А кто будет честь отдавать? - насмешливо спрашивает поручик.

- Извините, я ранен. - Паштанов назвал себя, просит офицера представиться.

- Поручик Кучерявенко! Из штаба украинского куреня имени Тараса Шевченко*. Почему, ... вашу мать, понапрасну тратите патроны? Противник на месте стоит!

Паштанов ответил, что патронов мы зря не тра- тим; отбита атака, сейчас окапываемся.

- Ата-ака? - офицер расхохотался; видать, выпивши. - Слушайте сюда, птенчики! За вами стоят мой хлопцы, - указал в тыл, в сторону, куда полого повышаясь, убегало белое пространство. - Будете тикать - вот вам крест! - не погляжу, что желторотые: постреляю!

- А-аа!!! - звонкий, острый, бешеный крик. Возле саней Джек Потрошитель. - Не смей! - судорожно хватая ртом воздух, оступается в снегу, водит перед собой винтовкой с примкнутым штыком. - Не смей так разговаривать! - вскинул трехлинейку: - извинитесь!

Поручик срывает перчатку, спешит растегнуть кобуру. Осокин, стоя в окопчике, прицеливается в него. Я целюсь тоже. Чувствую нестерпимый позыв убить его. Убить - за то, что он из тыла и издевается над нами; за то, что мы, окоченевшие, голодные, оставлены в голой степи без подкреплений, а он грозит нам своими хлопцами, которые, вероятно, расположились в тепле на станции Донгузской.

* Часть, подобная калмыцким, татарским и другим национальным частям; насчитывала около 1000 штыков. Была сформирована из украинцев, проживавших в Самарской, Оренбургской губерниях. Летом 1919, перебив своих офицеров, перешла на сторону красных. (Примечание автора. - И. Г.)

- Зверянский! - дико кричит Паштанов. - Вернитесь в окоп! - Приказывает нам: - Обезоружьте его!

- Убью... мерзавца... - у Джека Потрошителя от ярости перехватило горло. - Дуэль на винтовках... с тридцати шагов... немедленно!

Поручик, видя нацеленные в него стволы, оставляет в покое кобуру; стоит в санках, свесив руки вдоль туловища. Ему очень неудобно.

Билетов схватил Джека Потрошителя сзади: - Юрка, хватит тебе... - На помощь Вячке подоспел Селезнёв. Вдвоем держат Зверянского, он остервенело вырывается. Вячка, задрав его винтовку вверх, кричит офицеру: - А вы что? Принимаете вызов?

Паштанов встал между санями и Потрошителем. Поручик Кучерявенко вдруг сжал кулаки, взмахнул ими:

- Да разве ж у меня подымется рука на птенца?! - бухнулся в санки, рванул вожжи. - Да пошло оно к бису! - Развернулся так круто, что сани едва не опрокинулись. Нахлестывая лошадь, погнал ее рысью туда, откуда его принесло.

- После боя найду! - сорванным голосом прокричал вслед Зверянский. - С тридцати шагов...

* * *

Паштанов, хоть и горбился из-за раны, возвышается на Потрошителем на голову. Приблизил к нему белое как снег лицо:

- Еще один такой поступок, Зверянский, и будешь стреляться со мной! Но не с тридцати шагов, а с пятнадцати. - Морщась от боли в руке, вернулся в свой окопчик.

С Потрошителя уже схлынуло. Стоит, расставив

утонувшие в снегу ноги, задумчиво смотрит в сторону красных. До чего ужасно его лицо, изуродованное шрамами. То ли от мороза, то ли от пережитого волнения шрамы почернели, а кожа между ними пошла белыми, красными, синими пятнами.

– Как он перед тобой сдрейфил! – восклицает Вячка, зачем-то трогая Джека за предплечье, ощупывая локти. – Если б не я, ты бы его застрелил.

– Никогда! – оборвал Потрошитель. – До тех пор, пока он сам не поднял револьвер, до счета "два" я стрелять бы не стал!

– Знаешь, ты кто? – кричит Осокин. – Помесь Дорохова с Андреем Болконским! В самом лучшем, конечно, смысле.

Группкой человек в шесть мы уселись на корточки вокруг окопчика Джека Потрошителя. Нам радостно, что мы всыпали красным и отогнали их, что наш товарищ обратил в бегство наглого поручика Кучерявенко.

– А у меня вино есть! – объявляет Вячка, прищмокивает, лезет в вещевой мешок. – Давеча в городе гуляка подзывал – сунул мне... – достает две бутылки портвейна. – О-оо?..

Портвейн превратился в лед, бутылки даже треснули от мороза.

– Досадно? – смеется Саша Цветков. – А у меня целая! Я коньяк взял! – Подбрасывает над головой и ловко ловит бутылку коньяка.

Первый глоток предлагается Потрошителю.

– За Мишку Семёнова! – провозглашает Цветков.

– За Колю Студеникина!

– За Власа Новоуспенского!

Пьем обжигающий ледяной коньяк за товарищей, убитых красногвардейцами Пудовочкина, передаем бутылку друг другу. Мы слегка опьянели.

– А я вот что... – посмеивается Вячка, плутовски подмигивает то мне, то Потрошителю, то Осокину. –

От отца получил весточку... Для меня переданы деньги... да вот-с!.. одному саратовскому кооператору. Он остановился в "Караван-Сарае". Сменят нас тут, вернемся в город – я к нему. Беру деньги и всех веду в "Россинант"!

– Анекдот, как и митральезы! – бросает Джек Потрошитель.

– Это почему? – вскипает Билетов. – Да, я слышал про митральезы не давеча, а еще примерно в сентябре. Но ведь это правда!

Передразнивая Вячку, Селезнёв издал губами неприличный звук. Хохоочем. Билетов ругается, сплевывает, машет руками. Божится, что его действительно ждут деньги у кооператора, что мы их прокутим, как только окажемся в городе.

– Ну? – поочередно хватая нас за плечи. – Что ты закажешь, ну?!

В конце концов мы поддались.

– Я – поджаристые котлеты, чтоб шипели, с хреном... – мечтательно говорит Селезнёв, – и яблочного ликёру...

– Я – бульон, голубцы в соусе и какого-нибудь красного вина, – сообщает Осокин. А лучше б всего – вишнёвки горячей с мёдом.

– А Лёнька, немецкая душа, что?! – восклицает Билетов, причмокивает, заглядывает мне в лицо. Остальные тоже смотрят с любопытством. – Небось, русский борщ и пельмени?

– Он закажет, – говорит Осокин, – хитрые няни, какие готовили у Собакевича.

– Ха-ха-ха!!! – всем ужасно смешно. Чувствую, что друзьям как-то даже очень приятно за меня, будто вдруг открылось нечто хорошее, чего во мне не предполагали.

– Я рекомендовал бы Лёне груздяночку с телячьей вырезкой, – улыбается Саша Цветков, – а пить – что будет. С напитками теперь туго.

Так и не успеваю объявить, чего бы я заказал: у Билетова пропало терпенье; кричит:

– А потом пойдем к женщинам!

– О-оо-хо-хо-хо! – от смеха падаю на бок. "К женщинам!" Я-то знаю, как развязный нахальный Вячка теряется перед прекрасным полом. Ни с одной заговорить не может. Встанет к ней боком, уставится на носки ботинок. И куда только деваается вся его бесцеремонность?

Его физиономия красней свеклы. Сипя, втягивает в себя воздух, выдыхает с ненавистью: – Ах, ты так... – Ему хочется изругать меня как можно обиднее, но тут Джек Потрошитель произносит:

– Артиллерия!

* * *

Вглядываемся в снежную даль. Там скопление человеческих фигурок, лошади, какая-то возня. Лошадей отводят от чего-то черного: это, кажется, не сани.

– Рассредоточьтесь! – кричит нам Паштанов из окопчика.

Разбегаемся по нашим ямам в снегу. Надсадный, с режущим присвистом вой. Рвануло позади правого фланга, словно небывало свирепо грохнул гром. Как страшно встал грязно-зеленоватый "тополь" разрыва! Ужас вжимает меня в окопчик. Эх, был бы он не в снегу, а в земле! Хватаю лопатку и рою, рою. Удалось углубиться в промерзшую землю дюймов на десять, не больше...

Рвануло впереди нас. Потом – позади, но так близко, что на минуту заложило уши. Кислая едкая вонь сгоревшей взрывчатки. Снова ненавистный, выкручивающий тебя вой. Страх такой, что вот-вот всё твое существо обратится в сплошной

истощный нечеловеческий крик. Согнувшись в три погибели в яме, вгрызаюсь в землю лопаткой, держа ее под грудью.

Разрыв справа – аж земля дрогнула. Кто-то кричит:

– Мазуркевича и Чернобровкина убило!

У меня сводит рот в странной неудержимой зевоте. Вой, посвист... Тычусь лицом в землю, трясусь. Я уже не властен над своим телом, сейчас оно само подпрыгнет – ноги понесут прочь от этого места, прочь от противника...

Не успел стихнуть гром разрыва, слышу голос Паштанова:

– Кто оставит позицию – расстреляю!

Орудую лопаткой, штыком в моем окопчике, выбрасываю мерзлые комья земли, колкое крошево, копаю... Охватила слабость. Замечаю, что дует довольно сильный ветер. Ох, и жуткая стужа! Небо в неплотных облаках; впереди и немного слева – мутно-лиловое, какое-то дымное солнце. Злая белая равнина. На ее краю – недостижимая пушка, посылает в нас снаряд за снарядом... Нестерпимо тянет свернуться в окопчике, как сворачиваются в снегу собаки, зажать руками уши, зажмуриться, замереть.

– Уходят! Глядите, братцы, – уходят!

Высовываю голову из ячейки: кто? где? Билетов показывает назад. От нашей цепи поспешно направляются в тыл две фигуры.

– Зверьянский, Осокин, Селезнёв! – резкий голос Паштанова. – Догнать и застрелить!

Истязающий вой: съеживаюсь в окопчике. От разрыва меня чуть не выбросило из него. Придя в себя, замечаю, что громко мычу. О! – как тянет мочиться! Окоченевшие пальцы еле справляются с пуговицами... Потом я смотрю назад. Две уходящие фигурки уже в метрах двухстах. Увязая в снегу,

наклоняются вперед, пытаюсь перейти на бег. По диагонали приближаются к насыпи железной дороги. Дальше видны будка и сарай Сухого разъезда.

За двумя спешат трое, отстают шагов на пятьдесят. Крайний слева упал на колени, вскинул винтовку. Одна из двух фигурок подскочила – запоздало долетел гулкий упругий удар выстрела. Прячусь в окопчике: о-о! невыносимо!.. Снова выстрел... еще, еще... Руки в ледяных перчатках прижаты к глазам, твержу: "Скорей-скорей-скорей!!! Когда это кончится?!" Выстрел...

Считаю, считаю про себя... Сорок... сорок пять... Кажется, всё! Распрямляюсь, заставляю себя не гладеть в ту сторону. Из соседней ячейки на меня смотрит Вячка, физиономия страдальчески искажена.

– Лёнька, я бы не смог...

А пушка посылает нам очередной подарок.

* * *

Трое вернулись. Зверьянский докладывает Паштанову. Различаю громко произнесенное слово: – Исполнено!

Осокин лежит в пяти шагах от своей ямы. Задело осколком? Приподнялся – вырвало. На четвереньках он дополз до ячейки, упал в нее. Переждав очередной снаряд, ко мне в окопчик ввалился Билетов:

– Лёнька, Джек передал – зырь за Осокой! Он теперь или застрелится, или на красных – ура! – чтоб убили. Гляди, чтоб ему не дать!

Киваю. С парализующей тоской чувствую: а ведь и правда! Осокин так и сделает, как говорит Билет. Куда там – не дать.

– Ты чего дрожишь? – тревожно, без тени ехидства, шепчет Вячка.

– Да ты и сам дрожишь.

Согласился. Говорит неопределенно: – А-аа... вот пойдем в контратаку...

Мы съежились – разрыв впереди позиции; над окопчиком с фырчащим звуком пролетел осколок. Ветер несет вонь прямо на нас.

– А Потрошитель молился сейчас за их души, – вздохнул шепчет Билет, втягивает с сипеньем слюну, – крестился, как семинарист... Ну, я пошел!

Уже сидя в своей яме, украдкой показывает мне рукой в сторону Зверьянского. Тот выпрямился на миг, надевая шапку, исчез в окопчике.

– Ай, как холодно! – донесся болезненный возглас Саши Цветкова.

Пушка всё бьет.

* * *

Я сжался в окопчике, свернувшись в нем как собака, сдавливая голову руками. Я в покорном онемении, тупая тихая боль во всех костях. До меня доходит, что разрывы прекратились, но выпрямиться, встать – это же так неимоверно трудно! Лежу...

Голос Осокина. Кричит – передает команду Паштанова: "Огонь!" Как мне удалось подняться, расправить плечи, выглянуть из окопчика? Поезд красных приближается, опять бьют два пулемета: с передней платформы и с тендера паровоза. Свистят пули – странно: мне больше не страшно. Но до чего тяжело двигать руками, держать винтовку...

Целюсь, стреляю. Выстрелы справа, слева. До поезда – с полверсты. Сейчас из теплушек посыпятся фигурки... Состав застыл. Наша цепь ведет по нему частый огонь. Ага – кажется, один пулемет замолчал. Поезд начинает медленно отползать. Стреляю, передергиваю затвор, дышу на воняющие порохом деревянные пальцы, стреляю, стреляю.

От ветра слезятся глаза. Состав красных верстах в двух? Или же в трех? Ну, атакуйте же нас! Чего вы ждете? Наши продолжают постреливать. От далекого паровоза стелется дым. Как я промерз!

Темнеет. Кажется, что справа и слева от меня разложены костры, но нет сил крутнуть головой. Да и незачем. Оступение. А костры – хорошо... Поезд красных уходит совсем – сколько дыма!..

* * *

Вот и звезды. Темно. Голос надо мной: – Жив, а? Жив? – Узнаю Кошкодаева. Он и еще кто-то выдержали меня из окопчика.

– Стоять можешь?

Повисаю на них. Метров двадцать они тащат меня по снегу волоком, лишь потом начинаю переступать сам. Идем вдоль насыпи к Сухому разъезду. На путях стоит эшелон, снуют военные – наши. Из того, что слышу, понимаю: прибыли резервы, штаб полка.

Кошкодаев, кто-то еще помогают мне подняться в вагон. Здесь невообразимо, сказочно тепло, светло. Пахнет жарящимся мясом. На столике дымится чай в тонких стаканах с подстаканниками. Нам навстречу идет начальник штаба полка капитан Зебров – с пористым носом, почти старый, на мой взгляд.

– Один-единный в живых, – докладывает Кошкодаев. – Восемь убиты, пятьдесят восемь замерзли.

– И Паштанов замерз? – спросил капитан.

– Так точно! Был ранен – его своей кровью к дну окопа приморозило. Насилу отодрали.

Зебров разглядывает меня.

– Молодец, что живой! Ай, хорош! – его лицо выражает горячее одобрение; проходит минута-две.

- А других очень жалко. Паштанов - готовый был офицер! И этот, шрамы на лице - молодчина. Да и другие...

Стоим, молчим.

- Что еще сказать? - говорит капитан. - Чересчур уж юные, а тут - условия зимнего боя.

- То-то и оно! - подхватил Кошкодаев.

- Вот-вот, - добавил капитан. И Кошкодаеву: - Ну, отведи, отведи его в санитарный вагон. Положи - пускай отдохнет.

Алла МИХАЛЕВИЧ

"Вся жизнь моя - лесоповал..."

* * *

Вся жизнь моя – лесоповал.
Побудки, режим, переклички.
Опасность мелькнет, как кинжал,
накатит, как рёв электрички.

Я вижу нацеленный ствол
на башне, где плещутся флаги,
барачный крутой произвол
моей коммунальной общаги.

Но мастер классических строк,
когда я почти что рыдала,
сказал, наставительно строг:
"Живут же и в лагере, Алла".

Надрывом моим удивлен,
в своей прозорливости вещей
он правильно взял эталон –
ведь больше и сравнивать не с чем.
1986

* * *

Я многое, конечно, понимаю:
возможно, тут никто не виноват.

Так и считал отец мой, умирая,
не проклиная райвоенкомат

Он до Постановления не дожид
"как инвалид войны"* – неполный год.
И мать всех справок не собрала тоже
(уж если не везет – так не везет).

Как зажигалки сбрасывала с крыши –
теперь уже никак не доказать.
Закон – дождались – справедливый вышел.
Но обошел мою родную мать.

Когда бы только ей одной не дали –
я промолчала б, удержала злость.
Но выданы двум тысячам медали,
а восемнадцать тысяч – обошлось.

Передавали замки по наследству.
Кто победнее – тот крестьянский дом.
А я оставлю тяжкое соседство:
я коммунальным пользуюсь жильем.

...Мать сохранила доброту и веру,
чтобы в наследство их оставить мне.
Готова я последовать примеру.
Но эти вещи нынче не в цене.

14. 01. 87

* * *

Что за жизнь – в непрерывной разрухе:
лифт испортился, нету воды

* Когда инвалидам войны стали давать квартиры по льготной очереди.

и утечка газа на кухне
нас вот-вот доведет до беды.

Коммунальные службы не внемлют –
обращаться к ним – хуже, чем в ад,
как пойдешь в эти мертвые земли –
никогда не вернешься назад.

На печи за неделей неделю
беспробудно Емеля сидит.
Он не сеет, не пашет, не мелет,
как и все – только делает вид.

Словно сонное царство из сказки:
стены ветхие еле стоят,
полиняли, осыпались краски...
Лишь ретивые стражи не спят.

Не приходит царевич-спаситель,
чтобы гаркнуть и всё оживить:
"Да, проснитесь вы, черти, не спите!
Начинайте-ка, сволочи, жить!"

20. 08 – 5.09. 88

* * *

Следы разрушения повсюду.
Мы в городе мертвом живем.
Строения, подобные чуду,
изъедены серым дождем.

Искрошится твердость гранита.
Колонны рассыпятся в прах.
Создатели нового быта
в повязанных серых платках

всё будут сновать меж развалин,
выискивать – "кто виноват?"
Их сущность единая – Каин,
но чуждый раскаянья брат.

Давно погибает Россия
и с ней – за народом народ.
А где же градуший Мессия?
Он всё не идет, не идет...

25. 09. 89

* * *

Вдоль вологодской ветки сиротливой
болотистые низкие места:
осина, ель, ольха с корявой ивой,
худые рёбра ржавого моста.

Исчезли барские усадьбы, но местами
остались лип неполные ряды –
осколками эпохи, островами,
где были и аллеи, и сады.

И я невольно распрямляю спину,
как будто в длинном платье я иду,
словно рюкзак с души мгновенно скинув,
к беседке или тихому пруду.

И только строгий уголь их подножий –
как чернота всё опаливших лет,
под лиственной нежнозеленой кожей
кора их вдоль потрескалась от бед.

19-21. 08. 90

*** * ***

Что тоскливее, чем сиротливость осин,
их худые и узкие острые плечи?
Здесь, под небом свинцовым, увидишь один
серый взгляд их – как будто призыв человеческий

или заячий крик – всё щемит и щемит...
Бесконечен их ряд в бесконечных просторах.
Но сердца наши тянет к себе и свербит
этой болью привязчивой в ссорах и спорах.

Эти изморось, дрожь и осенний озноб,
и безлиственный остов три четверти года, –
словно в серых одеждах застыл землероб –
этот стылый и жалостный облик народа.

20. 01. 91

*** * ***

Тополя чешуйки замелькали,
как зерно рассыпались под ним,
светлыми словами засверкали.
воздух пронизали золотым.

И ничем как-будто не отлична
века девяностая весна,
только шум разносится столичный
над землёй, очнувшейся от сна.

Многомиллионною листвою
снова веря потеплевшим дням,
тополя над майскою Москвою
шлют листовки дальним тополям.

Май 1990

* * *

На берегах зимы печальной
густеет страх в очередях.
Понежиться в дремотной спальной...
Всё те же мы на всех путях,

и никогда мы – так едины,
как нынешним голодным днем.
Души холодные крестины.
Она мечтает – не умрем.

Она не хочет приземляться
и замирать, и леденеть,
по темным улицам скитаться.
Нет! – взявшись за руки лететь

как на полотнах у Шагала,
как легкий тюль – от ветерка,
чтоб счастье в воздухе витало
и задевало нас слегка

касанием бабочки крылатой,
или травинки и цветка,
или повышенной зарплатой
инфляционного витка.

На берегах Невы туманной
Евгений жизнь свою клянет,
питается небесной манной
и с ночи в очередь встает.

02. 01. 92

* * *

Счастливым день! – Я обменяла
талон табачный – на песок!
В душе победного начала
окреп негромкий голосок.

Чуть-чуть расслабиться, забыться.
И полежать. И подремать.
Послушать пение синицы
и в небе журавля поймать.

А завтра снова погрузиться
в соленный магазинный быт,
где бесконечной вереницей
терпенье горькое стоит.

14. 01. 92

* * *

Бедная богатая страна –
ось моя. Заноза. Унижение.
Спящая царевна у окна.
Ты – закон земного притяженья
к темным заболоченным лесам,
стелющимся клюквенным пожарам,
к позабытым в поле колоскам,
к бледным, недовольным горожанам.

Я стихи писала о любви –
неспокойной, мучающей болью.
Ты теперь, на горе и крови,
стала для меня такой любовью.
Успокой поднявшийся прибор.
Не пугай – разбойными ночами.
Чтоб легко дышали мы с тобой
и как воздух бы – не замечали.

12. 02. 92

6-1589

Во саду ли, в огороде

I

Хранился у меня в архивах памяти один сюжет, и те, кому я его показывал, говорили, что годится, а хороший сюжет – это полдела сделано, что называется, вещь на крючке, не теряй времени. Я бы так и поступил, будь он без изъяна, но он, куда ни кинь и как ни верти, насквозь политический, а с политикой я не в ладах, – поэтому, но и не только. В общем, лежал он, лежал и пролежал тридцать лет и три года, – целая жизнь, прожитая стариком и старухой у синего моря. Попервах состоял он на консервации, поскольку пристроить его в журнал нечего было даже думать, а писать в стол смелости не хватало, – тема непроходная потому что, а у меня семья, дети, так как жизнью я дорожил, здоровье берег, детей любил, работал на-совесть, чтоб не выгнали, – всё, как у людей. Наверное, нетрудно догадаться, что протестант из меня сам себе на уме и фи́га в кармане, да и времена аховые, не медведя в окно дразнить: я ведь шестидесятник, и рассказ, признаться, о том же самом. Последний десяток лет страхов, правда, поубавилось, зато раздумий появилось не в пример: стоит, не стоит; язык один, уха два; щи хлебай, да поменьше бай; глядь, а мне уже за среднюю продолжительность перевалило.

Короче, захотелось поделиться и жалость взяла, что об этом достопамятном случае никто не узнает, — это раз, а во-вторых, хоть люди и говорят, будто своя ноша не тянет, а она с возрастом всё-таки тянет, и еще как. Стало быть, дай Бог память.

Из событий оттепельных шестидесятых годов хорошо помнится, как Гагарин в космос летал, Гаганова отказалась от получки, везде росла кукуруза, снежный человек оставил на Памире следы семьдесят пятого размера, в небе появились тарелочки, в Новочеркасске расстреляли рабочих, Роза Кулешова с завязанными глазами стояла перед картиной Левитана, пальцами на нее смотрела и рассказывала, что там нарисовано, приговаривая: "На всё пальцами погляжу, всё, миленькие, вам доложу", а в Союз приехал вице-президент США Ричард Никсон. Эпоха также фиксируется повестью об Иване Денисовиче, песнями о дяде Ване, о тете Шуре и о Мишке, первыми джинсами, первыми взбрыками рокенролла и еще много чем, но всего важней, первыми растабарами о правах. Диссиденты тут ни при чем, их тогда и во сне никто не предвидел, во всем повинно начальство. Совсем еще недавно в ответ на заявление работяги: — "Я буду жаловаться", — руководство говорило: — "А я тебя с говном смешаю", — и вдруг стали говорить: — "Это ваше право", — а о говне ни полслова, вроде его и не было; — вот тебе на! Лиха беда начало, почин дороже конца. Диссиденты же с отщепенцами попали на готовое, только и того, что просклоняли новое имя существительное во всех числах и падежах, пока до прав человека не добрались. Сейчас данный факт ставят в заслугу инакомыслящим людям, тогда как в действительности инициатива шла исключительно сверху по партийно-советской линии, так что давайте не будем лишать исторического автор-

ства тех, кто к нему практически больше других причастен, а то ведь что получается? проходимцам нобелевки, а истинным устроителям причин и следствий х... на палочке, – несправедливо.

Может, оттого теперь о шестидесятых годах и небывицы плетут: время наступило муторное; жизнь покачнулась; ждали мобилизации; спички, мыло и соль исчезли; очередями сдавали в сберкассе деньги; сушили сухари, отправляли детей в деревню, писали последние письма, прощали друг другу обиды, готовили смертное белье и кляли на чем свет Соединенные Штаты, а кроме того, по Москве тучами летал тополиный пух и донимали тараканы, самое бесспорное знаменье наворачнувшейся атомной беды, – мать честная, сколько их и откуда взялись, проходу не было, везде они: в борще, в карманах, в кухонном кране, – ты его открыл, а вместо воды тараканы. Мне шел тогда четвертый десяток, и я мог бы присягнуть на всех конституциях ООН, что войной в самом деле попахивало и очереди были, и пересуды всякие, а в остальном всё вздор и вранье и, как сказали бы насмешливые наши предки, – вскую шаташася языцы. Народ был бодр, настроение приподнятое, в жилищах музыка, во дворах доминошно-волейбольные игрища, мужчины соображали на-троих, женщин без авосек уже не наблюдалось, молодежь занималась сексом и модерново матюганила – о чем речь? какое уныние? откуда вы, с луны свалились? Нам не пристало паниковать, когда вся страна от мала до велика билась об заклад на соревнованиях, боролась за мир, воевала с пьянством, и каждый гражданин боевито наращивал темпы в поле и на производстве, работал над собой и сражался с собственными недостатками, ничуть не интересуясь, сколько ему заплатят.

Наверху тоже не скучали. В партийно-правительственном ареопаге с чувством глубокого удовлетворения, то ли в шутку, то ли кроме шуток, решался вопрос о переименовании всех подряд географических понятий, а заодно и дней недели в режиме пятилеток: начинальник, ускоряльник, решальник, определяльник, завершальник, субботник и воскресник. А молодежные фестивали, когда в аптеках презервативы шли нарасхват для изготовления цветных воздушных шаров. А интеллигентский диалог, отражавший, как в зеркале, диалектику всякой новации во всесоюзном охвате: "Верно ли, будто Иван Иванович выиграл в лотерею "Волгу"? "Верно. Только не Иван Иванович, а Пётр Сергеевич, и не в лотерею, а в преферанс, и не "Волгу", а десять рублей, и не выиграл, а проиграл". А народные гуляния, когда в киосках Союзпечати близ общественных туалетов раскупались газеты вплоть до прошлогодних. И еще настоящие, желтенькие, мягонькие цыплятки; их недорого продавали, и родители охотно их брали, чтобы ознакомить детишек с живой природой отечества, а наутро мусорщики, похмельно сквернословя, очищали урны, доверху набитые отвердевшими тельцами несостоявшихся курочек-рябок и петушков золотых гребешков. К тому же утреннему часу разноцветные презервативы стравливали излишек воздуха и обретали форму мужских гениталий в натуральную величину, не только весьма собой украшая призыв поперек улицы догнать и перегнать Америку, но и придавая патристам уверенности, что так оно и будет. А над всем этим балаганом парила любимая песня о неполинявшем с войны синеньком скромном платочке: "И среди ночек синий платочек вспомним в стране боевой".

Что боевая, это точно. А уж какова страна, таков

и народ. Или напротив: каков народ, такова и страна, – на ваш вкус. В тождестве, как и в сложении, перестановка ничего не обозначает, но о многом говорит. Это очень удобно, и подобных тождеств в русском языке вагон и маленькая тележка: поп и приход, строитель и обитель, сани и сами, – дальше ищите у Даля. Такие дела; житье-бытье кубарем-самотеком помню, цыплят помню с презервативами, а насчет тараканов могу сказать, что в городских квартирах они всегда водились и считать их знаменьем я бы не советовал даже теперь. Так не будем же хаять прошлое, тем паче, что люди наши жили тогда счастливо, весело и были готовы буквально ко всему. Войны мы не боялись, на скандалы перли напропалую и всех врагов грозились побить воловьим рожном, но одну сложность в будущей войне со Штатами наши военные всё же предусматривали: очень трудно будет трофеи снимать, дома у них там больно высокие, этажи считают лишь с пятидесятого, – о том же и трудящиеся массы любили порассуждать в преддверье третьей мировой. Готов повторить еще раз: советский народ мог бояться чего угодно, – партии, родины, правительства, начальства, милиции, которая приходила и забирала, а спроси "За что?" – отвечали: "В капезе узнаешь", – но бояться войны? – извините, чего не было, того не было.

Взять хотя бы войну в Афганистане, – кто ее не помнит? дело-то, можно сказать, надышнее. Но и о ней глупости рассказывают, вроде того, что рабочий класс и трудовое крестьянство супротивничали, выступали, матом крыли Брежнева и в хвост, и в гриву, за малым до забастовок не дошло. Это уже ложь наглая, безо всяких, "мягко говоря", скидок на девичью память или на искаженную вдали веков действительность. Происходило как раз наобо-

рот. Столь всеобщего экстаза я не припомню со времен спасения челюскинцев или со дня победы над Германией. Какой треск поднялся, какой повальный восторг и ликование правили населением, когда началась эта война дураков, — ей-ей, можно было подумать: опять у нас очередная большая победа не семо, так овамо, не в Европе, так в Африке, не на земле, так в космосе, словом, неважно где, важно, что победа. Высказываний тоже было, хоть отбавляй: давно пора, много мечтали, долго ждали, теперь наши танки по песку, как по лужку, вот-вот в Иране будем, а там и до Индии рукой подать, — ну, моральный дух общества был очень высок, очень высок.

Причем, каждый наособицу догадывался, что ему от интервентского броска на юг не перепадет ломаного гроша, и не в зачет скудному своему бытию отвечал так: — "Ну и что? Зато себя покажем, шороху на целый мир наведем, пусть знают нашего брата". Радость сходила с лиц медленно и по мере того, как с театра военных действий чужой и никому не нужной страны стали в изобилии поступать цинковые гробы, большая часть которых не подлежала вскрытию. Ленивое всенародное прозрение чем-то мне напомнило дневниковую запись моего покойного друга о знакомстве со своей женой: "Встретилось оно мне нечто прекрасное и выяснялось постепенно". Любопытую, что об этом лет через десять скажут. Посмотрим — иншалла! — говорят на Востоке от сглаза, а я закончу нудную политическую часть еще одним тождеством: каков народ, таково и правительство. Два сапога пара. По-другому не бывает.

Пасьянс готов, можно приступать. Берем шестидесятые годы и приезд Никсона в Советский Союз.

II

Мы с Америкой были тогда на ножах, американцы не выдержали и прислали своего вице-президента к нам, — нельзя ли, мол, поубавить количество страха на душу населения и, если можно, давайте договоримся. Его, конечно, встретили, накормили, спать уложили, в баню он сам не захотел, на другой день страну повезли показывать, Москва-Ленинград-Киев, да так разохотились, что до Свердловска доехали и не заметили как. Оно и заметить, правда, часу не было, всю дорогу переговоры, переговоры, заявления для прессы, интервью, встречи с народом. Но переговоры не заладились: он нам про Фому, мы ему про Ерему; он про капитализм, мы про социализм; он за свободу, мы за порядок, — ну, ничего общего. И с народом разговор не сложился: в Киеве ему посоветовали хвалить день вечером, в Москве обещали показать мать Кузьмы, в Ленинграде сказали, — "Мы вас закопаем", в Свердловске — "Мы вас разобьем", к тому же на кухне с Хрущевым перессорились. А уж газетчики за моё-моё повеселились, будто на них и Главлита не стало; письма трудящихся, запросы депутатам, да зачем его было впускать, да не надо его выпускать, да как его в зампрезы выбрали, — карнавал. Видит Никсон, что дела идут ни "тпру", ни "но", ни "кукареку", подписал какое-то пустячное коммюнике и сыграл отбой. Свиту и челядь отпустил по домам, а при себе оставил для души спокойствия пару челюстных молодцов, которые по-русски говорили, как мы с вами, и купил в "Интуристе" на троих тур в Среднюю Азию частным образом. Посмотреть, значит, памятники старины и самолично убедиться, так ли мы счастливы и едины, как ему показывали, или нет ли между

нами каких-либо расхождений с предпосылками на будущее.

В тот самый злосчастный день, да изгладится он из памяти и не войдет в календари, управляющий Самаркандским отделением ВАО "Интурист" Самад Шамсиевич Шамсиев получил правительственную телеграмму следующего содержания: "Такого-то числа рейс такой-то амтурист Никсон два сопровождающих размещение люкс плюс полулюкс питание алякарт транспорт безлимитный обратно в Москву тогда-то рейс такой-то", а дальше исходящий номер и фамилия члена правительства, — их там всех раком не переставишь, если назвать, вы скажете "Первый раз слышу". К тому времени Самад Шамсиевич давно возглавлял учреждение, и телеграммы с красной шапкой были для него не внове, так что принял он ее с подачи и моментально разобрался: "Зажиточный американский еврей по фамилии Никсон (нотабене: своя рука в правительстве) плюс два родственника (сын с невесткой, возможны варианты) желают посмотреть Тимура и того-сего кругом него. Поселить порознь; папашу в полулюксе без помех по ночам газы стравливать, а молодежи предоставить люкс, — ей, молодежи, простор давай, по возможности с разгоном, трех комнат должно хватить, пусть бесятся". Потом подумал: "Впервой, что ли? Вдруг не приедут, номера держать холостыми, а потом начёт, — тоже бывало. Ладно, обойдется, а там ребята срабатывают на подхвате". И, не глядя, сунул депешу в бумажную неразбериху стола.

Первый грубый промах. Обычно он держал такого рода информацию при себе и, обедая в компании, как бы ненароком выкладывал ее на стол текстом вниз, сарафаном кверху, чтобы страшное слово бросалось в глаза и вызывало у сотрапез-

ников те же чувства, какие испытывают японцы перед императорской хризантемой: ну, еще бы! – вот сидит человек, с которым переписывается правительство. Как ни странно, ничего подобного не случилось, и эффект был противоположен чаемому: лица вытягивались, непринужденность обращения пропадала, легкий разговор прекращался и обкомовские мужики смотрели на телеграмму такими глазами, какими вещей Олег на роковую змею не смотрел, пока кто-нибудь не говорил: – "Ради Аллаха и Его избранных! Убери ты ее с глаз долой, дай поесть спокойно". Инструкторы и заведомо веровали в Бога и, блюдя обычай, не забывали после еды благодарно провести пальцами по лицу, но если там был чужак, слово "Аллах" во избежание кривотолков заменяли на "Облисполком". Человеку приезжему Самад Шамсиевич и круг его партийных приятелей могли глянуть с моральной стороны не ахти как, однако я не советовал бы считать их людьми неискренними, которые всем богам по сапогам. Будучи дуалистами, что значит приверженцами марксизма с утра до вечера и правоверными мусульманами с вечера до утра, они всякий новый день начинали с очистительной молитвы: "Нет Бога, кроме Аллаха, но я в Него не верю".

Руководить учреждением или предприятием в хрущевско-брежневскую эпоху было всё равно, что в гамаке лежать: легко и приятно. Это и теперь не поздно заметить, видя, как томятся, маются и ностальгируют по прошлому бывшие наши товарищи, – я их понимаю. Как было замечательно, когда от руководителя не требовалось ни специальности, ни образования, ни личных качеств, была бы партийность, и сапожник благополучно директорствовал на кондитерском комбинате, а кондитер

управлял обувной фабрикой, и ничего, еще как справлялись, даже вслух поговаривали: "Пойду, куда пошлет партия". И без зазрения шли. Слесарь паровозного депо становился наркомом республиканского здравоохранения, кандидат наук с химическим уклоном рулил всесоюзной культурой по должности министра, а директор филармонии, в прошлом пишевик-технолог, устраивал подчиненным разнос на профессиональном уровне и кричал: — "Хренникова вы у меня получите вместо премиальных!" Уверенность в завтрашнем дне гарантировалась, а комфорт заключался в том, что производство и руководитель были свободны друг от друга.

Работа натурально катилась сама собой наподобие дрезины с горки, ни о чем не надо было беспокоиться, всё сходило, никто ни за что не отвечал. Редактор газеты, где я некоторое время трудился, говорил сотрудникам по этому поводу так: "Если вы все до одного не придете на работу, газета всё равно выйдет". И вышла бы, я в том не сомневаюсь. За содержание, конечно, поручиться не могу, но за выход в свет двумя руками. Вот и персонал "Интуриста" сработал бы на подхвате, будьте уверочки, они тоже наблатыкались на экспромтах другим на зависть. Но, к несчастью и огорчению, Самад Шамсиевич совершенно забыл поделиться содержанием телеграммы еще хотя бы с кем-нибудь из подчиненных, и это был второй грубый просчет, а о начальнике, оплошавшем дважды подряд, говорили, что он дал Маху и Авенариусу.

Должен вам сказать, что никакой он не Самад Шамсиевич, тем более, не Шамсиев, но называть его настоящее имя мне не хотелось бы. Теперь он, небось, как и я, на седьмом десятке, да, гляди, семьей оброс, внуками, а у узбеков очень большие семьи по

нашим меркам, зачем же причинять неудобства человеку, который ничем мне не насолил. Был он благодушен, приветлив, общителен, с хорошим лицом и мягкими манерами. Если мужской пол подгонять под стандарты Апполона или Геракла, то он всё-таки был ближе к Вакху во всех отношениях: любил национальную кухню и марочное вино сорта "мусаллас", одаривал вниманием прелестных женщин, никуда не торопился, никому не досаждал и весьма редко выходил из себя, — полные люди, как правило, не бывают злыми, а у нас нынче таких людей дефицит. Это раньше их было пруд пруди, потому и бранились: "Ах, Обломов! Ах, паразит-злыдень-лежень, тяни его за ногу!" и не брали в зачет ни покладистость характера, ни доброту души, а теперь лица у всех партизанские, как на плакате военных лет, не лица, а оскалы, смотреть неумоготу. Да покажите мне хоть одного Илью Ильича, я с ним первый здороваться буду.

Мы были знакомы, не сказать, коротко, но относились друг к другу по-свойски. Он умел красиво есть, и видеть, как он обедает, доставляло знавшим его людям немалое удовольствие. Хотя, конечно, лучше всего он выглядел на отдыхе. Сколько в нем было высокого восточного обаяния! Затрудняюсь назвать кого-либо еще, кто был бы так же неотразимо хорош собой, как Самад Шамсиевич. Плавность движений и жеста, замедленность речи, вальяжность фигуры, поза "ах, я всё позволю" и немного манеризма делали его портретно, выставочно очаровательным, я бы сказал, неотразимым, а так как работа абсолютно не мешала его отдыху, смею утверждать, что красив он был постоянно. За несколько лет нашей взаимоприязни у меня сложилась о нем серия картин под названием "Житие Лукулла". Помимо "Лукулла отдыхающего", в ней

были "Прогуливающийся Лукулл", "Лукулл у себя дома", "Лукулл в окружении гетер", "Лукулл на природе" и помельче.

Как-то ему захотелось похудеть. Не знаю, с чего он задался такой мыслью. Друзья его отговаривали, что это ему не приличествует и не пойдет на пользу, но он остался непреклонен и отверг скоромную и белковую пищу на завтрак. Я самолично наблюдал, как подали в кабинет литровый чайник с крепко заваренным зеленым чаем № 94, тоже известным как "правительственный", и горячую пышную лепешку, которую полагалось есть сразу, так как пресное тесто без дрожжей, остывая, быстро черствеет. Вот и весь завтрак, если не считать фисташек, миндаля, арахиса, горного фундучка, грецких орехов и бухарских абрикосовых косточек, сваренных в золе из гузопай с добавлением к ней соли и извести. Ну и, само собой, немного фруктов: пару гроздей шафирканского винограда без косточек, пару ферганских гранатов и белый хорезмский инжир. Натюрморт получился во славу жанра, но ничего, как видите, лишнего, а кольми паче вина. Тогда же моя коллекция пополнилась картиной "Лукулл на диете".

Не приложу ума, как так случилось, что он не позвонил в компетентные органы, где в два счета расшифровали бы чуждую фамилию с недописанной свастикой посредине и приняли надлежащие меры. У нас с тридцатых годов хорошо умели это делать. Помню, как сейчас, в незабываемый тридцать седьмой пушкинский год нам в школе выдали тетради с чудными рисунками на обложках по стихам Александра Сергеевича: "Прощание Олега с конем", "У лукоморья дуб", "Зимняя дорога", "К морю", а через неделю обратно взяли и вернули без обложек, — в тех картинках, оказывается, спрятаны

были две буквы: "м" и "к", что значит "могила коммунизма". Но там хоть подумать разрешалось, мол, не обязательно "могила коммунизма", могло быть также "Москва-красавица" или "МК профсоюза", а то даже "Маркс Карл", но в данном случае и думать нечего: суду всё ясно, кто к нам пожаловал и на кой.

А он не позвонил. Его жизнь протекала привольно и безмятежно. Так бы она и продолжала течь, если бы внешние события не потрясли ее с темени до подметок и не швырнули бедного Самада Шамсиевича в эпицентр мировой политики: вице-президент Соединенных Штатов с парой дюжих молодцов прибыл в древний город Самарканд, где его никто не ждал и не встретил.

III

По прибытии самолета в порт назначения первыми к выходу приглашают во Франции французов, в Италии итальянцев, в Турции турок и т. д., а за ними всех остальных. Везде так. Кроме России. У нас сперва дают зеленый свет заезжей иностранщине, а затем свои гражданам. Тут излишне пускаться в исторические разыскания: это было, есть и еще долго будет. таков закон, с ним не спорят, подчиняются. Ну, чего доброго, а подчиняться нам не привыкать. Тем более, что закон этот в полном согласии с системой тождеств: каков народ, таково правительство; каково правительство, таковы законы. Беда в том, что все наши правители от времен оных дондеже со страшной силой презирали собственных граждан и с такой же силой их боялись. Даже те, кто в прямом смысле из грязи в князи прошел, вскоре тоже принимали правила об-

хождения знати с быдлом. В особенности, со своими. И, борони Бог, наедине. По сей день помню первородный ужас в глазах у Хрущева и открытый для последнего вопля рот, когда я столкнулся с ним нос к носу. Хорошо, что я поспешил с паролем "Здравствуйте, Никита Сергеевич", и он, не обрета голоса, кивнул, помалу успокаиваясь. Не скажу, что на нем вовсе не было лица, оно у него было, но это было лицо человека, приговоренного к смерти без права обжалования. По разу мне привелось видеться столь же нечаянным образом с Ворошиловым, с Булганиным, с Косыгиным и – тот же испуг в глазах и брезгливость физиономии, что я до них дотронулся и заражу каким-нибудь срамным недугом. Я очень развеселился, когда узнал, что Чаушеску по сто раз в день моет руки с мылом, – факт подтверждал теорию. Со Мджаванадзе я встречался в салон-вагоне при охранниках, и потому советско-грузинский князь чувствовал себя бодрей и глядел на меня примерно, как солдат-окопник на тифозную вошь, и всё-таки, всё-таки боялся, я это заметил, боялся, что я укушу его раньше, чем он меня раздавит.

Наши руководители жутко не терпят незнакомых сограждан, а пуще всего встречаться с ними один-на-один. Иной разговор, иностранцы. К ним имперские лидеры относились благосклонней. Если вам моего личного опыта мало, ищите тому подкреплений в отечественной литературе, начав с Фонвизина и Грибоедова, но уверяю вас, именно в силу помянутых причин задрипанный африканский студентешко поучает русских людей законам русского же гостеприимства и, растолковав им, сирым и убогим, как надо и как не надо, беспрепятственно проходит к такси, к кассе, к прилавку и в туалет, минуя очередь. По таковой же причине

амтурист Никсон плюс два первыми ступили на землю древней Согдианы. Славны бубны за горами, ей Богу, так.

И никого на ней не обнаружили. Они стояли, как засватанные, шарили по сторонам, глядели друг на друга и не могли проморгаться. Нигде никого. То есть, людей было полно, но то были не те люди, что им надо, и все трое ощущали смущение и неловкость. На встречный марш никто из них не рассчитывал, но деньги были заплачены немалые, и представитель "Интуриста", бия себя в грудь, уверял, что в Самарканде их будет ждать переводчик с машиной и двадцать четыре удовольствия. А тут ни души. Будто на пляже: голый голого не узнает.

Мистер Никсон, прожженный до мозга костей политик, довольно поездил по свету и встречали его не одними улыбками под оркестр, но, бывало, чаще всего в Латинской Америке, и яйцами, и помидорами, и плакатами "пошел вон!", и он шел в кольце полицейского наряда не к парадному крыльцу с улицы, а к черному со двора, и ездил на машине без государственной символики, и не всегда удавалось избежать столкновения с науськанными на него людьми, — они добирались-таки до него, размахивали руками, кричали и плевали, метясь в лицо, а он молча утирался и отсиживался потом где-нибудь в укрытии, хотя ни разу не потерял терпения, не подал в суд, не потребовал извинений и компенсаций, но, главное, не отвлекся от дел более важных, чем собственное самолюбие, честолюбие, должностной и личностной престиж, а ведь как, поди, хотелось потакнуть чувствам, отвести душу, самому себе поноровку дать, лишь бы поставить над "и" хоть одну точку, и пусть земной шар опрокинется полюсами к экватору, какое ему дело. Тут мало того, что рисковать приходится, запросто

ведь ухлопать могут, так еще какие проволочные надо нервы иметь, чтобы в крайностях о себе забыть. Это был настоящий профи, не чета нашим. Из тех, кто делал большие дела незначительными средствами и располагал таким же, как Никсон, завидным самообладанием, не грех вспомнить Туссена Лавертюра.

Мне также показывали одного советского дипломата, аккредитованного в Тегеране, примерно тогда же, когда Никсон впервой к нам приезжал, так тот не удержался, ретивое подвело. Был большой прием, и множество дипломатов отовсюду, кто с женой, кто без, в общем, теснота, а некий американец (по всей видимости – без) соблазнился задницей советской гражданки и, в тесноте да не в обиде, вознамерился опробовать ее наощупь, что и проделал. Всякая женщина, себя уважающая, немка ли, японка или новозеландка, ответила бы хаму пощечиной, и пусть с ним разбираются, кому охота. Но русская дура улыбнулась американцу и пошла мужу жаловаться. Тот, ясное дело, не стал долго откладывать до завтраго числа, нашел американца и без слов, но от души врезал с левой в торец по центру. Янки пошел, конечно, с пяток на спину, чем вызвал оживление в зале, а советнику посольства с глупой женой дали сутки на сборы, – вот и всё.

Всяко приходилось. Но чтоб его, вершителя внешних дел супердержавы, вообще никто не встретил, такого не было никогда. Трудности начались сразу. То ли амтуристы понадеялись справиться мелкие формальности по прибытии, то ли вице-президентский брегет время упустил, но обменять валюту в Москве они не удосужились и привезли с собой порядочную сумму долларов без единого рваного рубля. Помимо всего, такие люди обычно

не ездят налегке, и багажа с ними оказалось по три и три десятых места на душу, — это вам не взял и пошел, а постоял, подумал, как его переправить от багажного отделения к остановке такси и автобусов, да допреж того с носильщиками договориться. Носильщики подряжались за четвертной, но на доллары не клюнули, — не просить же их за-так? Пришлось своими силами, пердячим паром, на собственных харчах.

Охрана переглянулась. Сейчас им предстояло нарушить устав, который строго-настрого запрещал во время работы брать в руки что бы то ни было: эскимо, театральную программу, розу без шипов, — за то они и жалованье получали порядочное, дабы держать верхние конечности свободными и наготове. Оба озадаченно глянули на вице-президента, но тот помолчал и сказал: — "Уж не рассчитываете ли вы на обычное разделение труда, — мне носить, а вам держать ухо востро? Давай, ребята, давай", — и, возможно, между ними искрой проскочила мысль: где нет друзей, врагов тоже не полагается.

До автобусной стоянки насчитывалось метров триста, но не по прямой, а с загибом, так что путь от "А" до "Б" не весь просматривался, и всё разом поднять и унести было непосильно, невзирая, что ребята у Никсона подобрались ражие, крепкие, жилистые, таких у нас когда-то называли саврасами и обломами, а теперь зовут архаровцами и мордovorотами, но у них, как у всех, по две руки, не больше, и если всем втроем взять по два чемодана и топать к стоянке, вторая ходка за вещами может стать лишней, — наш народ не терпит, когда ничейные вещи посреди дороги лежат. Возникла задачка сродни той, что обязывает смекалистого русского мужика перевезти на лодке через реку козу, капусту и волка, беря с собой за раз по

одному наименованию и глядя при этом в оба, чтобы коза не съела капусту, а волк не сожрал козу. Ну, подумали, посоветовались, прикинули в уме и на пальцах, после чего м-р Никсон и м-р Диди взяли по два места и отправились в поход, а мистер Арар остался стеречь еще шесть чемоданов с баулами. Разгрузившись, вице-президент остался за старшего при багаже, а архаровца отослал сменить коллегу, который перетаскивал на стоянку еще пару вещей, и с третьей ходкой операция завершилась, — вышло на одну ходку меньше, чем у лодочника ездки. Раздышались, перекурили и решили: чем ждать у моря погоды, уповав на общественный транспорт до неизвестно когда, не лучше ли свистнуть таксисту и, добравшись за полчаса до гостиницы, бултыхнуться с головой в ванну, чтобы хоть немножко дома себя почувствовать.

Задача показалась совсем простенькой: нанять такси, заплатить баксами и — никаких хлопот. М-р Арар подтянул штаны и пошел торговаться, но скоро вернулся и с дороги показал, что ванну придется отложить вот почему: здешние таксисты ездят не туда, куда нужно клиенту, а куда хочется водителю, и чем дальше клиент живет, тем приятней водителю, — они тогда бьют по рукам, и шофер включает зажигание. Километров за двести любая машина готова везти их сию минуту и куда угодно, только не в Самарканд. Один так и сказал: — "Ты что, друг, смеешься? Мы тоже шутки любим, но до Самарканда я на тебе не заработаю, туда всего пять километров, жди автобуса". Другой увидел зеленую купюру и говорит: "Е! Это деньги, что ли? За такие деньги ты вообще никуда не доедешь, даже до Самарканда".

Что они тогда испытали, не знаю, но, по-моему, страх. Не вовлекая в неприятности посторонних и

никого не призывая "представить себе", скажу честно, я бы испугался. Допустим, приезжаю в какой-то город чужой страны с нашими деревянными, которые там не обеспечены ни залогом, ни состоянием, ни драгметаллом, а если имеют хождение, то исключительно как антиквариат или филателия. И получается, что попал я на край света, денег ни копы, подустал, знакомых никого, голову приклонить негде и самочувствие, как у всякого не поевшего с утра, кишка кишке протокол пишет. А дальше что? Либо просить, либо воровать, — жить-то надо. Ну, ладно, если oprичь великого, могучего, правдивого и свободного, еще какой-нибудь завалященский западный прозапас в кармане, с горем пополам до бесплатной харчевни добраться да в приюте заночевать, — есть у них там такие заведения, а патриот-почвенник что станет делать? Только-то и останется выискивать, где-что плохо лежит. Вы когда-нибудь пробовали ночью в чужом саду малину красть или, предположим, яблоки? Я пробовал; очень неудобно, даже при полной луне не наворуешь. Там тоже: кругом порядок, собственность на учете, повсюду глаз да глаз, никакого бесхоза. Ага, тут-то у вас мошонка и поджалась!

А может, и не испугались. Это я с малых лет перепуганный, а они нормальные люди. У нас до войны игра была коллективная в детсадике, тогда все игры были коллективные, чтобы страх общий вырабатывался. Ну, так вот: водящий становился посреди круга и называл какой-нибудь предмет, безразлично какой: солома, паровоз, дрова, пирожок с капустой, а мы, дошколята, хором кричали: — "Не боёмсь!" — и грозили небу кулачками. Вдруг, как снег на голову, косматое, лохматое, необъяснимое слово: "Чемберлен!" Все, как один, кричали: — "Боёмсь!" и опускались на корточки и со

страху закрывали лицо руками. Никто из нас понятия не имел, что за штука "Чемберлен", как выглядит и на что похожа, но знобливой от страха гусиной кожей чувствовали, что это главный враг и кошмарно страшущая штука, которой надо бояться куда больше, чем Бабы Яги или Кощея Бессмертного со всеми ведьмами, лешими, водяными и домовыми. Впоследствии появились более-менее приличные страшилища: Бармалей, Карабас Барабас, злые карлики и опасные великаны, но от поколения, чье детство прошло под образами Павлика Морозова и Зои Космодемьянской, ничего путного не добьешься; такие люди по сей день вздрагивают, и в ушах у них звенит детская песня: "Чемберлены, Чемберлены, Чемберлены гады. На них надо изготовить пушки и снаряды".

По-видимому, в Америке были иные игры и другие образцы и, коль скоро трое американцев не испугались, то, по крайней мере, встревожиться они были обязаны и у них полное было право на целый поток разнообразных чувств и предчувствий от потрясающего рассудок изумления до нешуточной опаски. Только одно ощущение, полагаю, не значилось среди всего ими пережитого, — скука. Это возможно; мы — неожиданная страна и веселый народ, с нами не соскучишься, — еще Гумбольдт о том рассказывал.

Пришел городской автобус, но пассажиров к тому часу набралась туча, и американцы не поместились. Пришел другой и опять ушел без них. Диди ходил в здание звонить по телефону, не дозвонился: "Интурист" не отвечал, бюро обслуживания всё время было занято. После него пошли гулять по территории Никсон с Араром и сразу отметили, что появилось много военных летчиков и поубавилось встречающих-проводящих. В работе аэропорта

наступил длительный промежуток, когда гражданские рейсы прекращаются, потому что заработал находившийся рядом военный аэродром. От нечего делать они примкнули к группе военных и потолковали о том, о сем, поговорили с техперсоналом, почитали кумачевые лозунги, попили хлористой воды из фонтанчика и, понуждаемые в сторону, посетили туалет на четыре очка, а там и автобус прибыл. Пустой. Абсолютно. Они живо в него погрузились и приехали в гостиницу, рассчитавшись с водителем сигаретами, — он им еще багаж таскать помог.

В вестибюле толпился народ, желающий заночевать, иностранцы тоже: группа немецких альпинистов, компания польских студентов, еще несколько человек «диким» образом и болгарская супружеская чета, — все они куковали со вчерашнего, но сегодня их обещали устроить во дворе на раскладушках, и они после бестолково проведенной ночи с вожделением ждали вечера.

Между тем, Диди собрал документы и направился в "Интурист", но там было глухо, не хватало только надписи, что все на фронте. В самом деле, гиды забрали индивидуалов с группами и отбыли на экскурсию, связь перевели на бюро обслуживания, Самад Шамсиевич ушел в обком. Да и вообще на Востоке своя специфика: часов, приблизительно, с одиннадцати в работе учреждений наступает перерыв до завтраго и, если вы что-то не успели сделать, ничего не форсируйте, но дождитесь утра и позвольте событиям следовать своим чередом.

День набрал силу, жара стояла густая и плотная. Пока м-р Диди ходил в учреждение, м-р Никсон скинул пиджак и устроился передохнуть на чемоданах, а м-р Арар, не тратя времени, занял очередь к окошку дежурного администратора и

разговорился с соседями. В дружеской обстановке часы пошли быстрее, и Арар незаметно очутился у цели. Неловко нагнувшись, он подал три зеленых паспорта и объяснил, что им нужно. "Мест нет", – сказала администраторша, даже не сличив просителя с фотографией в паспорте. "Мы иностранцы, – с мягкой настойчивостью заявил Арар, смекнув, что к чужим в Союзе относятся лучше, чем к своим. – Мы гости вашего правительства, – улыбнулся он дружелюбно. – Нам без номеров нельзя". Мадам повторила, что об отдельных номерах и речи нет, разве что о раскладушках во дворе, да и то к вечеру. Арар обиделся и потребовал заведующего бюро обслуживания. "Пожалуйста", – сказала мадам и велела швейцару проводить господина к Джуре.

Через минуту он стоял перед сумрачным брезгливым узбеком, который тотчас спросил: – "Тебе чего?" – "Два номера первого класса с душем, телефоном и, по возможности, рядом", – сбавил цену Арар и попутно подумал: "Была не была! Один шефу, другой нам". "Что-щ?" – не поверил заведующий и, оторвавшись от кресел, посмотрел на американца, как повар на Оливера, просившего добавки. "Мы иностранцы, – любезно оправдался Арар и перешел на мелкий шантаж. – Вы должны нас устроить, г-н Джура. Мы приглашены правительством по важным делам. Вам за нас отвечать придется". Тогда с криком, – "Ны даем работать!" – заведующий стал ругаться и вызвал милиционера. Тот, войдя, исполнительно откозырял американцу и спросил: – "Зачем безобразам, гражданин?" Арар хотел объяснить, кто они такие, по какому делу и про иммунитет пару слов, но не успел, потому что заведующий стал жаловаться, что вот, он работает, а посторонний пришел и мешает, а зачем пришел,

зачем мешает, когда человек работает. Выговорившись до дна, заведующий повернулся к Арару и добавил: – "Иды отсюда, пока я добрый, а то милиция учаскасы отправить будым". Связываться с милицией Арар не пожелал; пришлось извиниться и уйти не солоно хлебавши.

Он сел рядом с шефом, рассказал о приключениях и загрустил. В это время прибежал Диди, веселый и взволнованный, и проинформировал земляков, что камера хранения согласилась принять багаж, а приемщица очень его успокоила, рассказав между делом, что ночи здесь теплые, приезжие ночуют и на бульваре, и на базаре, и в памятниках старины, подложат газету и спят, места хватает, никто не простужался. "Четыре туза и джокер! – радовался Диди. – Отличная мысль, вайс, – приободрил он Никсона. – Только бы на ночь газетками запастись". Такую радость легко понять, потому что она чисто нашенская. Так же откровенно ликует русская многодетная семья, когда после продолжительной жизни в тесной квартире с той же козой, которую лодочник однажды в утлой лодке чкerez реку перевозил, козу удается продать. При столь отрадных новостях м-р Никсон облегченно вздохнул и встал с баула. Вот это удача! Ближайшее будущее, правда не совсем еще прояснилось, но перестало быть неопределенным. Везет же людям.

Втроем вышли в город. Но прежде, чем они совершат какую-нибудь покупку, должен сделать заявление: в этой истории не осталось невыясненных мест и белых пятен; их пребывание в Самарканде восстановлено от первой минуты до последней за вычетом одной-единственной, в течение которой местный жучок продал им сто рублей за двести долларов. Органы долго его искали, но он,

как провалился, хоть в Америку запрос посылай по части словесного портрета, а сейчас его и подавно ищи-свищи, сколько лет прошло. Как бы то ни было, у них завелись деньги, а при деньгах всякий человек свободно и независимо себя чувствует, – вот где, граждане, собака зарыта, – хоть теперь вы поняли, для чего семьдесят лет нас в безденежье держали. Или не поняли? Ну, и шут с вами, живите. С этой, ускользнувшей от органов минуты, янки шли, куда хотели, спрашивали обо всем, что им надо, покупали, в чем имели нужду, и никто за ними не следил.

Первым делом они купили газет, самсы и винограда. Самса была никудышная, один лук без мяса, но они крепко проголодались и съели ее в сквере на скамейке, а виноград – так себе, только грязный и его пришлось носить в двух шляпах, пока не попалась в мечети Биби-Ханым водопроводная колонка. Из-за винограда у Диди завязалась в магазине перебранка с продавцом и началась так: – “Почему продаете без упаковки?” – “А тебе какое дело?”, а кончилась словами: – “В Америке вас давно бы закрыли”. – “Мы пока еще, слава Аллаху, не в Америке”.

Ездили троллейбусом и автобусом. Побывали на Регистане, задержались в Тилля-Кори, выбились из сил в Шахи-Зинда и отдохнули в прохладном Гур-Эмире. В Шахи-Зинда им встретились нищие, и Никсон подарил старушке сто долларов, а она поблагодарила всех троих заздравной мусульманской молитвой. В автобусе было тесно и душно, к Арару залезли в карман, и он, не поднимая шума, ткнул щипача большим пальцем в подреберье. Тому сразу же захотелось лечь и он опустил на пол, а Арар скзаал Диди по-английски: – “Осторожно, карманники”. Иностранная речь произвела ошеломляющее

впечатление на пятерых шустряков, — они сошли на ближайшей остановке, забрав с собой пострадавшего товарища.

Словом, ходили и ездили американцы так же беспрепятственно, как в Неваде или в Орегоне, но там, где они побывали, остались следы импортной обуви и следов таких становилось всё больше и больше.

IV

Первый сигнал в КГБ поступил из штаба энского подразделения, дислоцированного в городе Эн, как сказала бы газета, и являл собой устный донос по телефону нижеследующего содержания: "В аэропорту к группе военных летчиков присоединились два фигуранта и втерлись в разговор. С виду культурно одеты, в шляпах и не выпивши. Который постарше, видимо, главный и похож на профессора, а тот, что помоложе, надо думать, подчиненный шестерка в ранге кандидата наук, причем, первый только слушал и на ус мотал, а другой всё время поделдыривал и критиковал наши порядки".

В Госбезопасности сначала погрешили на геологов: они сильно дичают на полевых работах, и голова на солнцепеке перегревается, с ними по возвращению тяжело беседовать, потому что послушать нечего, бред сивой кобылы, зачастую антисоветский. Однако из последующих сообщений фигурантов стало трое, и в дальнейшем их численность не менялась, а детали проявлялись с постепенностью снимка в растворе. После пятого, к примеру, сообщения допущена была смелая, но оправданная гипотеза, что оба кандидата наук свсбодно болтают по-русски, а профессор потому и молчит, что не в зуб ногой, — так оно и было в

действительности. Когда число сигналов от населения перевалило за десяток, вывод сформулировался сам по себе: трое иностранцев неизвестного происхождения ходят по Самарканду, сеют провокационные слухи и ведут самую разнузданную пропаганду. Канал связи действовал надежно и бесперебойно: на одном конце телефонного провода происходили события, на другом о событиях знали не только досконально всё, но и чуть-чуть побольше, и не с помощью штатных и нештатных "тихарей" на окладе, а благодаря бдительности сознательных граждан.

Вскоре обнаружилось множество точек, где фигурантов засекли и откуда о них оповещали. На карте это казалось чем-то вроде артподготовки с корректировщиком в тылу у врага, вызвавшим огонь на себя, но в реальности всё было сложнее. Каждые три точки геометрически складывались в треугольник и, несмотря на то, что точек было больше, треугольники считались значительней, — это по ним на рельеф городской местности наносился маршрут движения "троицы" и составлялись прогнозы. Не всё, конечно, совпадало, но тем не менее. Случись такое с декаду назад, их бы уже и брать пора, но в шестидесятые годы от органов требовали большей основательности и фактических наработок, — приходилось ждать и стараться.

Областные управления в Союзе возглавлялись чаще всего полковниками. Поэтому местный полковник снял трубку с рычага, позвонил в "Интурист" и строго осведомился насчет неучтенных "кадров", но тамошние "кадры" все были на учете и находились, где положено, по-эзоповски это звучало еще короче: "наши все дома". В Бюро молодежного туризма "Спутник" дома вообще ни души не было, однако ж всё по плану, никакой само-

деятельности. Обком и облисполком слишком ответственные организации, хотя и у них бывали просчеты: не так давно наведывался правнук Фридриха Энгельса, так они о нем ни словом не обмолвились, человек день-деньской чёрт-те где шлялся и чёрт-те что снимал. По таковой причине шеф третьего отделения и туда позвонил, чтобы услышать твердое партийное "нет". С профсоюзами полковник в связях отмечен не был, но нужда песенки поет, связался. Облсовпроф доложил перепуганным голосом: — "Что вы! Что вы!" — и на том малый круг опроса был исчерпан, начался большой.

Из Ашхабада, где размещалась штаб-квартира Туркестанского военного округа ответили, что в связи с напряженкой в международных делах "гостей" давно не было и доднесь нет. В Ташкенте тоже всё было в полном боевом. Республиканский профсоюз вкратце отчитался о проделанной за полгода работе и о текущем моменте: иностранные представители у них, разумеется, есть, как группами, так и индивидуально, хотя все либо из соцлагеря, либо нейтралы, их хорошенько "пасут" и за отчетный период ни один пасомый от стада не отбился. В "Спутнике" было "окно" и перекур с дремотой, — зарубежная молодежь носа не казала с месяц как. В Центральном Комитете полковника успокоили: первый отдел у них не дремлет круглосуточно и хлеб свой ест не зря, — случись что-нибудь вроде того, они бы отреагировали. "Интурист" сообщил, что никаких "троих" они в Самарканд не посылали и ничего такого знать не знают, ведать не ведают, а из тех, кого направили, никто к "троице" непричастен даже со спины в потемках. Компегентные органы оказались компетентны не больше других. А ведь это их вина. Почему Союзный Комитет не про-

дублировал правительственную телеграмму сугубо в Самарканд и трегубо в Ташкент? Размякли, как старухи на пенсии. Нюх ошпарили, чутье потеряли. Чем они думали, интересно? Где у них голова находилась в тот день? Поздно теперь спрашивать. Задним числом кучу поводов можно найти: то да сё, год активного солнца, магнитные бури, бессонные ночи, личные причины, объективные причины, перегрузки, перегрузки...

А доносы продолжали поступать. В одном из них, безадресном и анонимном, мужской голос оповестил, что "по городу без провождения ездют три иностранных агента, хулиганют и позорют звание советских людей, травмировали в автобусе товарища, сейчас он хоть и очухался, но к работе не способный, берет на завтра билютенъ, а наши хваленые чекисты и милиция одна шайка-лейка, заместо народ предохранять, они по дачам сидят и пьянствуют". Запись прокручивали несколько раз и раз от разу становилось ясней, кого им Бог послал: во-первых, смежники из-за бугра, это как пить; во-вторых, профессионалы из команды "Умелые руки", — эти на всё пойдут, ни перед чем не остановятся.

Гроза близилась, атмосфера сгущалась. В КГБ города Самарканда уже были произнесены вслух такие слова, как "самолет", "парашют" и "диверсия". "Профессора в-открытую стали называть главарем, "кандидатов наук" — подручными. Ждали команды готовить группу поиска и захвата. А полковник набрал воздуха, как перед прыжком в воду с трамплина, и вышел на Москву. Увы и ах! — ничего утешительного. В ВАО "Интурист" сказали, что по части касающейся люди на местах предудомлены, посторонних быть не должно. В ЦК полковнику нагрубили: "Вы что, — спрашивают, — не в

своем уме, к нам с детскими вопросами? Газеты надо читать!" В ВЦСПС и в "Спутнике" сидели такие же невоспитанные мудаки, как и в ЦК. Скрепя сердце, полковник позвонил в родное ведомство и, набравшись наглости, спросил, зажмурясь: кого они подсунули без уведомления по ве-че? да, сегодня; да, трое; да, мужчины... Ответ воспоследовал скорый и исчерпывающий, — они там тоже, небось, переживали оплошность; в подобных обстоятельствах атака — лучший вид обороны, и генерал, наверстывая версты, прокричал полковнику в ухо: — "Идиоты! У вас находится вице-президент Соединенных Штатов Америки Ричард Никсон и два человека личной охраны".

И пошел гореть сыр-бор. Вынули из загородного ресторана Самада Шамсиевича. Отыскали телеграмму. Забегали нарочные. На розыски вице-президента отправили подразделение со спецсвязью. В гостинице дым коромыслом: освобождали под гостей два "люкса". Один, интуристский, занимали четверо горцев с Кавказа, они были дико свирепы и ругались по-осетински; в другом, правительственном, проживал зав. отделом республиканского ЦК, так он слова против не сказал, когда узнал, кто в "люксе" будет жить, а взял портфель и перебрался в одинарный без души. Там, правда, тоже были жильцы, но их перевели во двор на раскладушки, и они остались очень довольны. Пока из одного "люкса" летели кавказские манатки, а в другом наводили шик-блеск-иммер-элеган, то есть устилали кровати крахмальнo-льняным правительственным бельем и опрыскивали анфиладу "шипром", на правительственной даче поднимали пары и кочегарили: предстоял банкет правительственного уровня. Ни накладки, ни тавтологии, ни гиперболы здесь нет; привати-

зация уже тогда началась, правительство загодя оставляло за собой всё наилучшее, собираясь достроить светлое здание, возводя его с крыши.

Американцев нашли в полуразвалившемся мазаре на окраине, где не то при Тимуре, не то при Чингис-хане похоронили одного "авлиё". Постройка явно колебалась под натиском столетий, но авторитет святого покойника всё еще держался: там было прохладно, прибрано, земляной пол устлан паласами и тростниковыми циновками, стояло несколько медных кумганов с водой для омовения рук перед намазом и росло дерево. М-р Никсон делал пометки в дорожном бьюаре, Диди проветривал вспотевшие ноги, Арар спал, подмостив пару газет.

Секретарь обкома рассказал им о памятнике, о городе, об археологии и реставрации, Никсон слушал, Диди обувался и переводил, Арар со сна умылся, но вытереться было нечем, и он самостоятельно обсыхал в сторонке. По готовности все направились к машинам. Секретарь сделал гостям рукой "прошу" к новому поместительному лимузину с записывающим устройством, но вице-президент сказал, что при такой погоде хотел бы пройтись. Пришлось уступить, гость на Востоке первой отца, желания его то же, что и закон с обратной силой, никто не смеет у него спросить, сколько он тут пробудет и когда собирается уезжать, а всё, что ему нужно, он сам скажет. Разговор продолжался, и секретарь поведал Никсону буквально о том же, что и приемщица из камеры хранения: какие в Самарканде чудные ночи, население спит во дворах и на крышах, да о чем говорить, когда лично секретарь спит, как Улугбек, под открытым небом с крупными звездами, даже командированные не всегда в гости-

ницу являются: номер, бывает, бронируют, а ночуют в парках на скамейках, — газеты постелят и спят. И никаких приключений: ни воровства, ни насилия, всё тихо-мирно долгие годы. Выслушав хозяина, гости впервые откровенно и громко развеселились, даже постояли малость, чтобы пересмеяться, а смех много энергии берет, ни на работу не оставляет, ни на ходьбу, всё себе, сволочь, приватизирует. Хотя смеялись каждый о своем: Никсон представил себе упущенную возможность провести ночь в мазаре под звездами, а челюстным молодцам припомнилась встреча со шпаной в автобусе.

Впереди шло с десятков милиционеров. Держась под руки и особым построением образуя клин, они, как снегорасчисткой, сметали встречную публику с тротуара, прижимая ее к домам, по одну руку, и сваливая на проезжую часть — по другую. В некотором от них отдалении ступали по чистому Никсон, взятый охраной в скобки, секретарь обкома и предоблсовета, След за ними валом валила номенклатурная толпа от полковника КГБ в штатском до директора чаеразвесочной фабрики. На полковника вице-президент возымел очень благоприятное впечатление, и он даже подумывал, глядя Никсону в спину: "Какой агент пропадает! Жаль, что английского не знаю, уж этого я бы завербовал". А на директора чаеразвесочной фабрики приезд Никсона подействовал так отрицательно, что он возмечтал сделаться миллионером и стал добавлять в зеленый чай люцерну и клевер, отчего чаю в пачках оставалось меньше и меньше, а люцерны с клевером больше и больше. В семидесятых годах его судили и на суде спрашивали: "Откуда у вас девятнадцать миллионов?" — а он честно отвечал: "Не знаю. Вообще-то я хотел всего мил-

лион, а откуда взялись девятнадцать, сам удивляюсь". Со скоростью три казм впритирку к тротуару вице-президента и его присных сопровождал кортеж "зимов" и "волг". Спрашивается, каково расстояние от мазара до гостиницы, если гости и хозяева добрались до места ровно через час?

Там было всё на мази. Створки входных дверей были настежь расплахнуты, вестибюль очищен от клиентуры и переоборудован под оранжерею, лозунг "догоним и перегоним" снят, персонал угодливо гнулся обапол изысканной ковровой дорожки. Самад Шамсиевич вальяжно приблизился к м-ру Никсону и, даря его улыбкой, сказал комплимент. Бедолага, вот кому надо посочувствовать, — столько треволнений довелось человеку испытать за день. И ни одного фотографа поблизости. Растерялись. Прохлопали. Не предучли. Не подгадали. Хоть бы занюханный любитель какой с довоенным "Фотоколом", — нет, никого. Кто восполнит пробел во всемирной истории? Только-то и надежды осталось, что, как Бог не без милости, так и казак не без счастья. Через десяток-другой миллионов лет промелькнувшее явление абсолютной истины, схваченное и запечатленное галактическими сферами, непременно вернется на землю и предстанет перед прогрессивной общественностью в виде миража в пустыне и в образе двух людей, пожимающих друг другу руки. Если, конечно, далекие наши потомки вдругорядь не прозевают запечатлеть на киноплёнку звездный час человечества.

Но больше всех переживал зав. бюро обслуживания Джура, когда среди отцов города и области узнал недавнего своего знакомого Арара. Он мигом сошел с лица и, сказавшись больным, отбыл с работы раньше времени. И дома ничто его не радовало: ни плов, ни дети, ни младшая из жен. Всю

ночь он не мог сомкнуть глаз, потому что страшная угроза – "Вы за нас ответите" – держалась в ушах, как стекловата, и он жутко боялся, что его попросят из партии, а у него две семьи и обе многодетные, узбеки своих детей не бросают, – кто их теперь будет кормить? Поутру спальные бязевые штаны сползли с него так легко и свободно, как будто жена тесьму в них забыла вдеть. Попридержав их рукой, он встал на домашние весы и увидел, что килограммов гораздо не хватает. В конце концов он решил о беседе с Араром помалкивать и правильно сделал, поскольку американцы тоже никому на него не пожаловались. С тех пор он зауважал капитализм, и каждый янки получал от него, конечно, не всё, что хотел, но ни один из них впредь не оставался без номера. Впрочем, всё это побочно, параллельно и не суть важно, – пора возвращаться к основному.

Меня все эти годы крайне удивляло и продолжает удивлять, почему и еще тысяча раз почему м-р Никсон не рухнул в объятия Самада Шамсиевича, как в сеновал, и теперь в моей коллекции большое зияние, потому что не достает картины "Лукулл встречает гостя". Он обошелся с моим добрым знакомым очень невнимательно, с ходу проследовал в апартаменты и попросил час времени его не беспокоить. Там он разоблачился и, допреж всех дел, отправился в ванную. В ванне не было пробки, тогда он прошлепал нагишом к телефону и связался с сопровождавшими его соотечественниками. Арара в номере не было, – он ходил по коридору и нес караул, а Диди собирался проделать то же самое, что и шеф, выкупаться, однако пробки и у них не оказалось, и м-ру Никсону пришли на память слова из американского бедекера: "Отправляясь в Советский Союз, не забудьте взять с

собой две-три ваннные пробки". Но необходимость - мать изобретений, а вице-президент по должности был сметлив и быстро приноровился регулировать утечку воды пяткой. В общем, он довольно сносно помылся, чего не скажешь о Диди с Араром: им пришлось затыкать дыру собственными трусами. Сменив костюм на спортивную пару, м-р Никсон откинулся в креслах вздремнуть, но время истекло, берег исправно прозвонил и одновременно с ним прозвучал дверной звонок. Старший гид "Интуриста", приняв стойку "чего изволите-с", в нарушение восточной традиции спросил заморского Ви-Ай-Пи, куда и когда тот отбывает. Прежде чем ответить, вице-президент немного поразмыслил, и мысли у него сложились не в пользу продолжения поездки: - "В Бухаре что еще будет?" - подумал он и сомнительно хмыкнул. "В Москву, - сказал. - Завтра утренним рейсом, пожалуйста". От участия в правительственном банкете он уклонился, сославшись на усталость, хоть это и не помешало застолью состояться.

Прошу не держать на меня обиду за то, что я употребил иностранную пословицу, "Необходимость - мать изобретения", будто у нас своих нет. В студенческие годы мне бы не сдобровать. Но клянусь честным словом, я не космополит, никогда им не был и к чужому фольклору прибегнул в иных видах. Конечно, есть у нас равносильная поговорка, возможно, даже посильней будет, - "Голь на выдумки хитра", но для американцев она не подходит. Какая же Никсон "голь"? Это мы голь. Это о русском народе сказано: голытьба, голота, голь перекатная. И пословица аккурат про нас, а не про иностранцев.

"Да что же это за страна за такая?" - закричал Главный Буржуин и был прав. А ему в ответ по-

гудку о том, как немчина спрашивали, Россия хороша ли. "Хороша-то, - говорит, - хороша, да житье там без барыша: строят сверху, кроют сбоку, начинают с конца, подпирают с неба, дурь сперва, ум опосля, вора́м потачка, с дураков взыску нет". И сидит народ поныне в глубокой ж... и выдумывает впотьмах что-нибудь нужное для хозяйства, а ему в очко кричат, как в трубу дудят: - "Ты славен, Иван! Ты мудр и могуч! Ты обречен на величие! С тобой надо на "вы"! Ты хлеб-соль-наш-свой!... Мы тебе лучший отработанный продукт. Ты там потерпи, а мы тем временем туда-сюда вокруг и опять тут". Вот он и терпит. И будет терпеть, пока его хвалят, потому что привык, смерд, хорошо о себе думать. Чудная страна. И всё в ней одно к одному: что порядки, что люди, что события...

После отъезда высоких гостей областная газета "Ленинский путь" сделалась самой советской газетой в стране. М-р Никсон к тому дню был в Штатах, и наша периодика успела сбавить тональность и переменить тематику, но местная пресса как раз подняла вой и принялась бить градусники всердцах на погоду. Она громила наголову внешний курс США и отчитывала вице-президента по всем швам, как крыловская моська: за невоспитанность, за бескультурье, за предвзятость, за провокационные вылазки и за всё, что в голову придет, когда всякая вина виновата. В одной статье, название которой я запомнил, но что-то вроде "У советских собственная гордость", рассказывалось о том, как в редакцию пришла старая узбечка, принесла сто долларов и сообщила, что какой-то человек, сильно смахивающий на Никсона, подошел к ней в Шахи-Зинда, где она просила подавание, и всучил бумажку от пивной бутылки. "А зачем она мне, - недоумевала старушка, - если на нее нельзя хлеба

купить". Святая простота! – сейчас бы ей такую бумажку хоть раз в год. "Нехорошо, г-н вице-президент, обманывать людей, – гневалась газета, зная, что ей ничего за это не будет. – Нашим людям не нужны доллары. Нашим людям не нужны деньги. Нашим людям вообще ничего не надо. У нас свои ценности". Враг был посрамлен.

А Самада Шамсиевича вызвали к первому секретарю обкома на правож. "Сволочь! – сказал ему секретарь, не подав руки. – Тебя надо повесить". Однако ж не повесили. И "на вид" не поставили. И пальцем не тронули. Сошло, как с гуся вода, поскольку обстановка благоприятствовала. Вот если бы не благоприятствовала, если бы, скажем, Никсону удалось с нами договориться и обменяться поцелуями, тогда другое дело, – затрудняюсь даже вообразить, что случилось бы с горемычным Самадом Шамсиевичем и по какому адресу он бы теперь проживал.

Через два дня вице-президент был в Вашингтоне и докладывал Эйзенхауэру о провале примирительной миссии. Никсону повезло куда меньше, чем Самаду Шамсиевичу, – он вообще был невезучий. Но в том же его плюсовая особенность: как политический деятель, он нисколько не нуждался в везении или в слепом счастье. Второй его приезд к нам тоже прошел всмятку, но иначе и быть не могло. Россией заправлял не политик, а купец, не столь тароватый, как щедроватый, – при нем страну отдали на поток и разграбление всем, кому не лень. Фигура эта была абсолютно не президентская и словно бы вышедшая из серии развлекательных картинок "Русские в Париже": что жест, что манера, что выходка, одно слово – гильдия. Конечно, в смелости ему отказать нельзя, да ведь это не составляет, Гитлер ведь тоже был не робкого десятка.

Нашему бы ума побольше да навстречу поуверенней выйти, а он послал белоглазого служку сказать: – "Их высокостепенство не соизволям-с", – вот вам и карты в руки, и клад, и смелость, и интуиция. И мизансцена на редкость: президент не пустил к себе на порог экс-президента, предавшись чувству мелкой зависти и личной мести, чем крепко потрафил своим недругам, которые вовсе, было, сникли носами по причине собственной незначительности, как вдруг такой подарок и от кого? от самого... Значит, с ними считаются, завидуют, боятся, – эхма, задора ради одежды не жаль! Подобных ляпов Никсон не допускал. А ведь мог бы принять. Никто его не обязывал чрево вещать от имени и по поручению, но поговорить с умным, бывалым человеком, как частное лицо с частным лицом, он был просто обязан. Этот ужасный конфуз и стыд, мной пережитый, были последними разновесами на чаше авторских колебаний. Теперь повесть почти закончена.

Не так давно тридцать седьмой или восьмой президент Соединенных Штатов помер, оставив по себе "Воспоминания" в нескольких, как я слышал, томах. Я их, разумеется, не читал и потому не в курсе, описана ли в них поездка в Самарканд или нет, но если даже описана, думаю, что не войду с миром Никсоном в противоречия, рассказав об одном и том же событии, только с обратной стороны, куда посторонних не пускали, не пускают и не собираются пускать.

V

В качестве послесловия привожу рассказ моего покойного приятеля и коллеги по совместному труду в газете "Советская Бухара". Собственно,

рассказом его можно назвать с большой натяжкой, но как текст к сатирической пантомиме, он на уровне. Бывает — пишешь одно, получается другое. К тому же забытое, подспудное и нигде не опубликованное произведение изобильно воспроизводит консервированный воздух прежних лет, — такое даже членам Союза не всем подряд удавалось. И еще пара достоинств незаурядного покойного мастера: мертвая хватка и тенденция "Даешь партийную политику через художественную литературу!" Литература же, как известно, отстаёт от текущего момента этак лет на пятнадцать, а то и больше, но у него произведения сходили, как блины со сковородки, одно за другим: лишь-лишь центральная печать задала тему, а неделю погодя он приносил готовую вещь. О ком он только не писал: о Черчилле и о Гитлере, о Ленине и о Хрущеве, об Аде-науэре и о Шпейделе. Не напиши он о Никсоне, я и поминать его не стал бы. Но он написал, и это решает.

Звали его Василий Афанасьевич Лыба. Он работал штатным сотрудником газеты, вел рубрику "Неотложной юридической помощи" и играл пером, из-под которого выходили стихи, поэмы, рассказы, повести, законопректы и диссертации. Последняя из диссертаций содержала бесконечно высокий потенциал полезного действия в потенциале и тянула на докторскую степень, а в дальнейшем на почетные звания братских Академий и называлась несколько длинновато, но короче было нельзя: "Полное уничтожение в социалистическом обществе закоренелых пережитков капитализма, как то: алкоголизм, курение, разврат, тунеядство, нецензурность, воровство, азартные игры, нежелание честно трудиться и спекулянты". Он знал, как это устроить, вот что ценно, Представляете, какую

чистую, безоблачную, комфортную жизнь он соби-
рался подарить социалистическому обществу, изба-
вив его ото всех пороков, как говорится, одним
махом сто побивахом. К безутешному огорчению
друзей, близких и осиротевших любителей со-
циального прогресса, фундаментальное научное
исследование было прервано в связи со смертью
маститого писателя, — мир его праху.

Ему говорили: — "Василий Афанасьевич, вы бы
читали больше", — а он отвечал: — "У меня инфаркт.
Мне читать врачи запрещают". "А писать?" "Писать
можно". Так что писал он ради собственного удо-
вольствия и здоровья, не пытаясь публиковаться, а
тем более, войти в Союз Писателей, хотя запросто
мог бы, туда и похуже брали. Его плоские полити-
ческие портреты были очаровательны и напомина-
ли китайскую акварель, лишённую тени и перспек-
тивы, — так им и надо! "Но ведь Шпейдель не был в
войну генералом", — выступал с критикой кто-ни-
будь из наших. "А кем же он, по-вашему, был? —
иронически шурился автор "Посылки генерала
Шпейделя". "Да никем. Ноль без палочки. капита-
нишко на пяточок пара. Гауптман". "Расскажите
вы ей", — отвечал он нам. "А откуда вы, Василий
Афанасьевич, знаете, что генеральшу звали Ля-
ля?" — спрашивали мы. "А откуда вы знаете, —
спрашивал он, — что ее звали не Ляля?" С ним
невозможно было спорить. Он никому, oprичь
"Правды", не верил. В творчестве он широко поль-
зовался эпиграфами, которые свидетельствовали о
его вполне достаточной начитанности, а в разговоре
часто употреблял две подстраховочные прибаутки:
"Не всяк тому так" и "Не надо дразнить быка за
рога". Но лучшую сущность его самого рекомендую
искать в тексте по признаку: носящий мускус в
кармане да не кричит о нем.

СОЛНЦЕ НЕ ПОТУШИТЬ

"Хозяин народа тот, кто ему служит".

Арабская народная мудрость.

Никсону не сиделось. Он схватывался с кресла и ходил из угла в угол по кабинету. То подбегал к столу и, нагнувшись, ставил какие-то синие кружочки и крестики на развернутой карте.

– Первым своим долгом я должен перестроить построенное. Я сделаю так, что превзойду Гитлера и Чингисхана, вместе взятых! – вскрикнул Никсон, посмотрев на себя в зеркало. – Господин Хрущев и не предполагает, с кем ему дело придется иметь. Да и все они, – бросив карандаш, он поднял вверх кулаки. Затем снова схватил карандаш и провел толстую линию по карте от Берингова пролива до Леопольдвилья, И вторую – от Норвежского моря до Австралии. "Вот мои планы! – закружилось в воображении кандидата в президенты США. – Я уже не кандидат, а без пяти минут президент! – взглянул на часы Никсон. – Скоро раздадутся телефонные звонки. Потом посыпятся поздравительные телеграммы, зашумит на весь мир радио..."

Никсон опять посмотрел на часы. Ему казалось, что минуты тянутся годами. Он никак не мог дождаться результата подсчета голосов, поданных американским народом за него. А в том, что именно его, а не Кеннеди, изберут президентом, Никсон не сомневался.

Чтобы не так мучительно тянулось время, этот без пяти минут президент США начал просматривать некоторые переводы советских газет. Здесь были переведены и те шпаргалки, которые он прихватил с собой, будучи в Советском Союзе. И те, которые переслал ему помощник военно-воздуш-

ного атташе при посольстве США в Москве Макдональд. В стопке переводов находились и такие материалы, которые Макдональд и подобные ему, рыская по стране Советов, собирали и направляли правительству Эйзенхауэра как агентурные сведения.

В большинстве из них сообщалось, где советские люди сооружают моря, электростанции, новые заводы.

На одном из переводов Никсон задержал свой испуганный взгляд. "На Полярной Звезде, - так начиналась переводная статья, - Герой Социалистического Труда Цой Дяим выращивает высокие урожаи сельхозкультур. На площади 42,9 га он собрал 149,1 центнера люцерны. Позже Цой Дяим вырастил по 52,7 центнера хлопка на площади 42 га.

На Полярной Звезде имеется более двадцати Героев Социалистического труда. А ихнему вожаку Ким Пенхва этот высокое звание присвоено дважды..."

Никсона начало знобить. Он знал, что Полярная Звезда находится где-то в небе. Но где точно, это было для него тайной.

Позвав из приемной личного секретаря, Никсон спросил: - Это верно, что Полярная Звезда на небе или мне кажется?

- Когда я в школу ходил, то она была на небе в одном градусе от северного полюса мира.

- Так и я помню. А это верно, что коммунисты на этой звезде освоили целину и выращивают люцерну и хлопчатник? - Никсон ткнул пальцем в лежавший перед ним перевод.

- Нет. Это вам кажется, - переводя взгляд с побагровевшего лица своего хозяина на бумажку, ответил секретарь. - Здесь переводчик сделал

ошибку. Речь идет о колхозе "Полярная Звезда", расположенного близ Ташкента. А переводчик неправильно перевел предлоги и отбросил кавычки. Вот это верно, что госпожи Белка и Стрелка побывали на Луне... - взглянул секретарь на другой перевод.

Раздавшийся телефонный звонок прервал разговор собеседников. Никсон схватил трубку и приложил ее к уху.

- Президент Никсон, слушаю. Благодарю вас за поздравление.

- Напрасно намылился, бритым не стал. За Кеннеди пошло более половины избирателей, - раздавался пронзительный голос в трубке.

- Кто говорит?

- Все говорят.

- Это так или мне кажется? - задрожал Никсон, падая на исчерченную синим карандашом карту.

- Выборы прошли так. А положение на карте вам кажется, - посмотрел на шизофреника секретарь.

- Радио! Включи радио! - завопил Никсон, накинув себе на голову карту с начерченным крестом.

"От Москвы до самых до окраин дышет миром, дружбой и свободой, - отчетливо зазвенел голос диктора по радио. - И теперь эти окраины простираются вширь далеко, далеко за южные горы и северные моря. Ввысь они достигли Луны, на которой реет вымпел Союза Советских Социалистических Республик. И никаким самодурам не остановить мчащегося по планете коммунизма! Ибо солнце не потушить, а правду не заглушить!"

- А это правда? - затрясся посиневший Никсон.

- Истинная правда, - согласился секретарь.

- А-а-а! - заверещал Никсон тонким голосом,

схватил шляпу и побежал к выходу. Больше его никто не видел.

Что мы имеем в рассказе В. А. Лыбы? Разработанную газетную тему и углубленный сюжет с доводкой до соцреалистической художественности. Лапидарно ёмкую концовку. Экономiku экономики, бережливое отношение к выразительным средствам. Чеховскую манеру письма: больше мыслей, меньше слов. Доброкачественная, крепкая проза. Вполне проходной рассказ. Как он его уел, а? Это ж надо!

Но не будем дразнить быка за рога: холодной войне предстояло длиться еще четверть века. Дурачье дело нехитрое.

Давид РАСКИН

"Мир за оконным стеклом..."

* * *

Пресека. Дорога к садоводству.
Чавкает растертый снег с песком.
Лес привык к вдовству или сиротству
И не ищет жалости ни в ком.

Лишь столбы из дерева с бетоном
Тают, отдаляясь от земли.
Да на самосвале многотонном
Сероватый щебень повезли.

С двух сторон затягивает паром
Перспективу. Проступает пот.
Страшно знать, что всё проходит даром,
Но страшнее ждать, пока пройдет.

* * *

Для объяснения тяги к небытию
Принято приводить многозначительные причины,
Их называют обычно движениями души
И – уж совсем произвольно –
Вводят понятие выбора, личной судьбы,
Обозначая ими всё что попало.

А на самом деле
Всё происходит, увы, значительно проще:
Перепополняют пепельницу окурки,
Некогда вытереть пыль,
Никак не поставить на место
Уже ненужную книгу
И так далее...

И вот в такие минуты
Достаточно позывных последних известий,
Запаха кухни или остывшего чая,
Чтобы спасала только лень и привычка
Всё формулировать, впрочем, не завершая
Ни одного из фрагментов несовершенного текста.
Да ведь и это – игра!.. Вот вся и премудрость.

* * *

В кофейных подтеках и смятых салфетках,
Как брошенный столик,
Стоит Александровский сад.
Нас больше не ждет. За спиной уже новая смена.
Пора отвечать за себя. А кофейную гущу
Суглинка, расчеты и все ожидания
Придется другим передать.
Остались одни серповидные пятна от чашек,
Истоптанный кафель,
Неспешный уход в темноту.

Так в час пересменки
Редееет толпа в проходной:
Одни растекутся по очередям, а другие
Вольются в воронку метро.
И всё-таки каждому из выходящих придется,
Хотя бы на четверть часа
Остаться совсем одному по дороге домой...

* * *

Мир за оконным стеклом...
Сглаженный воздух, покой,
Так что не видно дождя,
Ветра, биенья листвы,
Только на желтой земле
Рыжим пятном запеклась
Бронза, руда, кровь.

Сняты подробности. Ночь
Вылилась в гулкий покой,
Матовым, толстым стеклом
Обволокла листопад.
Всё, что увяло, потом
Падало, смертно дрожа, -
Взгляд формирует в изгиб
Точного, злого литья,
Патиной смерти покрыв.

Только холодная даль
Дышит в свинцовом стекле,
Всё оставляя, как есть...

* * *

Москва. Хамовники, Запах ночной развозки
Свежего хлеба. Сырая листва под ногами.
Пора на поезд. (Или - пахнут мокрые доски?)
Что-то здесь подгорело. Лишь синеватое пламя

Втянулось в двойное "М". Что-то холодновато.
(Может быть, мусор жгут на бесконечной стройке?)
Поздно кому-то звонить. (Кто там у аппарата?)
Только невнятный запах, сверх ожидания стойкий.

Черная корка ночи. Сытная мякоть дыма.
(Завтра проснешься уже где-то около Тосно).
Лишь ощущение тревоги так же неуловимо
И ощущение бездомности так же темно и несносно.

* * *

Не подступиться к метро – киоски, фургоны, лотки,
Торговый мусор затоптан в тугую весеннюю грязь.
Какая-то новая жизнь пробилась, всему вопреки,
Распространилась и нам как будто по мерке
пришлась.

И вот грязноватое утро холодным пятном
расползлось.
Ну что ж, если хочешь, – останься, не хочешь –
не держит никто.
Тебе предоставлено место в толпе, продрогшей
насквозь,
Картон проездного билета в кармане пальто

И многие прочие льготы. Газетная сырость земли
Еще постоит за себя, Да и мы ведь еще проживем.
Все крошки смели со стола и в угол потом замели,
Поближе к порогу. На лестнице пахнет жильем.

Довольствуйся прежней жилплощадью, ранней
весной,
Дешевым, в картонном пакете, крепленным вином,
И всё же тупая усталость и этот подъем напускной,
При всем их несходстве, почти совпадают в одном:

И то, и другое – надолго. И то, и другое – знак
Условного освобождения от мнимостей прошлых
лет,
От кажущихся обязательств. И, видимо, всё не так
Безвыходно и неизбежно. Лишь легкости нет,
как нет.

* * *

Ночь и вода сокращают
Вытянутое пространство.
Свет задает масштаб.

Так, от Горской на Котлин
И дальше – за Ломоносов,
Мерцает огнями дамба.
Лахта глядит на Стрельну.
Блеск от лунной дорожки
Целится в устье Невы.

Так разлетаются прахом
Планы, схемы, наброски,
Пепел и хлопья сажу,
Выкладки, мелкие карты
В полуазартной игре...

Так, а порою иначе,
Словно вода, в колебаньях,
В темной эмульсии ночи,
В масляном воздухе, в смеси
Снов, откровений, сомнений,
Спичкою влажной коптит

Пламя подспудной злобы,
Вспышка враждебности к миру –
Искрой мелькнет в отдаленье,
Быстро утонет в заливе,
Не объяснив ничего.

Стоп-кран

Рассказ

Отец сказал: "Запиши, тогда и сам поймешь причину, почему так сделал, и успокоишься". Мол, когда на бумагу переносишь, что с тобой было, это вроде как лекарство. Гете мне подсунул, чтобы я почитал. Про страдания юного Вертера. Сказал, что Гете страдал от неразделенной любви, покончить с собой хотел, а как изобразил, что герой застрелился, то и сам перестал психовать. Но ко мне это мало относится. Стреляться не собираюсь. Тут и без того, пока по Москве бродишь, запросто можно по случайности пулю получить, если окажешься вдруг, где мафиозная разборка происходит. Автомат не соображает, в кого пули летят. А стрельбы последнее время много стало: то по "ящику" передадут, то в газете прочитаешь. В прошлом году мой одноклассник так вот напоролся. В кафе с подружкой был, а тут палить начали, он и схлопотал пулю в плечо. Правда, выжил. Так что, лечиться и успокаиваться мне не надо. А стоп-кран я уже сорвал. И поезд остановил. Уж ясное дело, что больше не буду. Кому охота лишний раз тумаки получать. Меня мусора тогда здорово поколотили. Чуть до смерти не пришибли. Хотя кто может предугадывать, что дальше будет? Если обозлюсь, то, может, и снова сорву.

Зачем я это сделал? Вот вопросик! Чего этим добиться хотел? Сам не знаю. У всякого действия

должна быть причина. Так отец говорит. Он у меня идеалист. Весь по уши в книгах да в своих лекциях. Германистику в Институте культуры преподает. А жизни не видит. Студентки ему глазки строят, когда зачеты приходят сдавать. Но на него никакие приколы не действуют. Всю-то жизнь с одной женой, с моей матерью, живет. И карьеры не делает. Хотя за бугор давно ездит. И связей научных у него навалом. Это он решил, что мне надо бы пару классов поучиться в Германии, чтобы немецкий язык был на уровне, да и вообще... Мы, дескать, возвращаемся в Европу, снова входим в историческое и цивилизованное пространство, это наше будущее, и рухнула не только берлинская стена, но и все остальные барьеры, мешавшие русским людям приобщаться к цивилизации Запада. Я-то, правда, думаю, что там, в этой Европе и в этой Германии, своего дерьма навалом, да и дураков не меньше, чем у нас. Видел я его коллег, которые в Россию приезжали и у нас останавливались. Приезжают, будто на сафари в Африку, всего боятся, а едут, нервы щекочут. Хотя, конечно, шмотки у них и техника – не чета нашим. Вот за эти шмотки они получают у нас свои эмоции. Чтобы вернуться в Фатерлянд и всем рассказать о своем героизме: де, в самой Москве побывал и цел вернулся. А мы тут каждый день живем.

Мне вот сейчас моего прадеда не хватает, чтобы поговорить с ним, побазлать. Он старый большевик был, пятнадцать лет лагерей, но выжил, вернулся – и крепкий был старик! Дед-то у меня на войне погиб, поэтому прадед был мне как бы дедом. Тут коммунизм во всю разоблачают, а он, упрямый, поет: "Наш паровоз вперед летит, в коммуне остановка..." Смешно, но твердость нельзя не уважать. У него ведь тоже свое представление о будущем было. А потом совсем загрузил, когда и я стал ему

доказывать, что коммунизм и цивилизованное общество несовместимы. Я иногда жестоким бываю. Хотел посмотреть, как дед среагирует, хотя я и в самом деле против коммуны, особенно тех, что в застойное время парткарьеру делали: они при всех перестройках себе выгоду найдут – не то, что мой пращур! Его-то в конце концов от переживаний инсульт хватил, и он помер.

Всё, конечно, в человеческой жизни перепутано, ясности и простоты нет. Дед на войне с немцами погиб, а отец германистом стал, восхищается немецкой культурой, и меня в Бохум послал учиться. Там у него приятели в университете среди профессуры. Прадед – непримиримый, а отец – толерантный: даже разрешил о нем, как о постороннем, писать. Ну, конечно, я при этом понимаю, что он меня для моей же пользы в Германию направил. Телка моя, то есть подруга, ну, девушка моя, одним словом, чуть кипятком не писала от счастья, что я за бугор еду. Мы с ней год в обжимочку ходили, она ведь знала, что я ее не забуду, что я привязчивый: вернусь и подарки ей привезу. Вернуться-то я всё равно должен был бы – через два с чем-то года восемнадцать, призыв в армию: даже чтобы отмотаться, надо дома быть.

Отец меня там в гимназию определил: во-первых, язык буду лучше знать, во-вторых, сам гуманитарий, а, стало быть, соответственные связи, в третьих же, у меня всегда сочинения хорошо получались и рассказы я писал. Отец считал, что удачные. Я думаю, что вся моя тяга к словесности оттого, что болтать люблю, всё в слова перевожу, один раз поступок совершил – стоп-кран дернул. Но и остальные у нас тоже все имитируют, только кричат, а не делают. Кричат одно: нон-стоп! Сначала – нон-стоп, пока в коммунизм не въедем. Теперь – нон-стоп, пока в цивилизованное простран-

ство не вопремы, а там уж вместе с Европой будем двигаться. А я стоп-кран дернул. Потому что всё – липа, всё – вранье. По нон-стоп, я имею в виду. Всё равно на месте стоим...

Перечитал, что накалякал. Сумбурно получается. Не по делу: про отца да про прапрадеда. Словно я ненормальный. Попробую по порядку. Как отец просит. Чтобы объяснить толком, как и что произошло. Ну, про проводы, я думаю, не надо. Про наставления, как себя вести и тому подобное, что мне родители напоследок внушали. Про поцелуи на вокзале тоже. И про то, как отец просил рыжекудрого проводника с эдакой хамской и всепонимающей улыбочкой ("дескать, куда денетесь! пока едете, от меня зависите") присмотреть за мной в пути и сунул ему не то пятнадцать, не то двадцать тысяч. Для отца – сумма немалая, всё же мы не из "новых русских", не богатенькие, а тот эти деньги снисходительно и как бы между прочим, одолжение делая, в карман засунул. На носу у него висели капельки пота, а из вонючей пасти несло водкой.

Еще мне всучили две сумки – с продуктами и вещами. Продукты, чтоб в вагон-ресторан не ходил, до Кёльна всё-таки почти двое суток, а вещей – теплая куртка, свитера, кое-что из нижнего белья. Полное самообеспечение. В Кёльне, на хауптбанхофе, меня должен был отцовский приятель встретить, а там сразу, не переходя на другой вокзал, мы бы двинули в Бохум. Уже на немецком поезде. Так отец мне объяснял. Впрочем, всё это осталось в области трепы, пожеланий и преданий, потому что, как всем понятно, до Кёльна я не добрался. А вот почему – об этом и спич.

Купе было трехместным, тесным и узким, как собачья конура, я такого раньше не видел: вдоль одной стены три полки. Мою, среднюю, уже установили, но на ней кучились чьи-то тюки и узлы. Узлы

покрывали и часть купейного пола. Сверху, по периметру нашей конуры, шла еще одна полка поуже — для матрасов, но матрасы тоже кто-то успел разложить по жилым полкам, распределил, а вместо них по всему этому периметру опять же тюки и чемоданы.

Увидев вошедшего меня, вздохнула и поднялась с нижнего сидения краснощекая и толстомордая деваха, вздернутый нос ее был покрыт громадными веснушками, глазенки у нее, конечно же, оказались крохотули, зато синяя вязаная шапочка натянута прямо до бровей, и вся она какая-то обрубистая, будто пенек, да еще с красными прыщиками на шее. Недовольно сопя, она принялась перетаскивать свои узлы с моей полки на свою, верхнюю. Я ей из принципа не помогал, спекулянтке и мешочнице.. Грудь у нее, у этой глупомордой телки, были при том вполне ничего!

— Я счас, — пояснила она. Я на свою полку переложу наверх. Как-нибудь размещусь потом.

Думала, небось, что я ее пожалею и предложу пару тюков у меня на полке оставить!.. Как же, жди! Мне и свои-то пару сумок некуда было пристроить. Я стоял и наблюдал за ней, держа их в руках, пока сидевший в углу у окна мужчина не сказал мне довольно любезно сказал:

— Да поставьте вы их! Что руки утруждать. Одну я к себе могу, в ящик, а там и с другой разберемся.

Он поднялся, откинул нижнюю полку: и точно — там место в аккурат для моей сумки с вещами. Я ее и сунул туда, а сумку с продуктами возле столика примостил.

— Тут еда. Это мы съедим, — это я сказал вроде бы вскользь, показывая, что я самостоятельный и совсем не жадный.

— Учетом, учетом, — говорил он очень, даже

чрезвычайно дружелюбно и без назойливости пошла, прямо как нормальный мен. И не подумаешь, что подонок. На вид лет сорока, помоложе, чем отец. Он еще оставался в кожаной куртке, причем хорошей кожи (я-то вижу!), в защитного цвета рубашке, в галстук, темные брюки, черные полуботинки, белые носки. В общем, ничего прикид! Хотя белые носки с черными полуботинками выглядели несколько плебейски. И, честно сказать, мне понравилось, что несмотря на галстук он выглядел сильным и спортивным. Потом, только поезд покатил, он куртку скинул. А деваха ни шапочки вязаной, которая синевой ей на морду отсвечивала, ни свитера, который ее титьки выпячивал, не сняла, даже когда мы уже минут двадцать ехали. Сидела, насупившись, и губами шевелила, будто что подсчитывала. Физиономия непроходимая, так и написано, что мозгов в ее бестолковке не очень-то много, и всё глазками своими по сторонам зыркала, за барахлом своим приглядывала, а нам оно на хрена!.. Мужика звали Игорь Николаевич. А девку - Нина Викентьевна, так она по-взрослому представилась, чтобы важности себе нагнать, хотя не больше, чем на три - на четыре меня старше, а мне, если по правде, пятнадцать с половиной всего. Впрочем, я тоже представляясь, выпендрился, вроде как сострил, сказал, что меня зовут Павел, но что я не апостол.

Несмотря на примитивность моей шутки, она развеселила Игоря Николаевича, он даже хрюкнул, падла эдакая. А я таким манером выразился, поскольку заметил у него на груди серебряный крестик, когда он галстук снял и рубашку растегнул: на груди болтался. Хотя потом я и у девахи нашей крестик - типичную, конечно, штамповку, тоже увидел. Но это когда уже она разделась. Вот и напрасно говорят про плохого человека, что креста

на нем нет, а тут есть, да от этого еще хуже они, потому что, если Бог есть, то они его позорят! Ну, это я так, отчасти даже вперед забегаю, а в тот момент порадовался, что Игорь Николаич мою шутку благосклонно принял.

— Зато я — бывший Савл, — рассмеялся он. Хотя ни Павлом, ни апостолом не стал, но верующих больше не гоню, сам, как видишь, окрестился, к дедовской православной вере вернулся: хоть и не партийность, а вроде того. Только у нашей церкви нынче денег — кот наплакал, едва на внутренние нужды хватает. Поэтому воспитывать она, как раньше партия или комсомол, не может: молодежь ведь организовывать нужно. Я-то раньше комсомольским функционером был, в КМО работал, журналистов разных за рубеж сопровождал, мир им показывал. А немецкий я перфектно знаю. Теперь вот в коммерческую структуру перешел, но тоже по линии зарубежного туризма. Но вы, наверно, не в турпоездку, — проницательно он на меня глянул.

— Конечно, нет. Учиться еду. Отец пристроил, — я это так, как бы между прочим, бросил, чтобы понял, что для заграница — нормальное, плевое дело.

Смотрю, и впрямь он на меня уважительнее стал поглядывать: вдруг я сын какого-нибудь босса?.. Кто знает!.. А Нина Викентьевна, деваха наша, на меня всё равно ноль внимания, зато на Игоря Николаича гляделки свои глупые уставила и видно, что что-то корыстное в ее свихнутых мозгах закрутилось, спикировала на него, короче. Мне не, что обидно стало, но так, неприятно, когда на тебя внимания не обращают из-за того, что кто-то рядом по положению своему выше. Из реплик ее и полувопросов к И. Н., — так я для краткости теперь буду Игоря Николаича именовать, а девку — Н. В.,

тоже, чтобы не расписывать длинно, — я понял, что ехала она в Польшу, в Варшаву, челночила, одним словом. Но я делал вид, что меня это не интересует, да и в самом деле не интересовало, только презрение вызывало. В одно купе в нашем вагоне вообще столько вещей натолкали, что вплоть до верхней полки устали, так на вещах и располагались под потолком: и ели, и спали.

Рыжая бестия проверил наши билеты, содрал деньги за белье и ушел, сказав, что чай только в вагоне-ресторане. Поезд тыкался и тукался по рельсовым стыкам, шумел ритмично, увозил нас всё дальше от столицы нашей Родины. Как всегда в поезде бывает, захотелось скоро есть, особенно после слов проводника. И. Н. предложил закусить, чем Бог послал. Я достал для начала, конечно же, жареную курицу, хлеб, помидоры и бутылку "пепси", большую. Н. В. хлеб с салом вытащила и такую колбасу копченую, что я ее даже с голодухи бы есть не стал, уж очень противно пахла — каким-то прогорклым жиром. Еще огурцы и соль, и вареные яйца, конечно. Зато И. Н., как я и ожидал, достал шикарные бутерброды — с бужениной, сервилатом, карбонатом и тому подобными вкусами, еще соленую красную рыбку и бутылку шведского "абсолюта", литровую.

— Совместная пьянка — показатель лояльности во всех делах и во все времена. И с партийцами, и с коммерсантами — всё одно, — он поднялся. — Сейчас схожу за стаканами. Вернувшись, продолжил, протирая поездным полотенцем стаканное стекло. — Точно вам говорю. Хотя формально с пьянкой в свое время боролись, но доверяли лишь тем, кто всегда был непрочь выпить с начальством. И теперь то же самое. Коммерсанты, конечно, пьют больше и с женским делом пооткровеннее. Но мои связи всем нужны. Людишки-то все прежние остались, только

из партийных кабинетов в другие перелились. И каждый привычным своим делом занимается. Я, например, как ездил, так и буду на Запад ездить. Потому как я там всех знаю и все меня знают. А со знакомым человеком легче дело иметь. Ну, выпили!..

Симпатичного мало было в его рассуждениях, но чтобы не показывать своей неприязни, я выпил с ним, хватанул сразу полстакана водки. Хорошо стало, жарко, в голове шумно и бесшабашно. Хотелось кого-то подразнить, позлить, хотя бы эту Н. В., которая тоже полстакана хлопнула. Это, конечно, не первый был мой опыт по части спиртного, с ребятами выпивали, и я знал, что ничего такого не наделаю. Только над соседкой-спекулянткой решил поострить, спрашиваю:

– А что это столько много вещей с вами? Все нужны?..

– Будто не понимаете. – с полупрезрением в голосе односложно отвечает грудастый пенек в синей шапочке (или лучше – грибок?).

– Эти вещи продадите, а себе другие купите – достану ее вопросиками, как будто в меня бес вселился.

– Будто не понимаете! – уже с ноткой недовольства, раздражения отвечает сисястая Н. В. Ей неприятно, что я ее перед И. Н. прикладываю. А это меня еще больше заводит.

– Просто для денег? – изумляюсь я простодушно. – А зачем вам злотые? На них в России ничего не купишь.

– Будто не понимаете! – уже почти злобно грудями как пиками ринулась на меня. На доллары менять. Доллары мне нужны. Как и всем.

– А доллары вам зачем? – спросил я, ставя ударение, как и она. – В чулок складывать?

Она аж рот раскрыла от моей дикости и наивности, даже перестала иронию подозревать.

- Будто не понимаете... В банк положить или дальше ехать. Вы-то вот дальше Польши едете.

Я заткнулся. А И. Н. снова разливал, курицу мою грыз и свои бутерброды предлагал.

- Ну что, Павел, прояснили диспозицию? - он аккуратно выпил свою порцию водки, подождал, пока мы выпили, закусил и сказал:

- Молодая девушка хочет приобщиться к европейской цивилизации. И ради этого готова на всевозможные тяготы. Давайте еще выпьем за ее готовность и чтобы ей помог бог торговли. На торговле мир держится. Все продают: кто вещи, кто талант, кто свои произведения, кто свой труд, кто себя, кто идеи, кто Родину.

Н. В. совсем раскраснелась и радовалась, что о ней говорит этот И. Н., и прямо впитывала его слова, еще дальше, насколько это было возможно, выпятив свои груди с толстыми сосками и раздвинув пошире колени, словно придавая себе больше устойчивости. И. Н. позвал рыжекудрого хама, дал ему денег и велел принести сладостей, тысяч на пять, а пять оставить себе. Рыжая гадина всё это принес. Потом И. Н. его еще раз посылал за бутылкой "Смирновской" и минералкой. И все мы пили и ехали, ехали и пили, и болтали ни о чем. Вернее, болтал И. Н. О том, как комсомол заботился раньше о подрастающем поколении, как игры всякие устраивал, потому и злодеяния меньше было, меньше было преступлений, молодежь расходовала энергию со смыслом, играя в патриотические игры, а теперь, конечно, насилия больше, потому что комсомол из-за отсутствия партийных денег распался и не смог вести дальше своей работы, а все его деятели вынуждены зашибать деньги на себя. Когда еще кто разбогатеет, чтоб меценатом стать! Были бы деньги, можно было бы всю преступную молодежь направить в правильное русло.

А вы, Павел, стало быть учиться. Не продавать, а приобретать, – болтал он, но при этом совсем не казался пьяным, да и я пьяным не был. – Но жизнь сурова, надо стараться опыт приобретать. Мой сын – ваш ровесник, а уже организовал что-то вроде комсомольской коммерческой организации. Осуществляет некоторым образом связь прогрессивной молодежи всех стран. За доллары, конечно.

– За доллaры всё можно, – задумчиво протянула спекулянтская и фигуристая челночница, хамски и откровенно улыбаясь навстречу И. Н., ловя его взгляд, прыщики на ее шее побагровели, а затем посинели, как ее шапочка. – Вот бы мне туда войти... Я там всё согласна делать...

Сквозь щель между занавесками летела наша нищая Россия – с облупленными пристанционными домами барачного типа, с тоской деревень, грязных и неухоженных, с вылизанными дачными сотками, этими летними коммуналками.

– На всё, говоришь, согласна? – И. Н. смотрел на нее цепким и слегка хулиганистым взглядом, на лбу, как пишут в литературе, "бисеринки пота" появились. Он достал из висевшей в изголовье кожаной своей куртки не менее шикарное кожаное портмоне и вытащил из него зелененькую бумажку, подержал ее развернутою, чтоб мы полюбовались. – Это сто баксов. Мне их не жалко. Хочешь их получить?

– А что я должна?

– До самой Варшавы нас обслуживать. Всё, что скажу, делать. Понравишься – я тебя, может, в следующий раз к немцам с собой возьму. Там еще подзаработаешь. Они русских баб ценят. Туда отвезу и назад заберу.

– А если я понавляюсь тебе, ну там, приоденусь, – вдруг хрипнул этот пенек, – в постоянные любовницы возьмешь?..

– Я вообще с тобой спать не собираюсь, – брезгливо отмахнулся И. Н. – Просто ты будешь пока делать, что я скажу. Не бойся, закон переступить не потребую. Просто душу потешить хочу. – Он помолчал. – Пока груди раздень. Люблю, когда девки сиськами трясут во время разговора. Как на Западе. Свитер сними, а шапочку можешь не снимать. Так даже веселее.

Н. В. послушно и поспешно стянула с себя свитер, бросила его рядом вывернутым наизнанку, завела руки за спину и растегнула пуговики простого полотняного бюстгалтера (больше под свитером ничего не было). Грудь у нее оказались продолговатыми, хотя и толстыми, с большими тупыми сосками. Я аж замер! Я в книгах читал, что вот так дешево и пошло покупаются женщины, что многие готовы предоставить свое тело даже не для любви, а так, на шутку, на издевку. И. Н. потрепал ее соски. Вот тебе и цивилизованное пространство! Всё те же российские баре и их холопы, коммунашки и их обслуга... Слышал же, что они там на своих комсомольских выездных мероприятиях устраивали! Нерону не снилось!.. Меня больше всего злило, что он ее не трахнуть хотел, а унижить, поиздеваться, г о с п о д и н о м себя почувствовать. О н и же привыкли себя господами чувствовать.

Он, конечно, был пьян уже, как я сейчас считаю. Да и меня вело, голова кружилась, так что сидеть было трудно, хотелось встать, пройтись, покурить. Н. В. держалась, надо признаться, крепче всех. Совсем спокойно сидела. А меня, чуть привстал, как в качку на корабле, аж к другой стенке купе бросило. На ее сиськи рукой наткнулся, а она хоть бы хны: терпит, не защищается, не прикрывает свои достоинства. И говорит так спокойно:

– А может, в этот раз до Кёльна доедем? Вы рыжему нашему скажите, он за десять баксов что

хочешь сделает. А уж я постараюсь, довольны останетесь.

— Может, и доедем, — ей в ответ И. Н. — Слушайся, тогда и доедем. Прямо, блин, в светлое будущее доедем. Да здравствует капитализм — светлое будущее всего прогрессивного человечества! Х-ха! Наш паровоз вперед летит!.. И пускай летит, раз мы в нем едем. А другие страны пусть посторониваются! А ведь, Паша, хорошо в быстролетящем экспрессе, в тепле, уюте, с водочкой такие сиськи перед собой видеть. И трогать, если захочешь. А поезд, заметь себе, летит, везет нас. А мы в нем, И какой же русский не любит быстрой езды и послушной бабы! А я у нашей всё время купил. Пока едем — она наша. Как доедем — тоже наша. Если немчура не перекупит, — хмыкнул, а скорее, хрюкнул он.

— Я пойду покурю, — сказал я и, чуть не выбив из косяка дверь, так меня мотало, вышел в тамбур. И закурил. От курежки мне стало совсем худо. Я сигарету загасил, сам лбом к этому пыльному, грязному, но холодному окну прижался. А в ушах всё его слова, что, мол, доедем, доедем, доедем. Прямо под ритм колес. И от этого меня прямо на рвоту тянуло. Гад какой! Доедет он! Не хотел я, чтобы эти двое куда-нибудь доехали. Потому и стоп-кран дернул, а вовсе не потому, что якобы ухватился за него, чтоб на ногах устоять. Он довольно тугой был. Пришлось силу прикладывать, чтобы дернуть. Отец меня потом ругал, что я о других людях не подумал, когда поезд останавливал. Это верно. Не подумал. Но уж очень не хотелось, чтобы эти куда-то доехали. Уж очень противно стало.

Риталий ЗАСЛАВСКИЙ

"Вода который век течет..."

* * *

*Памяти замечательного пушкиниста
Мстислава Александровича Цявлов-
ского, автора исследования "Тоска по
чужбине у Пушкина".*

Тоскует Пушкин по чужбине,
томит поэта отчий край:
куда угодно, хоть в Китай,
из этой горестной пустыни.
Тоскует Пушкин по чужбине,
там – заграница, там – прогресс.
А здесь – река и синий лес,
а, может быть, совсем не синий.
А здесь охватывает лень,
такая сладкая истома:
не выходил бы век из дома,
писал бы чушь и дребедень.
Но поздно! Времени в обрез,
пора на что-нибудь решиться...
За синим лесом – заграница,
он – на коня и – в синий лес.
Письмо Жуковскому? Прошение
царю? Мгновение лови!
А между тем идет брожение,
в душе брожение, в крови...
И где-то дева, словно диво...

И прядь, вясь, дрожит у лба...
Судьба была несправедлива.
мучительна и прихотлива,
но всё-таки была судьба!

Тоскует Пушкин по чужбине,
томит поэта отчий край:
куда угодно, хоть в Китай,
из этой горестной пустыни.
Но как себя располовинить?
Он весь из цельного куска,
как жизнь или строка,
он не выносит зыбких линий.
Но зыбок дальний горизонт
и все понятия тоже зыбки,
и всё-таки в любой ошибке
есть неизбежность и резон.
Всё прояснится. Не сейчас.
И сразу четче станет контур...
Он так стремился к горизонту
(а горизонт бежит от нас).
Стихает Пушкин, как стихия.
Но вечность в нем взяла разгон,
и совершалась в нем Россия,
как, впрочем, в ней вершился он.

Тоскует Пушкин по чужбине,
тоскует весело и зло.
А лес вдали такой же синий.
А впрочем, белый: замело...
Тоскует Пушкин по чужбине,
и к Родионовне, к Арине
бежит через сенцы.

Боже мой,
как он тоскует по чужбине,
тоскует летом и зимой.
А над избушкой синий дым,

и цвет у губ такой же синий,
тоскует Пушкин по чужбине...

И я тоскую вслед за ним.

* * *

Екатерининский канал,
увиденный в окно,
о чем-то мне напоминал,
что я забыл давно.

Вода который век течет,
поблескивает грязь,
и этот мост – не переход,
а в самом деле связь
чего-то с чем-то – навсегда,
кого-то с кем-то – вдруг,
пустого "нет", святого "да",
и чьих-то глаз и рук,
связь жизни бывшей, но иной,
связь вечности и дня,
всего, что было не со мной.

Но мучает меня...

* * *

Прибалтика хочет свободы.
Весенние ветры гудят.
Звонят потаенные оды:
прибалты свободы хотят!

А где-то просторы этапа
готовят упорно и зло.

Империи тяжкая лапа
ложится на всех тяжело.

От жизни как будто устал ты,
не хочешь уже ничего.
Но вспомнишь внезапно: прибалты!
И снова в душе торжество!

МОДЕРОН

На затерянный в море остров Монерон в годы сталинщины высылались женщины, которых подозревали в близких отношениях с немцами во время войны. На остров не допускались мужчины...

**Женский остров,
 зеленый остров,
корабля разбитого остова...
Монерон,
 Монерон,
горизонт с четырех сторон.
Каждый день
 здесь маячат
 дымы —
корабли уплывают
 во тьму,
корабли проплывают мимо —
и костры разжигать ни к чему.
И томит,
 и томит отчаянье:
за туманом —
 Сахалин.**

**Остров,
 остров необитаемый,
Монерон мой...
 здесь нет мужчин.**

Тот, кто предан,
 сюда не придет,
тот, с кем предали,
 тоже не явится
и не нужен времени счет,
здесь дурнушками станут
 красавицы.

Женский остров...

 Вода, вода –
не уйти,
не сбежать никуда.

– Виновата я, виновата,
что настырны
 чужие солдаты.

Виновата, что бабью плоть
не сумела тогда побороть.
И вонзается в землю лопата,
и колышется

 грудь:
– виновата я, виновата,
но и ты милосердна будь!
Ты не предана и не продана,
так услышь и пойми мой стон:
сотни лет тебе только, Родина,
ну, а плоти моей – миллион!
Я сама истомилась с нею,
я не знала ни ночи, ни дня.
Ты прости мне. Она сильнее –
и тебя сильнее,
и меня...

Женский остров...

 Вода, вода,
не уйти,
не сбежать никуда.

* * *

Забыты и хамство, и ханство.
Но сердце опять повлекли
и ровное это пространство,
и горы, что к югу, вдали.

Но этой земле благодарен
за всё, что считалось своим...
Испуганно крымский татарин
тайком пробирается в Крым.

Он видит дорогу, каналы,
он слышит, как море гудит,
такой безнадежно усталый,
он под ноги хмуρο глядит.

Ползут ядовитые гады,
а он умиляется им.
Стрекочут знакомо цикады.
Ну вот и добрался он. Крым!

Не свищут татарские стрелы,
травой порастает тропа.
Но знает он эти пределы:
здесь предков лежат черепа.

Цветут виноградные лозы.
Забыв про печали и гнев,
он смотрит куда-то сквозь слезы,
от счастья почти охмелев.

Не ждет для себя он поблажки.
И пусть в этот самый момент
приблизится кто-то в фуражке
и спросит опять документ.

Он только чуть-чуть покосится,
и в спешке поглубже вздохнет,
и взглянет, как носятся птицы,
как волны вливаются в грот...

* * *

Некоторым коллегам.

Я не русский поэт – просто русскоязычный,
просто думать по-русски мне с детства привычно.
Я не русский поэт – успокойтесь же, право,
это ваша земля, это ваша держава!

Это ваши святые просторы, в которых
затерялся случайно судьбы моей шорох,
мои бедные рифмы и бледные строфы,
и душевный порыв, и мои катастрофы.

Я не русский поэт, я не русский, не русский,
я для этого в чем-то, наверное, узкий –
очень мало во мне от природы размаха,
слишком много во мне недоверья и страха.

Мне понять не дано... Мне почувствовать трудно...
Всё двоится во мне, всё подспудно, подсудно.
Я не русский поэт. Ваша вечная слава
не достанется мне, успокойтесь же, право!

* * *

Скорей, скорей кончайся, двадцатый век. Скорей!
Вон двадцать первый, чистенький, маячит у дверей.
Еще его не тронул скрежуший металл,
еще ничьей он кровью себя не запятнал.

Ничьи пока что слезы в него не пролились.
Над ним сверкает солнце. И голубеет высь.
Вон он какой прекрасный и радостный какой,
еще пока не смятый печалью и тоской!
Потом еще случится – я сам не знаю что.
Пока же всё лучится, всё светом залито!
Пока же всё сияет, и блещет, и горит,
и детскими губами о жизни говорит...

Александра ПОПОФФ

Гуд бай, Арина!

Рассказ

Старик Джон умирал в Канаде, готовясь вслед за своими предками, русскими духоборами, лечь в землю провинции Саскачеван.

Джон родился здесь; как и его родители, крестьяне, всю жизнь работал на этой земле, сеял пшеницу, но в разговорах с женой, соседями осуждал местные законы и правительство. В России, говорил, доктора лучше, порядки справедливее, а если и было зло – то от царя.

Отец и мать Джона в сенокос, бывало, рассказывали, что в России травы по-другому пахнут. Джон не знал, как пахнут те травы. Ехать же в Россию, как и другие духоборы, боялся: вдруг – не пустят назад...

Теперь, после трех ударов начисто забыв русский язык (когда-то он лучше многих в общине пел старинные песни), говорил он с женой по-английски.

Губы, руки, память уже почти не слушались его.

Жалуясь больными глазами, он, как ребенок, сплюнул в пеленку горячий кофе. Приподнял набухший палец и выдавил кривым ртом:

– Too hot.

Жена быстро отняла бумажный стаканчик от его губ, вздохнула:

– Oh, dear, dear...

Сложила на коленях руки. Длинные, искривленные ревматизмом пальцы всё еще были красивы (когда-то свекровь осуждала ее за это изящество).

Старика навещала вся его большая семья. В этот раз рядом со старшим сыном, уже почти седым, стояла его невеста, недавно приехавшая из России с четырехлетней дочкой.

Маша – так звали девочку – сочувствовала тому, что старик обжегся горячим и сплюнул в пеленку, как маленький. Она подошла ближе к его каталке, взяла безжизненную руку с отросшими белыми ногтями и крепко сжала ее.

– А... – пробормотал старик, чуть мотнув головой в ее сторону. Похоже, он ощутил маленькие жаркие ручки.

Жена поправила больному одеяло, наклонилась и сказала в самое его ухо:

– Дед, Маша из Расеи приехала! Ты по-русски гутарь с ей. Чуешь маленькие ручки? Ты про комара скажи байку, как комар на мухе женился... – Отодвинувшись, она засмеялась сквозь слезы. Выговор у нее был крестьянский, речь звучала напевно, но русские слова давались уже с трудом.

– А... – повторил старик, дико уставившись на жену.

Потом, помедлив, стал с усилием поворачивать голову к девочке. Та прижалась щекой к его ладони.

Она не испугалась, как бывает, маленькие дети боятся больных. Глядела на старика ясно и разумно, возвращая к жизни его сознание.

– Голубка, – сказал ей Джон. Он словно хотел еще что-то осилить, но не смог и улыбнулся вдруг расцветшими синими глазами.

Старушка-жена и сын, в этот момент узнав

прежнего Джона, заплакали. Девочка притянула к себе мать и соединила ее руку с рукой старика.

— Ему приятно! Пожми ему руку, мама! Он хочет!

Джон с вопросом посмотрел на молодую женщину, потом на девочку, на сына. Во вновь затуманенных глазах возникло понимание, он кивнул.

* * *

Когда, спустя время и ровно через месяц после того, как молодые поженились, пришло из больницы летним жарким утром известие, что старик умер, девочка крепко спала. Она еще не знала, не испытывала слова "умер".

Но ей сказали. И надели на золотые волосы черный бант, и мать — еще недавно невеста — в тот длинный день, когда в их дом всё приходили и приходили люди, тоже была в черном.

— Почему — черное? — спрашивала Маша. — Потому что умер Джон у папы? Надо Нелли сказать, что у папы умер Джон. Нелли — жена Джона?

Она еще только осваивала имена своих новых родственников, и новый язык звучал для нее чуждо. И новое слово — "умер"...

— А почему гости смеются? Почему они не в черном? Ведь же умер у папы Джон!

Мать ее и сама не знала, что подумать, когда люди, одетые буднично, — в майках, джинсах, — непринужденно улыбаясь, заходили на кухню, брали холодное пиво и снова шли во двор, а там разводили костер, смеялись.

И в темноте мерцал костер: молодые, стащив стулья и скамьи из дома, уселись вокруг огня; начались песни под гитару.

"Have fun, enjoy yourself", — как говорят в

Америке: при всех обстоятельствах и всегда – по-лучай удовольствие.

Маленькая Маша стояла у окна и, козырьком приставив ладони ко лбу, всматривалась в темноту. С тех пор, как они приехали в Канаду, она больше всего боялась, что мать оставит ее, уйдет, исчезнет однажды...

– Мама, мама! – закричала она и, как дикая, бросилась из дома в одних носках. Выскочила на улицу, хлопнула дверь и – замерла на миг у порога: ослепла, со света глядя в ночь.

В темноте, как волчьи глаза, блуждали светящиеся мухи. Одна из них стукнулась о голое Машино плечо – Маша вскрикнула от страха.

Из-за дома, с той стороны, где горел костер, ветер донес голоса взрослых. Маша услышала еще какой-то мерный и непонятный шум, от него дрожь пробежала по спине. Помедлив, она с испугом глянула в небо, где что-то шуршало и ёкало.

Там, по куполу безоблачного черного небосвода, среди ярко горящих звезд, скользили с тихим шелестом широкие белые лучи. Небо дышало, как живое, напрягалось и заглатывало, жадно всасывало белое.

С земли, со всех сторон, всполохи света стремились и неслись в черное горло и пульсировали в нем. Что это было? Магнитная ли буря, души ли умерших, свет с земли?

Далеко раскинулось черное небо с белыми всполохами, до самых краев плоской земли Саскачевана. Видно ли мертвым, слышно ли им, как, напрягаясь, зовет их небо к себе? Кто это знает...

Пока маленькая Маша, тяжело дыша от страха, в мокрых носочках, вскрикивая и припрыгивая на стриженном газоне, бежала к костру, тело старого Джона ожидало в морге своей очереди в крематорий.

Старик, еще будучи в памяти, сосчитал расходы на гроб, на похороны, возмутился, что всё так дорого ("Небось, в Расее-то дешевле"), и завещал себя сжечь, а прах рассыпать по полям.

Но поминать его, он знал, станут дважды. Будут поминки в день смерти, для самых близких, и поминки большие, на которые съедутся из Британской Колумбии многочисленные родственники-духоборы. Тогда, завещал он, пусть они вспомнят порусски и споют его любимую "Прощай, Арина!"

На светлой, посыпанной гравием дороге, куда выбралась, наконец, Маша, валялись обгоревшие головешки. Костер догорал, незнакомый парень заливал его водой. Кругом стояли пустые скамьи, валялись жестяные банки из-под пива. Голоса взрослых снова слышались где-то в стороне. Хлопнула дверца машины, громыкнул мотор.

Всполохи на небе затихали, небо лишь чуть пульсировало, когда гости покидали их дом, стоявший одиноко среди желтых, зеленых и только что вспаханных, бурых полей.

Были и большие поминки, на которых Маша сидела среди взрослых, в большом зале, за длинным столом, оглядываясь и ища одобрения. Она знала, зачем здесь собрались, "на поминки", как объясняла ей новая бабушка Нелли, но никак не связывала того старика, которого когда-то пожалела в больнице, с их теперешним прощальным сидением. И долго еще после, когда они семьей выезжали на машине в город, Маша смущала взрослых просьбой:

- Надо бы в больницу заехать, навестить дедушку Джона...

А старый Джон? Где теперь был старый Джон?

Поздно вечером к дому среди полей подъехал старший сын Джона. В багажнике его машины стоял короб. Он вошел, спросил у жены по-англий-

ски, не возражает ли она, чтобы он внес в дом на ночь прах отца. А потом, ссутулившись, тяжело ступая, снова шел к машине и подмышкой, мотая опущенной головой в такт шагам, пронес в свой кабинет тот тяжелый и скорбный груз.

Вскоре – прах освободили, и старый Джон вернулся на поле, которое когда-то вспахивал молодым. Поле принадлежало теперь другому фермеру, оно всё было засеяно льном, всё цвело голубым и вдали сливалось с бесконечным голубым небом. Напротив поля был заброшенный участок земли, на котором еще стояло несколько полуразвалившихся домов русской деревни. Здесь хозяевами были солнце, ветер и дождь.

Только в одном не сумели выполнить волю Джона. Среди потомков духоборов – и тех, кто жил в Саскачеване, и тех, кто приехал из Британской Колумбии, не нашлось никого, кто бы знал, как по-русски спеть "Прощай, Арина!"

Пели эту песню на английском – среди родственников были французы, ирландцы, итальянцы: третье поколение не женилось на русских, – и маленькая Маша, подскочив к поющим, встала среди них.

Good bye, Irene, good bye, Irene,
I see you in my dream...

Григорий КРУЖКОВ

Видение цыганки: Йейтс и Блок

Она – цыганка. Нильская волна
Ее лица видала отраженье.

Джон Китс. Два сонета о славе

I

Сравнивать Йейтса с Блоком начали довольно давно, что естественно. Оба были яркими фигурами литературного символизма, оба олицетворяли для публики "Поэта", то есть мечтателя не от мира сего. Очевидно, что Таинственная Роза Йейтса, по сути, то же, что Прекрасная Дама Блока – и реальная возлюбленная, вознесенная на метафизический пьедестал, и воплощенная в женщине Тайна Жизни, Душа Вселенной.

Впрочем, различия не менее знаменательны, чем сходство. Взять, например, отношения этих полюсов – Поэта и Девы. У Блока доминирует Поэт, у Йейтса – Возлюбленная. Сравним:

Ты – Божий день. Мои мечты –
Орлы, парящие в лазури.
Под гневом светлой красоты
Они всечасно в вихре бури.

Стрела пронзает их сердца,
Они летят в паденьи диком...

Но и в паденьи – нет конца
Хвалам, и клекоту, и крикам.

(Блок)

Владей небесной я парчой
Из золота и серебра,
Рассветной и ночной парчой
Из дымки, мглы и серебра –
Перед тобой бы расстелил;
Но у меня одно – мечты.
Свои мечты я расстелил;
Не растопчи мои мечты.

(Йейтс)

Мечты – мерцающие ткани, расстеленные у ног
Возлюбленной, и мечты – орлы, кричащие в
поднебесье – таков контраст.

Недаром английский исследователь К. М. Боура заметил*, что Прекрасная Дама существует где-то на периферии сознания Блока, "ее трудно назвать даже видением". Она поистине свет, льющийся с той стороны – заревый, закатный, полдневный. Ее далекость не трагична для поэта. В книге преобладает мажорный тон, упоение мечтами, чаяние небывалой весны.

Наоборот, с самого начала Йейтс находит для возлюбленной главный мотив – безутешность. Кажется бы, не слишком оригинально, но поэт, веря своей интуиции, упрямо держится этой ноты и только, начиная с первого стихотворения цикла "Роза", присоединяет к образу любимой вторую черту (героическую и варварскую одновременно) – гордость.

"Red Rose, proud Rose, sad Rose of all my

* В книге "наследие символизма" (Лондон, 1942), содержащей статьи и о Блоке, и о Йейтсе.

days!" ("Красная Роза, гордая Роза, печальная Роза всей жизни моей!").

Из этих двух простых слов – печаль и гордость – постепенно вырастает образ трагической красоты и силы. В "Печали любви", в "Белых птицах", в сонете "Когда старуха..." поэт говорит о страдальческом изломе ее губ, о скорби, распятой в глазах, о печали ее изменчивого лица.

Это и впрямь стихи влюбленного. Если классическое правило кокетства (увы, используемое иногда и поэтами!) велит смотреть на "предмет", на кончик носа, в угол и снова на "предмет", то Йейтс смотрит только на "предмет", не думая ни о чем другом. Он счастлив быть лишь зеркалом, где отражается лик его гордой и жестокой Девы.

Александр Блок, наоборот, не прочь посмотреть на себя как бы со стороны – влюбленными глазами Невесты или Жены. И неизменно остается доволен увиденным.

Мой любимый, мой князь, мой жених,
Ты печален в цветистом лугу,
Повиликой средь нив золотых
Завилась я на том берегу.

Я ловлю твои сны на лету
Бледно-белым прозрачным цветком,
Ты сомнешь меня в полном цвету
Белогрудым усталым конем.

Речь, конечно, не о нарциссизме, а о полной вывернутости ситуации. У Блока: он гордый, она трепетная. У Йейтса: она гордая, он трепетный.

Впрочем, образ "бледно-белого цветка", на которого наезжают усталым конем, меньше всего можно было бы применить к роковой возлюбленной Йейтса. Пленительная девушка с лицом, "как яблоневого цвета", которую он встретил и полюбил на всю жизнь, оказалась профессиональной рево-

люционеркой. Неукротимая энергия, красота и ораторский талант Мод Гонн действовали гипнотически на толпу. Митинги и демонстрации были ее стихией.

Йейтс напрасно рассчитывал на взаимность. Для Мод он всегда оставался слишком умеренным, слишком либералом ("кисляем", как сказала бы русская радикалка).

II

Прошло время, и вот Прекрасная Дама Первой книги Блока уступает место Незнакомке Второй книги, а та – Цыганке. В первом стихотворении Третьей книги "К музе" (1912) уже явны черты этой новой вдохновительницы, этой горькой, как полынь, страсти.

И коварнее северной ночи
И хмельней золотого аи,
И любви цыганской короче
Были страшные ласки твои.

Воцарение Цыганки произошло не сразу. Сперва ее вульгарная притягательность лезет в глаза, требует иронического отстранения ("визг цыганского напева"); но постепенно, и особенно в цикле "Кармен", всякое высокомерие исчезает, и в "Седом утре" его нет и следа. "Ты хладно жмешь к мои губам свои серебряные кольца. И я, в который раз подряд, целую кольца, а не руки..." Ибо он признал в ней свою ровню, сестру по духу. Духу вольности и самосожжения.

Любопытно, что образ цыганки промелькнул и у Йейтса – в довольно неожиданном контексте: Елена Троянская, когда ее никто не видит, копирует разбитную цыганскую походку, "подсмотренную на улице". Как известно, в Йейтсовской бухгалтерии

пишется: Елена, подразумевается: Мод Гонн. Еще в сборнике "Роза" он угадал в ней "скитальческую душу" (a pilgrim soul). Но, может быть, ярче всего цыганский, неумный нрав своей возлюбленной выразил Йейтс в стихотворении "Скорей бы ночь":

Средь бури и борьбы
Она жила, мечтая
О гибельных дарах,
С презреньем отвергая
Простой товар судьбы:
Жила, как тот монарх,
Что повелел в день свадьбы
Из всех стволов палить,
Бить в бубны и горланить,
Трубить и барабанить –
Скорей бы день спровадить
И ночь поторопить.

В свои зрелые годы именно это буйство (принесшее ему столько мук) Йейтс исключает из своего идеала женщины. В "Молитве за дочь" (1919) он просит об изгнании духа раздора, о спокойной доброте, которая вкупе с традицией и обычаем одни могут принести человеку счастье. С горечью он вспоминает женщину – прекраснейшую из смертных, которая все дары судьбы, полный рог изобилия, излившийся на нее, променяла на "старые кузнечные меха", раздуваемые яростным ветром.

Ситуация получается как бы зеркально отраженная. Йейтс низводит свою гордую Деву с пьедестала, а Блок, наоборот, возводит на трон цыганку – олицетворение того же неумного, пассивного начала, каким была Мод Гонн для Йейтса.

III

Идеал безбурной жизни, которую Йейтс намеч-

тал для своей новорожденной дочери, наверное, то и есть, что русский поэт обозвал "обывательской лужей". Потому что Блок выражал дух эпохи, – и когда отвергал /кущую конституцию", и когда прославлял "правый гнев" и "новую любовь", впоенную кровью встающих бойцов ("Ямбы"). А для Йейтса в 1919 году пошлостью была как раз революционная риторика, "ибо гордыня и ненависть – товар, которым торгуют на всех перекрестках".

Это несовпадение удивительно – при стольких совпадениях. Оба воспевали героическое начало в жизни; оба искали языческой закваски для выпекания новых хлебов ("кельты" Йейтса, "скифы" Блока). И все-таки Йейтс сумел дистанцироваться от носящейся в воздухе идеи насилия.

Блок слушал "музыку времени" – диссонансную, возбуждающую – и транслировал, усиливая ее всей мощью своего певческого дара. Революция, которая, умыв Россию кровью, поведет ее к светлому будущему, и Россия, в последний раз зовущая лукавую Европу на братский пир, пока она (Европа) не погибла от желтой опасности – "монгольской дикой орды", – всё это не лично Блоком выношенные идеи. Но идеи заразные, и стихи, вдохновленные ими, не могли не иметь огромного резонанса.

Ирландский же поэт выражал, если продолжить сравнение, не "музыку времени", а "музыку сфер"; его зрелые стихи стремятся структурно, пространственно оформиться, обрести равновесие.

Блок намного превосходит его в динамичности, в накале строки. Йейтс всегда несколько умозрительен. Его пейзаж – придуманный, фантастический, а у Блока – реальный мир (город, Петербург), и его глаз точно фиксирует все детали, движения и свет этого мира. Йейтс заказывает себе сны, чтобы их

описать^{*}, а Блок живет в мире, который есть сон (в "электрическом сне наяву").

Ирландский поэт строит свою систему, чтобы защититься от случайностей мира, а Блок опровергает любой закон и систему:

Сама себе закон – летишь ты мимо, мимо,
К созвездиям иным, не ведая орбит,
И этот мир тебе – лишь красный облик дыма,
Где что-то жжет, поет, тревожит и горит.

Блок вряд ли мог поверить в уютный круг перерождений, в его стихах уже есть то, что потом сумела гениально сформулировать Ахматова: "Но я предупреждаю вас, что я живу в последний раз". Блок отвергает колесо причин, не несущее человеку ничего, кроме повторения страданий, его русская "карма" безотрадна.

Умрешь – начнешь опять сначала,
И повторится всё, как встарь:
Ночь, ледяная рябь канала,
Аптека, улица, фонарь.

Йейтсу не меньше внятна горечь жизни, но он не пресытился ею и готов "начать опять сначала":

Согласен пережить всё это снова
И снова окунуться с головой
В ту, полную лягушечьей икрой,
Канаву, где слепой гвоздит слепого...

В глубине души, может быть, оба знают одно; и зловещие предчувствия, и тоска одни и те же.

Шире и шире кружа в воронке,
Сокол сокольничьего не слышит;

^{*} "Я нашел особый способ, как с помощью символических предметов влять на свои сны... – я просто клал рядом с кроватью какие-нибудь цветы или листья". ("Anima Mundi", I)

Связи распались, основа не держит...

(Йейтс, 1919)

Чертя за кругом плавный круг,
Над сонным лугом коршун кружит
И смотрит на пустынный луг. –
В избушке мать над сыном тужит...

(Блок, 1916)

Чувства сходные, да реакция разная. Блока все-таки соблазняет разрушение; Апполон, разбитый кочергой во время последней болезни, – символичен.

Йейтс – строитель. Каменщик, масон, зиждитель не одних только воздушных замков (вспомним Театр Аббатства и Тур Баллили).

Вот такая разница.

IV

Ужас перед жизнью – один из главных мотивов Блока. Он, должно быть, всегда чувствовал зыбкость и скорость Земли, крен и размах ее движения.

И под божественной улыбкой
Уничтожаясь на лету,
Ты полетишь, как камень зыбкий,
В сияющую пустоту.

Отсюда тема опьянения. Подобное побеждается подобным, головокружение – другим головокружением. "Я пригвожден к трактирной стойке. Я пьян давно. Мне всё – равно". Рецепт старый, хайямовский. Пей, ибо из твоего праха вылепят кувшин и будут пить из твоего праха. Но Хайяму еще было сравнительно уютно в его системе, где обычный гончарный круг играл роль Великого Колеса перевоплощений. Гораздо хуже ощущать себя в тесной и

темной клетке, когда ее "поднимут, закрутят и бросят" в "бездонную пропасть, в какую-то синюю вечность".

Вообще, у Блока вселенная как будто сотворена не Богом, а Дьяволом, – ощущение, точно выраженное в "Чертовых качелях" Сологуба: "Попался на качели – качайся, чёрт с тобой!". Он и качается, причем физически ощутима эта амплитуда, страшные ускорения со свистом, когда всё проваливается в какую-то бездну – и мгновения зыбкого почти покоя, когда рождались, может быть, лучшие стихи – такие, как "О доблести, о подвигах, о славе...", "Превратила всё в шутку сначала..."

Среди последних стихотворений Йейтса есть одно: "Пьяный восхваляет трезвость".

Не отставай, красоточка,
Смотри, чтоб я плясал,
Иначе выпивка меня
Уложит наповал.
Я сердцем предан трезвости,
Она бесценный клад;
Сама суди: мы кружимся,
А пьяные храпят.*

Йейтс предпочитает пьянству действие – и действие ритуальное (танец). Хотя он тоже видит могилу "под каждым пляшущим". Он опьяняется танцем, который есть его экстатический ответ небытию. Но не вином, которое ведет опять-таки в тоску небытия ("Мертвы лежат все пьяные, / Все мертвые пьяны").

У Йейтса танец – всегда откровение, катарсис. У Блока всё надрывней, безжалостней.

Когда-то гордый и надменный

* Перевод А. Сергеева.

Теперь с цыганкой я в раю,
И вот – прошу ее смиренно:
"Спляши, цыганка, жизнь мою".

И долго длится пляс ужасный,
И жизнь проходит предо мной
Безумной, сонной и прекрасной
И отвратительной мечтой...

Вспомним Йейтсовскую девушку между Сфинксом и Буддой, "протанцевавшую свою жизнь до-тла" – ту, которой и после смерти снится сон о танце ("Двойное зрение Майкла Робартиса"):

And right between these two a girl at play
That, it may be, had danced her life away,
For now being dead it seemed
That she of dancing dreamed.

Не цыганка ли она – эта плясунья? Ведь цыгане некогда считались выходцами из Египта, а потом – из Индии. Между Сфинксом и Буддой.

Так проговариваются поэты. И ширят свой миф, и, как будто играя в жмурки, вслепую – попадают в новые пространства и в новые измерения.

Феноменологический роман*

Над романом "Жизнь Арсеньева" Бунин работал, с перерывами, с 1927 по 1939 год (первые четыре главы написаны в 1927–29 годах, после трехлетнего перерыва Бунин приступил к писанию 5-й части, которая в 1939 году была издана отдельно в Брюсселе под названием "Ли́ка"). Но первые наброски к роману написаны уже в 1921 году ("Безымянные записки", "Книга моей жизни" и проч.), а философски-религиозные "мечтания" (этим словом Ильин определил новый жанр, созданный Буниным) – "Цикады" (1926 г.) – тоже фактически являются подступом к роману.

Первые четыре части романа скрупулезно воскрешают детство и юность самого Бунина (хотя он очень не любил, когда этот роман называли его автобиографией). В пятой же части – Бунин хотя и воссоздает в общих чертах историю своей любви к Варваре Пашенко, но сильно видоизменяет и окружающую обстановку (дом семейства Лики это не дом Пашенко, он скорее своей атмосферой и некоторыми деталями напоминает дом первой жены Бунина – Цакни) и сам образ Пашенко: вначале

* Глава из книги Юрия Мальцева "Иван Бунин. 1970–1953". Изд. "Посев". М., 1994. Журнальный вариант.

Ли́ка почти целиком совпадает с Пащенко и характер ее отношений с Арсеньевым соответствует отношениям Вари и Бунина, но затем (во время совместной жизни в Полтаве) Ли́ка все более становится такой, какой сам Бунин мечтал видеть Варю – слабой, покорной, любящей, преданной, преклоняющейся перед его талантом, и эта неожиданная метаморфоза делает образ Ли́ки менее убедительным и противоречивым. Это, пожалуй, единственная слабость в почти совершенном создании Бунина. Сам Бунин оправдывал эту противоречивость желанием создать некий неуловимый, лишь смутно намеченный, а не очерченный с реалистической определенностью женский образ. "Образ ее неясен? А мне казалось, что он ясно вышел – в смысле общеженского молодого, в его переменчивости, порождаемой изменением ее чувств к "герою", кончившимся преданностью ему навеки, – читаем в письме Бунина М. В. Карамзиной. – Я только это и хотел написать, – не резко реальный образ, – резкость уменьшила бы его тайную прелесть и трогательность".

"Жизнь Арсеньева" – уникальная книга в русской литературе, она, быть может, занимает в ней такое же место, как "В поисках утраченного времени" Пруста в литературе французской. Непосредственного влияния она – по множеству причин – на русскую литературу сразу не оказала...

Лишь гораздо позже – другой столь же одиноко стоящий в русской литературе роман Пастернака "Доктор Живаго" повторит многие черты, приведенные впервые Буниным.

Бунин говорит, что он прочел Пруста лишь после того, как написал первые части своего романа, и сам удивился схожести. И действительно, "Жизнь Арсеньева" это вовсе не автобиографическое про-

изведение вроде трилогии Толстого или повести Аксакова, где пересказывается собственная жизнь, рассматриваемая на некоторой поэтической дистанции, где повествующее "я" не становится персонажем, а эпическое прошлое остается "абсолютным прошлым" (по терминологии Бахтина), не связанным и не взаимодействующим с настоящим.

Как и у Пруста, у Бунина мы находим не воспоминания, а память – то есть некую совершенно особую духовную сущность, понимаемую художником как суть искусства и даже жизни (Пруст писал, что память – это не момент прошлого, а нечто общее и прошлому, и настоящему, и гораздо существеннее их обоих, и что память, в отличие от воспоминания, дает не фотографическое воспроизведение прошлого, а его суть, и потому несет такую радость и дает такую уверенность, что делает безразличной смерть; всё это мог бы повторить и Бунин). Именно поиском этой сути, высветлением эстетического в повседневном, отысканием ценности пережитого момента или присвоением ему ценности (что по сути одно и то же) занят Бунин в своей книге.

Жизнь предстает здесь не в своих разрозненных моментах, а во вневременном единстве, расширяющемся до вечности, здесь мы находим не маленький мирок замкнутого в себе (и своей биографии) человека, а лучезарный космос, полный гармонии, блеска, красоты и тайны. Здесь с особой силой проявляется то свойство бунинских образов, которое можно было бы назвать некой их "абсолютизацией", то есть стремлением схватить в образе абсолюта, а не только явление, овладеть всей полнотой жизни, а не какой-то частичкой истины, как это делает столь чуждая Бунину наука.

Поэтому называть романом эту книгу неверно. Сам Бунин взял в кавычки слово "роман", начертанное на папке с рукописью, указав тем, что это вовсе не роман в традиционном понимании (традиционно в нем одно лишь заглавие) – ему гораздо больше подошло бы то название, которое мы находим в набросках – "Книга моей жизни". Оно, давая некое смещение понятий, говорит о жизни, читаемой как книга, и о книге, пишущейся и переживаемой в процессе писания как жизнь, и намекает также на давнюю мечту Бунина написать "книгу ни о чем", "сделать что-то новое, давным давно желанное /.../, начать книгу, о которой мечтал Флобер, *"Книгу ни о чем"*, без всякой внешней связи, где бы излить свою душу, рассказать свою жизнь, то, что довелось видеть в этом мире, чувствовать, думать, любить, ненавидеть", – читаем в его дневниковой записи от 27 октября – 9 ноября 1921 года" (то есть как раз в тот период, когда, как мы уже сказали, началась внутренняя работа в этом направлении и подготовка к созданию романа).

"Жизнь Арсеньева" – это не воспоминание о жизни, а воссоздание своего восприятия жизни и переживание этого восприятия (то есть новое "восприятие восприятия"). Жизнь сама по себе как таковая вне ее апперцепции и переживания не существует, объект и субъект слиты неразрывно в одном едином контексте, поэтому я и осмеливаюсь назвать "Жизнь Арсеньева" первым русским феноменологическим романом" ("*ego cogito cogitata qua cogitata*").

Здесь память, как и у Пруста, есть очень трудный и напряженный процесс, ибо она устраняет фиктивное, шаблонно установившееся у нас представление о прошлом и воссоздает его подлинный образ. Прошное заново переживается в момент

писания, и потому в "романе" Бунина мы находим не мертвое "повествовательное время" традиционных романов, а живое время повествователя, схваченное и зафиксированное (и оживающее каждый раз снова перед читателем) – во всей своей неотразимой непосредственности.

Естественно, что время здесь, как и у Пруста, становится главным героем или, вернее, главным врагом, которого хотят побороть. Постоянно присутствующая диахронность – то есть время, о котором повествуется, и время, когда повествуется (и частая переброска из одного времени в другое, нарушение временной последовательности), иногда заменяется *трех-хронностью*, как, например, в конце четвертой книги, где приезд великого князя в Орел в далекий весенний день юности Арсеньева (в конце прошлого века) сменяется похоронами великого князя на юге Франции несколькими десятилетиями спустя и описываемыми в настоящем времени. "Неужели это солнце, что так ослепительно блещет *сейчас* /.../, это то же самое солнце, что светило нам с ним некогда?" (курсив мой. – Ю. М.). Это "сейчас" – есть грамматическое выражение отмены времени и его преодоления, это настоящее время есть одновременно и настоящее время последней встречи с князем, и настоящее время того момента, когда пишутся эти страницы и когда заново переживаются обе встречи, разделенные десятилетиями и соединенные в ином – третьем – измерении. Такую же *треххронность* находим, например, в таком эпизоде: "Сколько раз в жизни *вспоминал* я эти слезы! Вот *вспоминаю*, как *вспомнил* однажды лет через двадцать после той ночи. Это было на приморской бессарабской даче..." (курсив мой. – Ю. М.).

Память охватывает одновременно два момента

прошлого (событие и последующее воспоминание-переживание этого события) и соединяет их с настоящим воспоминанием об этих двух моментах прошлого глаголом настоящего времени "вспоминаю". Такое же воспоминание о воспоминании находим в других главах: "Я устроился со своим чемоданчиком в углу возле двери, сидел и *вспоминал*, как /.../. Ночь до Харькова... И та, другая, ночь – от Харькова, *два года тому назад* /.../" (курсив мой. – Ю. М.). Собственно говоря, этой треххронностью даются не три момента времени, а время раскрывается одно внутри другого до бесконечности, ибо совершенно очевидно, что воспоминание о воспоминании становится воспоминанием о воспоминании о воспоминании о воспоминании... и т. д. при каждом последующем обращении к нему, и это "два года тому назад" собственно не относится ни к какому моменту. Или наоборот – к любому, ибо время реальное исчезает и заменяется временем внутренним. Или еще точнее: так называемое "реальное время" – оказывается лишь некой "необязательной" последовательностью, а подлинным измерением времени является внутреннее восприятие, переживание момента в определенном состоянии, который, будучи воскрешаем памятью, – повторяется ("это совсем, совсем *не воспоминание*: нет, просто я опять прежний, совершенно прежний. Я опять в том же самом отношении к этим полям, к этому полевому воздуху, к этому русскому небу, в том же самом восприятии всего мира...").

Этим бунинский хронотип отличается от того – что сегодняшняя критика называет "рельефностью времени": у Бунина не "рельеф", а полное стирание граней и различий, выход в иное вневременное измерение. Интересно отметить в этой связи употребление Буниным будущего в прошлом (совершивше-

гося будущего), то есть такого времени, которое по отношению к рассказываемому моменту является будущим, а в отношении рассказывающего – прошедшим. Например, при появлении в летнем ресторане "высокого офицера с продолговатым матово-смуглым лицом" упоминается о том, какую роль сыграет этот человек впоследствии в жизни Арсеньева.

Уже и раньше Бунин в своем творчестве очень часто прибегал к антиципаниям (многозначным деталям, намекающим на долженствующее произойти и подготавливающим его). Теперь же принцип антиципаций обретает новое значение и служит общей задаче – преодолению времени.

Сам Бунин довольно четко сознавал совершенно новый характер своего хронотипа. Об этом свидетельствует, например, его разговор с Кузнецовой: "Говорили о романе, как /.../ писать его новым приемом, пытаясь изобразить то состояние мысли, в котором сливаются настоящее и прошедшее, и живешь и в том и в другом одновременно".

Исчезновение "реального" времени и реальной последовательности времени в "Жизни Арсеньева" есть также результат того приема, который мы отмечали уже в "Суходоле" и который здесь, в "романе" – получает новое развитие, его можно было бы определить как – синтез памяти*.

Конкретные воспоминания, очищенные от второстепенного, сливаются в некий единый синтетический образ памяти. Например, десятая глава

* Это нечто вроде "мифического аористона" (по терминологии структуралистов), который определяется как "чисто глагольный акт, свободный от жизненных корней опыта" (Ролан Барт) и как "прошлое, отрезанное от настоящего и уже более не отдаляющееся" (Бютор).

первой книги (надо помнить, что писался текст без разбивки на главы единым потоком и единым дыханием – поток памяти, а не следование ходу реальных событий прошлого – и лишь впоследствии Бунин сделал разделение на главки для удобства читателей) начинается так: "А еще *помню* я много серых и жестких зимних дней, много темных и грязных оттепелей, когда *становится* особенно тягостна русская уездная жизнь, когда лица у всех *делались* скучны, недоброжелательны, – первобытно *подвержен* русский человек природным влияниям! – и всё на свете, равно как и собственное существование, *томило* своей ненужностью... *Помню*, как иногда по целым неделям *несло* непроглядными, азиатскими метелями... Помню крещенские морозы, *наводившие* мысль на глубокую древнюю Русь, на те стужи, от которых "земля на сажень трескалась": тогда над белоснежным городом, совершенно потонувшим в сугробах, по ночам грозно горело на черновороненом небе белое созвездие Ориона, а утром зеркально, зловеще блистало два тусклых солнца, и в тугой и звонкой неподвижности жгучего воздуха весь город медленно и дико дымился алыми дымами из труб и весь скрипел и визжал от шагов прохожих и санных полозьев /.../" (курсив мой. – Ю. М.).

Здесь "помню" в настоящем времени дает нам момент воспоминания и его записи, и настоящее же время "становится" – подчеркивает синтезированный характер образа (вневременное настоящее); а затем сразу же – переход к прошедшему времени – "делались", – чтобы перенести нас в прошлое, о котором повествуется. Но это прошлое снова перебивается настоящим временем – "подвержен", в его синтезирующей функции. После чего снова возвращается прошлое время – "томило". Следующий пе-

риод снова начинается настоящим временем ("помню"), сменяющимся прошедшим ("несло"), а причастие "наводившие" переводит уже из плана памяти в план воображения ("древняя Русь"). Воображение же помещается вообще вне времени как образ, принадлежащий одновременно и прошлому воображению, и нынешнему. Следующий за этой фразой отрывок, при всей поразительной живописности и конкретности также оказывается вне времени, ибо относится одновременно и к древней Руси, и к тем "иногда" в прошлом, о которых вспоминается, и к воображению (нынешнему, то есть в момент писания, в том числе). Граница времен размывается.

Такой переход от синтезированного образа памяти к конкретному описанию, которое тем не менее, не теряя своей конкретности и яркости, уже утрачивает связь с реальной временной последовательностью и переносится в иное, внутреннее, временное измерение, — мы наблюдаем на протяжении всего романа.

"А не по мне было в этом кругу (народническом. — Ю. М.) тоже многое. По мере того как я привыкал и присматривался к нему, я все чаще возмущался в нем то тем, то другим /.../, клеймят "ренегатом" всякого, кто хоть мало мальски усумнился в чем-нибудь ими узаконенном /.../, на вечеринках поют даже бородатые: "Вихри враждебные веют над нами" — а я чувствую такую ложь этих "вихрей", такую неискренность выдуманных на всю жизнь чувств и мыслей, что не знаю, куда глаза девать, и меня спрашивают: — А вы, Алеша, опять кривите свои поэтические губы? Это спрашивает жена Богданова /.../" (курсив мой. — Ю. М.).

Здесь первое "спрашивают" — в настоящем времени синтезированном (обычно спрашивают), а

второе "спрашивает" неожиданно перебрасывает нас в конкретный момент прошлого, на конкретную вечеринку. Но эта конкретность момента лишь чувственно-воспринимаемая: она зрительная, слуховая, осязаемая и т. д., но не временная. Она вне реального времени ("мифический аористон").

"Случалось, я шел на вокзал. За триумфальными воротами начиналась темнота /.../. Кидаюсь на извозчика и мчусь в город, в редакцию. Как хорошо всегда это смешение – сердечная боль и быстрота! /.../ В прихожей наталкиваюсь на удивленную Авилову: "Ах, как кстати! Едем на концерт!"

Этим приемом Бунин добивается удивительного эффекта: вневременные образы обретают небывалую особую четкость и выпуклость, какое-то яркое и особое освещение (как в "волшебном фонаре"), и в то же время мы особенно сильно чувствуем их поэтичность и как бы налет вечности на них. Это самое вечное Бытие проявляется в укрупненном бытании.

Часто движение идет в обратном направлении: от конкретного образа к синтезу. "По случаю заносов, целых два часа я сидел, ждал на вокзале, наконец дождался... Ах, эти заносы, Россия, ночь, метель и железная дорога! Какое это счастье – этот весь убеленный снежной пылью поезд, это жаркое вагонное тепло, уют /.../". В данном случае целая развернутая картина, следующая за нашим многопочтием, ведет от конкретного образа к синтезированному.

Но часто всего одно восклицание или слово выводит эпизод из его временной одномерности. "Из Орла я увозил одну мечту /.../. Перед станцией одиноко стоит товарный вагон. Поезд обходит его, и я еще на ходу соскакиваю /.../. В сумраке лошаденка мужика-извозчика /.../ Мелькают в тучках, в

низком русском небе, редкие звезды... Опять перепела, весна, земля – и моя прежняя, глухая, бедная молодость!" (курсив мой. – Ю. М.). Здесь лишь слово "русское" (синтезирующее) да восклицание – выводят на более широкий простор памяти временную конкретность.

Отметим в связи с этим один эпизод романа. Описывая сцену, которой сам Арсеньев видеть не мог, Бунин тем не менее дает ее в конкретных штрихах, сопровождая описание словами "должно быть", "верно" и т. п. "Она, верно, долго полулежала на тахте в нашей спальне, поджав под себя, по своей привычке, ноги, много курила /.../, все смотрела, должно быть, перед собой, потом вдруг встала, без помарок написала мне на клочке несколько строк /.../ (курсив мой. – Ю. М.). Та особенность, которую можно определить как "конкретно-синтетическое изображение" – здесь предстает особенно наглядно.

Любопытно отметить в этой связи также и то, что при работе над "романом" Бунин постепенно и настойчиво устранял все, что позволяло воспринимать тот или иной образ лишь как воспоминание, и переводил его в план памяти. Он тщательно исключает из текста (из первых вариантов) такие выражения: "Сужу я так, потому что хорошо помню как", "я, конечно, не мог тогда понимать всего, но я точно знаю, что", "из того, что составляло и образовывало дальнейшую юношескую жизнь – жизнь того времени, я, конечно, помню опять только кое-что, только то, что запомнила душа", "с великой грустью вспоминаю теперь этот бесконечно далекий осенний вечер", "где-то она теперь? До сих пор вижу ее все такой же, какой она была в тот вечер, полвека тому назад" и т. п.

Столь же последовательно он устраняет все пугающее в описаниях смерти, убирает такие, напри-

мер, фразы при описании отпевания покойника: "Всё это показалось мне теперь, в этот последний для покойника вечер столь зловещим, что у меня похолодели руки, ноги, что у меня земля поплыла под ногами и я уже глаз не мог поднять на то, что было впереди, на это страшное существо". Убирает такие эпитеты как "страшный", "зловещий" и т. п. – в отношении сопутствующих смерти деталей. Снимает и такое, например, замечание о болезни: "Болезнь есть на самом деле незавершенная смерть, безумное и никогда даром не проходящее путешествие в некие потусторонние пределы". И такие замечания о жизни: "Что вызвало на мои глаза эти горячие и возвышенные слезы? /.../ Может быть, больше всего некое скорбное прозрение, тайно в те минуты осенявшее меня: прозрение не только всей моей собственной будущей судьбы, но и всякой судьбы земной", или: "страшна, непостижима жизнь". Одним словом, удаляет всё то, что снижает тон повествования, уводит его от поэтической высоты и разомкнутой в бесконечность перспективы.

Ему хотелось, чтоб его книга стала хвалой миру и человеку, стремящемуся раскрыть в себе силы природы и слиться с замыслом Вселенной.

Память, как мы видели, у Бунина – категория духовная. Память всегда трансцендентна, ибо в ней проявляется наше надвременное естество. Как и у Пруста, именно в памяти прожитое обретает подлинную жизнь, наконец, открытую и названную. И эта подлинная жизнь бессмертна. В черновике романа читаем: "Жизнь, может быть, дается нам единственно для состязания со смертью, человек даже из-за гроба борется с нею: она отнимает у него имя, – он пишет его на кресте, на камне, она хочет тьмой покрыть его, пережитое им, а он пытается одушевить его в слове". Память есть такая же

характеристика человека, его духовного облика, как и его талант или его вкусы. "Ничто не определяет нас так, как род нашей памяти", — этой фразой в одном из ранних вариантов начинался роман.

...Однако наши частые ссылки на Пруста не должны вводить в заблуждение: очень многое отличает Бунина от Пруста. Пруст рационален, Бунин — чувственен. Пруст анализирует свои ощущения, Бунин нас заражает ими, дает их нам пережить непосредственно. Как и у Пруста, мы находим у Бунина преодоление материи и времени, интенциональная логика создает новые собственные отношения вещей и событий и переводит их в иной, более высокий телеологический порядок: как и у Пруста, у Бунина часто не сюжетно-временная последовательность служит основой этого порядка, а некая деталь, обретая сильную эмоциональную окраску, оказывается связующим звеном между вещами и событиями совершенно далекими и ничем, кроме авторского восприятия, не связанными. Оба, и Пруст, и Бунин, следуют — один сознательно, другой бессознательно, бергсоновской концепции "творческой эволюции", но у Бунина преобладает именно интуитивный элемент и элемент метафизической тайны, тогда как у Пруста интуитивное и подсознательное оказывается объектом сознательного исследования и — теоретизирования, уводящего в сторону от живой жизни. Но именно поэтому память Пруста обладает большим самосознанием. Пруст более тонок в различении разных видов памяти и сознает, что память может обманывать, тогда как Бунин целиком доверяется памяти как некоему удивительному и непостижимому чуду. Но поэтому же чтение Пруста часто становится тяжелым и утомительным, тогда как

Бунин своей "ворожкой" опьяняет, чтение тут действует почти как наркотик, затягивая нас в свои сладкие сети, гипнотизирует и очаровывает.

В русской литературе спутником Бунина в этих попытках победить время оказывается, как ни странно прозвучит здесь это имя, Велемир Хлебников. При всей несовместимости их эстетических программ и при всем различии их творческой продукции, они оба тем не менее руководствовались схожими идеями и устремлениями. "Король времени" (так называл себя Хлебников) тоже считал, что время надо покорять так же, как и пространство. Он тоже разрушал одностороннее движение времени и "плавал по эпохам", и для него именно сознание есть то, что соединяет время, и его "одновременная всевременность" — понятие чисто бунинское. (Любопытно также отметить, что у Бунина мы встречаем подобные хлебниковским "арха-неологизмы", например, в "Сказке про солдата" или в "Сказке о том, как Емеля на печи к царю ездил").

Весь этот необычный и новый характер бунинского "романа" в значительной степени связан с тем, что мы определили уже раньше как феноменологический принцип. Это качество мы отмечали в рассказах Бунина начала века, и затем оно всё более настойчиво и сознательно проступало во всех его дореволюционных произведениях. Сначала главным образом в описаниях, сопутствовавших состоянию или действию персонажа. Например, в эпизоде, когда Игнат перед убийством стоит под окном Любки, сказано: "И в мире настала такая тишина, что осталось в нем только биение сердца Игната". Или когда Игнат просыпается перед вечером в саду, где заснул пьяный: "Небо из-под горы казалось необъятно-огромным и новым". А о возвращении

Наташки в Суходол, в старую усадьбу, говорится: "Казалось, — все старое, что окружало ее, помолодело, как всегда бывает это в домах после покойника". Или, например, Авдей ("Забота") подойдя вечером к железной дороге видит, что: "Неприятно-рано, по осеннему, зажгли огонь в будке". Все эти замечания даются нейтрально: не сказано, что "Игнату казалось" или "Наташка чувствовала". Замечания эти можно понять как восприятие персонажа, но поскольку и лексический строй, и тонкость наблюдений не соответствуют характеру персонажей, а принадлежат субъекту гораздо более развитому и сознательному, то становится ясно, что это именно автор догадывается, что мог бы почувствовать и подумать персонаж, если бы обладал большей силой суждений и восприятия. Но ясно также, что это вовсе не авторская "субъективность" (в том отрицательном смысле, который придает этому слову "реализм"), а напротив, сама объективность универсального субъекта. И Бунин всё чаще начинает вводить подобные определения в авторскую речь, придавая им откровенно феноменологический характер. Например, рассказ "Будни" начинается так: "Казалось, что вечно будут стоять по горизонтам эти бледно-синеющие тучки, под которыми серели соломенные крыши, зеленели лозины и пестрели разноцветные клетки окрестных полей. Июльский день без солнца был особенно долгов" (курсив мой. — Ю. М.). Автор в рассказе не персонажируется, и начальное "казалось" так и остается откровенно безличным. И уже во второй фразе гипотетическое "казалось" сменяется утверждающим "был".

То же видим и в начале рассказа "Преступление", ведущегося в объективно-безличном пове-

ствовании: "Над горизонтом висит сумрачная полоса тумана, а под нею залегает синеватая полоса леса. Но *кажется* она далекой – как все зимой" (курсив мой. – Ю. М.).

Но особенно интересен в этом смысле рассказ "Господин из Сан-Франциско". Первая редакция рассказа изобилует такими выражениями как "казалось", "какой-то", "как бы", "точно" и т. п. В последующих редакциях (Берлинское собрание сочинений и сборник "Петлистые уши") все эти словечки и выражения устраняются Буниным, что свидетельствует о его возросшем художественном самосознании.

Еще более сознательное следование феноменологическому принципу мы находим в его творчестве эмигрантского периода. Смело и уверенно он пишет: "И мужики, рабочие в вагоне, женщина, которая ведет в отхожее место своего безобразного ребенка, тусклые свечи в дребезжащих фонарях, сумерки в весенних пустых полях – всё любовь, всё душа и всё мука и всё несказанная радость". Или: "Паровоз расходился всё шибче, всё беспощаднее, наглым, угрожающим ревом требуя путей /.../". Или вот описание зимнего раннего утра в "Иде": "Показалось из-за крыш ледяное красное солнце и с колокольни сорвался первый, самый как будто тяжкий и великолепный удар, потрясший всю морозную Москву /.../". И даже самый лаконичный пейзаж (летние сумерки) дается так: "Тепло, тихо, грустно ..." (курсив мой. – Ю. М.). Три определения: осязательное, слуховое, феноменологическое.

Неуверенное "казалось" сменяется уверенным "всегда": "За дверью было тихо и только чувствовалась та грусть, что *всегда бывает* в комнате спящего человека" (курсив мой. – Ю. М.). Все увереннее и смелее становится употребление фено-

менологических эпитетов: "ждушая тишина", "спокойное и кроткое солнце", "радостная зелень кустов", "пестрая, радостная сеть света и тени" (под деревьями), "сырой скрип", "просительное нытье комаров", "вершины Альп, серебряные, страшные" и "сонные огни", "тугой гром", "сад тих и счастлив" и т. д.

Но особо сложное и многообразное развитие феноменологический принцип получает в "Жизни Арсеньева", где восприятие жизни юношей и восприятие этого восприятия зрелым Арсеньевым, вспоминаям своим жизнь, становится основой произведения. То контрапунктическое столкновение двух восприятий, то расширение восприятия в восприятии и возведение его в иную степень: от мимолетного впечатления к универсальному и вечному чувству — находит здесь свое многогранное преломление в феноменологическом методе.

Этот метод позволил Бунину дать удивительные картины-апперцепции, где изображаемое и ощущение от изображаемого сливаются в одно целое. И эти картины-апперцепции придают его "роману" необыкновенный колорит и небывалое очарование. Можно было бы проследить всю их сложную гамму: от мимолетного, мельком брошенного феноменологического образа, дающегося, однако, с запоминающейся рельефностью, как, например, замечание о старых стенных часах, которые стучали "с такими оттяжками, точно само время было на исходе", до глубокого, вызываемого видом неба, солнца, пространства, общего чувства жизни — чувства, что "все в мире бесцельно". От своеобразнейшего, субъективнейшего, но в то же время понятного каждому сюрреалистического видения, как, например, уже цитировавшийся нами сон об одиночестве в мире, или поразительная картина-апперцепция, скачки

на санях по полю зимой, когда стремительная езда странным образом сочетается с неподвижностью и самого седока (Арсеньева), "застывшего в этой скачке", и всего вокруг, когда сам Арсеньев одновременно и участвует в этом бешеном движении и в то же время цепенеет в ожидании, глядя в какое-то воспоминание, когда грезы и явь так странно и так понятно переплетаются, — и до картины-ощущения столь общей, что она перерастает в устоявшийся универсальный мифологический образ (как, например, картина безобразных бредовых видений во время болезни, "как бы сосредоточивших в себе всю телесную грубость мира, которая, в распаде, в яростном борении с самой собой, гибнет среди чего-то горячего, пламенного, несомненно послужившего для человеческих представлений об адских муках").

От мимолетно брошенного, феноменологического эпитета, дающего тем не менее сразу иную окраску всему (как, например, при описании погребения Писарева, когда в свежую могилу сыпется "*перво-бытная* земля на фиолетовый бархат, на крест из белого позумента" (курсив мой. — Ю. М.); этим эпитетом тоскливая и удручающая обыденность выводится из мизерной повседневности на более великий и грозный простор) — и до поэтичнейшей и неповторимой в своей атмосфере ночной прогулки, когда во всем мире была такая тишина, что юноша Арсеньев просыпался, казалось, "от чрезмерности этой тишины" и "до недоумения, до муки дивился на красоту ночи".

Чарующая поэзия "романа" объясняется именно его феноменологической основой. Мельчайшие детали, мимолетные видения — всё озаряется редкой поэзией именно благодаря своеобразно и глубоко воспринимающему их субъекту. "Во всем непонят-

ная прелесть: и в этом. временном цепенении и молчании, и в паровозной сипящей выжидательности, и в том, что /.../ по домашнему ходит и поклевывает курица /.../, совсем не интересующаяся тем, куда и зачем едешь ты, со всеми своими мечтами и чувствами, вечная и высокая радость которых связывается с вещами *внешне* столь *ничтожными* и обывденными..." (курсив мой. – Ю. М.).

Загадочно прекрасные, преображенные предметы населяют эту книгу.

С феноменологической "объективной субъективностью" связано и то новое понимание психологии, о котором мы уже говорили. В первые годы эмиграции, как и перед революцией, в творчестве Бунина психология чаще всего дается только на уровне проявления, но постепенно он начинает прибегать к показу психологии изнутри, но это "внутри", как мы уже замечали, очень не похоже на традиционный психологизм. Неуловимость, иррациональность и многослойность внутреннего эмоционально-интеллектуального процесса находят свое выражение в туманных, не до конца расшифровываемых и не до конца понятных движениях души. "Он не думал о вопросе, – только чувствовал его", "думал, что попало, ждал", "думала свое, что попало /.../, думала то о муке какой-то, у кого-то когда-то занятой да так и не отданной, то о том, что вчера у соседки теленок сжевал весь подол рубахи /.../, то о своей близкой смерти. Эта мысль, столь поразившая ее вчера, и теперь еще была нова и страшна, но не пугала – перебивали ее другие мысли", "лезли в голову кощунственные мысли /.../, это было не умно, но он уже давно заметил, что есть в нем еще кто-то – глупей его" (курсив мой. – Ю. М.).

Такие констатации в послереволюционный пе-

риод всё чаще сменяются обобщениями, сводящими эти внутренние душевные процессы к единому неиндивидуализированному процессу универсального субъекта. "Он зашагал /.../, объятый тем блаженным страхом, с которым *всегда* предвкушаем мы счастье". "Именно трезвости-то и *не бывает* у человека в наиболее роковые минуты жизни. Человек в эти минуты спасительно тупеет". "Митя чувствовал и обостренную близость к Кате, — как *всегда* это *чувствуешь* в толпе к тому, кого любишь". "Он наконец /.../ тронулся и тотчас же почувствовал то особое, что *охватывает* при отъезде /.../" (курсив мой. — Ю. М.).

Универсальный психический процесс не только общ для всех, но одинаково непонятен каждому, ибо его основа лежит в глубокой и неведомой нам области некоего мирового духа. "Знает ли человек, чего он хочет? Уверен ли в том, что он думает?" И в "Жизни Арсеньева" Бунин цитирует слова Гете: "Я сам себя не знаю, и избави меня, Боже, знать себя!"

В рукописи рассказа "Schöne Aussicht" (позднее опубликованный под названием "Надписи") эта универсальность душевного процесса даже теоретизируется с гораздо большей определенностью, нежели в окончательном варианте. Совершенно отрицается особенность "исключительных личностей", нет принципиальной разницы между гением и любым маленьким человеком. "Все слезы одинаковы, все они капли одной и той же влаги! Да и не так уж отличен человек от человека, дорогая моя! /.../. А в иной час мне чёрт с ним, что он коммивояжер. Я даже рад, что он коммивояжер, раз этот иной час есть час самый что ни на есть настоящий, равняющий его с Вертером /.../. И посему да здравствуют во веки веков и Андромаха и Прасковья, и Вертер, и Фриц, и Гоголь /.../"

Эту же универсализацию мы находим и в "Жизни Арсеньева". Арсеньев то и дело свои ощущения сопровождает обобщающими замечаниями. "Известны те неопределенные, сладко волнующие чувства, что испытываешь вечером в незнакомом большом городе, в полном одиночестве". "Откуда-нибудь возвращаясь, *всегда думаешь*, что в твое отсутствие что-нибудь случилось, получено какое-нибудь особенное письмо, известие". "Я вышел с той особенной мужской бодростью, с которой *всегда* выходишь из парикмахерской" (курсив мой. — Ю. М.).

С этим пониманием психологии связан также взгляд на самого себя, как на нечто прерывистое; множественность "я" внутри нас, каждое из которых, тем не менее, может быть подлинным. Уже сам процесс записи своих воспоминаний вызывает дробление нашего "я". Как замечал Барт, тот, кто говорит в рассказе, совсем не тот, кто пишет этот рассказ в жизни, а кто пишет — не тот, кто есть на самом деле. Но Барт видел в этом лишь фикцию формы. Сам бег времени постоянно вызывает дробление нашего "я". Определенные состояния, миновав, отделяются от нас как некие самостоятельные единицы. "Я видел, чувствовал там даже свое собственное отсутствие, видел свою опустевшую комнату, как бы хранивную в своем почти набожном молчании нечто уже навеки завершенное — меня прежнего". Или: "Какие далекие дни! Я теперь уже с усилием чувствую их своими собственными при всей той близости их мне, с которой я всё думаю о них за этими записями и все зачем-то пытаюсь воскресить чей-то далекий юный образ. *Чей это образ?* Он как бы некое подобие моего *вымышленного* младшего брата, уже давно исчезнувшего из мира вместе со всем своим бесконечно далеким временем" (курсив мой. — Ю. М.).

Таким образом попытка преодолеть время и сблизить дистанции еще больше усиливает ощущение призрачности жизни, "сна жизни", в котором собственное прошлое путается с вымыслом, свое собственное "я" воспринимается как чужое, а чужие жизни (см., например, удивительный эпизод с разглядыванием чужих старых фотографий или эпизод путешествия Арсеньева "в молодость отца", в Крым) переживаются как своя собственная. И в этой диалектике дробление нашего "я" неожиданно порождает универсализацию нашего сознания и само одновременно порождается ею.

Бывшее и воображенное, сознательное и подсознательное, память и прапамять ("Разве могли бы мы любить мир так, как любим его, если бы он уж совсем был нов для нас", разнородные мысли, представления, чувства, ощущения – всё сливается в удивительном всеединстве, в том огромном, непонятном и таинственном, но ошеломительно прекрасном, что есть жизнь. Жизнь – неформулируемая, эзотерическая по сути, и в то же время такая нам близкая и всё же неисчерпаемая, а главное, постоянно томящая нас загадкой некоего скрытого от нас, но постоянно ощущаемого нами смысла. "В те дни я часто как бы останавливался и с резким удивлением молодости спрашивал себя: всё-таки что же такое моя жизнь в этом непонятном, вечном и огромном мире, окружающем меня, в беспредельности прошлого и будущего /.../. И видел, что жизнь (моя и всякая) есть смена дней и ночей /.../, удовольствий и неприятностей, иногда называемых событиями /.../, есть непрерывное, ни на единый миг нас не оставляющее течение несвязных чувств и мыслей, беспорядочных воспоминаний о прошлом и смутных гаданий о будущем; а еще – нечто такое, в чем как будто и заключается некая суть ее,

некий смысл и цель, что-то главное, чего уже никак нельзя уловить и выразить /.../" (курсив мой. — Ю. М.).

Все это — не философия жизни и, конечно же, не исследование человеческого восприятия (любопытно, что Бунин в ходе работы над "романом" тщательно устранял все философские и научные термины, которыми в первых набросках "роман" изобилдовал), а нечто гораздо более сложное, что можно было бы очень приблизительно определить (за неимением терминов) как — глубинная интуиция жизни. Благодаря этому "Жизнь Арсеньева" — уникальное произведение в русской литературе, развивавшейся до Бунина, в основном, в русле толстовско-достоевского рационализма и психологизма. Бунин же, с его мощным подсознанием, тончайшей чувственностью и почти ясновидческой интуицией, какой бывают одарены скорее религиозные мистики, чем художники, сумел передать как раз то, что, по его словам, "никак нельзя уловить и выразить".

Невозможно выразить философские и эстетические взгляды Бунина (заключенные в этом "романе", как впрочем, и в других его произведениях) в рациональных категориях. Едва мы пытаемся сделать это (или пытается он сам в своих рассуждениях), как сразу всё опускается на порядок ниже и теряет ту иррациональную и невыразимую логически глубину, которая составляет магическую тайну этой книги.

Будворд в своей книге о Бунине, замечая, что роман "Жизнь Арсеньева" имеет по сути музыкальную структуру, строящуюся на вариациях шести музыкальных тем (природа, любовь, смерть, искусство, душа России и биологическая наследственность), приходит к выводу, что результат

неудовлетворителен, потому что этой музыкальности все-таки недостаточно, чтобы держать интерес читателя (какого читателя? – вот вопрос) и придать книге нужный динамизм. Но ловко построенная конструкция вовсе не есть необходимое качество великого произведения (ею как раз довольны часто обладают книги весьма посредственные). Такой недостаток (если только это признать недостатком) компенсируется у Бунина иными качествами, структурным анализом не уловимыми. Это благородство тона, сила чувства, тонкость наблюдения, богатство и выразительность словесной ткани, суггестивность слова, гипнотизм атмосферы, напряжение, возникающее не столько благодаря сюжетному динамизму, сколько – характеру речи и постоянному ощущению тайны, непрерывность развития, порождаемая не логикой мысли, а логикой поэзии, глубокая интуиция жизни и особая, излучаемая книгой аура, дающая ощущение бесконечной полноты и поэзии, понимаемой, разумеется, не как стиль или жанр, а как – мироощущение.

Галина ПЕТРОВА

Чабаталы дворяннар

Два года назад в столице Башкортостана городе Уфе был учрежден Меджлис татарских мурз (Татарское дворянское собрание), принявший свою Концепцию и определивший, что "членом Меджлиса может быть гражданин, носящий согласно паспорту фамилию татарского дворянского рода, конфирмованного Департаментом герольдии Российской Империи на основании Высочайших указов в XVIII-XIX веках. Основанием при этом являются документы, хранящиеся в Государственном архиве России, подтверждающие благородное происхождение от мурзинского рода". В свое время Департамент герольдии Сената дал следующее определение: "Слово «мурза» есть собственно татарское, оно есть отличительный титул против дворян, коих по-татарски называют "агалары" и "тарханы", и имеет такое же различие между татарами, как в России графы, князья и бароны".

В условиях Золотой Орды мурзы после беков (князей) были высшим титулом дворянского сословия, однако грань между ними и князьями не всегда была четко разграничена, и неслучайно поэтому многие русские дворянские роды, например, Урусовы и Юсуповы, ведут свое начало на самом деле не от князей, а от мурз. Как бы то ни было, и мурзы, и князья Высочайшим указом Ека-

терины II от 22 февраля 1784 года были записаны в герольдии особым списком. На основании этого и других Указов татарские дворяне были удостоены высочайшей милости стать действительными членами российского дворянства.

Меджлис татарских мурз ныне насчитывает 250 членов, являющихся представителями восьми природных татарских фамилий: Еникеевых, Чанышевых, Бигловых, Кудашевых, Акчуриных, Мамлеевых, Терегуловых и Сакаевых. Герольдмейстеру Меджлиса предстоит подтвердить принадлежность к мурзинскому сословию еще несколько десятков граждан, подавших прошение.

Отношение в Уфе к Меджлису среди русского, татарского и особенно башкирского населения, которое до революции было в Уфе представлено лишь дворниками и конюхами, очень неоднозначно, и многие рассматривают сословное движение, вообще, и Меджлис, в частности, как игру, не заслуживающую внимания.

Казалось бы, сейчас, когда в России с ростом национального самосознания набирает силу и земское, и сословное движение, а люди не желают больше быть "иванами, не помнящими родства", какими их делали 75 лет, можно только приветствовать создание институтов, подобных дворянскому собранию.

Однако, учрежденный Меджлис татарских мурз имеет очень интересную особенность: его члены, потомственные дворяне, были по сути обычными крестьянами разного достатка и проживали в деревнях Уфимской, Пензенской, Саратовской и Тамбовской губерний. Чтобы понять этот феномен, необходимо сделать экскурс в историю и проследить судьбу двух родов Еникеевых, княжеского и мурзинского, носящих одну фамилию, но в родстве не состоящих.

Род Еникеевых идет из глубины веков. В 1298 году татарский бек Саид-Ахмед, посланный Золотой Ордой собирать ясак (дань) в среднем течении реки Мокша, в районе нынешних городов Темникова и Краснослободска (Мордовия), утвердился на обширной территории и дал начало многочисленным княжеским родам, в том числе Кугушевым и Тенишевым, от которых в свою очередь произошел род Еникеевых. Княжили они на территории образовавшегося Темниковского княжества, перешедшего в 1392 году под русскую юрисдикцию, а позже вошедшего в состав Московского государства. Задача темниковских татар во главе с князьями Еникеевыми и в XIV веке, и позже заключалась в защите земледельческого населения от степных набегов.

В сентябре 1557 года Государь Иван Грозный назначает князя Еникея Тенишева темниковским воеводой, пожаловав ему новые обширные владения на землях Темниковского княжества, которое к этому времени занимало территорию не только современной Мордовии, но и обжитые части Тамбовской и Пензенской областей. Как и во времена Золотой Орды, татарские князья были облечены неограниченной властью и собирали дань с мордовского населения своего Темниковского княжества.

После воцарения на престол Романовых князья Еникеевы продолжали нести воинскую службу, причем темниковцы включались в состав русских войск - для защиты западных границ государства.

В конце XVI - начале XVII веков в Темниковском уезде появляется второй род Еникеевых, родоначальником которого был Еникей сын Кульдяша, из ногайских татар. У этого мурзы Еникея было пять сыновей, которые, как и он сам, служили верой и правдой городу Темникову, защищая его от

набегов со стороны Дешт-Кипчака (Дикого Поля), а также выставляли свои отряды для отражения атак кочевников на Дону. Все они, как отец, так и сыновья, награждались за верную службу поместьями и русскими крепостными крестьянами. В частности, по представлению воеводы, в 1594 году царь Федор Иоанович мурзе Идею Еникееву пожаловал деревню Аксел с 150 крепостными душами. В смутные времена некоторые из Еникеевых, как княжеского, так и мурзинского родов, перешли на сторону Лже-Дмитрия, были щедро им одарены землями, но после его поражения земли были отняты, а повинные в измене наказаны. Их дворянское звание впредь никогда подтверждено не было.

Начиная с 1627 года для всех татарских князей и мурз наступили суровые времена: их заставили принять православную веру, а у тех, кто отказывался креститься, отнимали земли и поместья. Не избежали этой участи и стойкие Еникеевы из княжеского рода и, чуть менее знатного, мурзинского. В 1713 году по Указу Петра I их переписывают из дворянского звания в сословие казенных крестьян и приписывают к рубке и доставке корабельного леса для российского флота.

В 1767 году Екатерина II собирает Комиссию по составлению новых законов, и депутатом от татарских дворян, как переселившихся в поисках новых земель в Пензенский уезд и Саратовскую губернию из Темниковского уезда, так и оставшихся в Темникове, избирается Аюп мурза сын Еникеев. Он выступил на этой Комиссии за восстановление в дворянском звании всех своих земляков, кто несправедливо был лишен его за отказ предать веру предков, и напомнил о ратных подвигах темниковцев, охранявших границы Российского государства.

А между тем, у темниковских татар, которые

еще не мигрировали в соседние уезды, земли становилось всё меньше, потому что семьи были большие (не меньше 7-8 детей), наделы постоянно делились между сыновьями после смерти отцов и практически уже не могли прокормить возросшее население.

В 1773 году два рода мурз, состоящих в родстве, Еникеевы и Терегуловы, через уфимского сотника Амирхана Халилова приобретают 14500 десятин земли в Уфимской губернии, в пойме реки Каргалы, и переезжают туда. Строят деревню с одноименным названием и занимаются земледелием. Характерно, что строили и обживали деревню Каргалы 20 семей, причем земля покупалась вскладчину: богатые вносили больше, бедные меньше, но делилась земля не по сумме пая, а по числу душ в семье.

Часть рода мурз Еникеевых оставалась и жила до Октябрьского переворота 1917 в деревне Идеево Тамбовской, Бегеево Пензенской и деревне Елан-Калады Саратовской губерний. Как и каргалинцы, они, в основном, занимались земледелием, ничем не отличаясь от других крестьян России. Екатерина II, восстановив в дворянстве потомков темниковских татар-дворян, не вернула им когда-то отнятые у них земли, поэтому процесс миграции продолжался.

Если мурзы Еникеевы в Уфимской губернии поселились только в Каргалах, то потомки княжеского рода Еникеевых обосновались в двух больших деревнях Ново-Баширове и Гумерово, тоже купив земли у башкир. Большинство их родственников переселилось в Тамбовскую губернию, в деревни Енгуразово, Чёрный и Неглинки...

Нынешний предводитель татарского дворянского собрания – Меджлиса Татарских мурз, Саид мурза Ханафиев сын князь Еникеев родился 20 сентября 1919 года в Кисловодске, где жили его родители после 1917 года. Отец его, как и дед, и прадед, и прапрадеды, занимался торговлей, то есть в отличие от тех Еникеевых, что переселились на плодородные башкирские земли, эти были купцами. Они составляли обозы и везли в Саратовскую губернию бочки, дуги, коромысла, деревянные ложки и другие предметы народных промыслов лесного края, а там, в Саратове или Камышине, сдавали оптом знакомым купцам. Обрато обозы шли, нагруженные пшеницей, овсом и сахаром, в Темников.

Родители Саида, когда он и сестренка подросли, переезжают в Уфу, и дальше биография князя Еникеева ничем не отличается от биографии многих его сверстников самого низкого сословия. Заканчивает семь классов Уфимской школы, затем строительный техникум. В 1939 году его призывают в Красную Армию и везут на Халкин-Гол, но эшелон прибыл туда уже после сражения. Там Саид прослужил до 1941 года, но за несколько дней до его демобилизации началась война с гитлеровской Германией. Саида направляют в Сретенское училище и после окончания его присваивают звание лейтенанта. Ждет отправки на фронт, но его направляют в Читинское военное училище командиром взвода, где он и пробыл до окончания войны.

После демобилизации в 1945 году он поступает в Ленинградский заочный институт строительных материалов и работает в Башмелиоводстрое в Уфе. Полюбил девушку-москвичку и уехал, как тогда

казалось, навсегда, в Москву. Женился, растили с женой дочь Румию, однако жизнь не сложилась, и через восемь лет возвратился в Уфу. Вторая жена тоже, как и его родители, из княжеского рода, с ней прожил счастливо долгую жизнь, родив и вырастив троих детей.

Пожалуй, всю жизнь, чем бы ни занимался Саид Еникеев, он всегда помнил рассказы родителей "по секрету, чтобы никто не знал" о том, что его далекие предки придавали блеск не только Золотой Орде, но и Московскому государству в ратных битвах с его врагами в бескрайних Кыпчакских степях. С детства читал он историческую литературу, а будучи взрослым пытался узнать побольше о своих предках из серьезной литературы: Карамзина, Ключевского и Сборников Академии наук, где нет-нет, да и мелькали нигде ранее не опубликованные данные, способные пролить свет на очень многое.

Работа шла уже не бессистемно, было собрано очень много материалов, но настоящим праздником души явилась работа в Ленинградском Государственном архиве в 1979 году, куда он проник, обманом получив фальшивое направление, и где провел отпуск. Вернувшись домой, занялся систематизированием документов – по вечерам и ночью, ибо днем работал в строительной организации. Работа шла медленно, приходилось выверять и сопоставлять массу противоречивых сведений. И всё-таки упорядочил и подготовил к изданию рукопись. Правда, журналист, вызвавшийся помочь в публикации, оказался на поверку аферистом, и книга в свет не вышла. Но что ни делается, всё к лучшему, и автор дополнил свой труд. Изменились времена, открылся доступ к многим ранее "закрытым" материалам.

Сейчас Саид мурза, многие годы возглавлявший Татарский культурный центр в Уфе, является предводителем уфимских дворян-татар, располагает подробнейшими сведениями о восьми татарских дворянских родах, причем с удовольствием ими делится как с историками, так и со всеми, кому небезразлична история его рода.

* * *

...Переселившиеся на земли Уфимской губернии мурзы и князья Еникеевы дождались восстановления в дворянстве только в 1796 году, хотя другие татарские дворянские фамилии были восстановлены еще в 1784 году.

Это событие не изменило их крестьянский уклад жизни, на благосостоянии тоже не отразилось, но зато послужило причиной многих недоразумений, а главное – дало право шутить над ними и называть "чабаталы дворяннар", то есть лапотные дворяне. Самыми типичными из этих лапотных дворян были жители деревни Каргалы. С того далекого 1773 года прошло много лет, деревня разрослась, рядом строились "спутники", малые Каргалы, где селились подросшие дети, а затем и внуки первых переселенцев.

В начале XX века Каргалы была процветающей деревней из 500 дворов, с несколькими мечетями, медресе и школами, татарскими и русско-татарскими, больницей и почтой. Крестьяне, за малым исключением, были если не богаты, то зажиточны. Интересно каргалинское понятие достатка: богатый имел стадо коров, лошадей и более 25 десятин земли. Бедняк – тот крестьянин, кто имел 1-2 лошади и столько же коров, а земли 5-6 десятин.

”Летописцы” Каргалова говорят, что бедных перед революцией было совсем мало (единицы), одна треть населения была богата и две трети ”середняки, имевшие по 10-15 десятин земли, 3-5 лошадей, столько же коров и 15-20 овец. Козы, утки, гуси и куры были у каждого и показателем достатка или бедности не являлись.

Каргалинцы были народом веселым, острым на язык и отличались способностью давать прозвища, которые, как печать на родословной, сопровождали людей до самой смерти. Как во всех мусульманских семьях, детей было много, семьи были дружными, в меру набожными, но что соблюдалось неукоснительно, так это приказы старших.

Учили каргалинцы своих детей в школах, медресе или училище, которое было открыто в 90-х годах XIX века и называлось несколько странно: Высшее начальное училище (нечто вроде финансового среднего заведения). Взрослых детей отправляли учиться в Уфу, Казань, Москву и даже в Петербург. К своему дворянскому происхождению каргалинцы относились как к историческому недоразумению, немного обижались на Государыню Екатерину II, которая, вернув звание, не вернула самое главное – землю, и совсем не обижались на пресловутое ”Дворяннар чабаталы”.

Нередко выходцы из Каргалов занимали высокое общественное положение, в Уфе служили в государственных учреждениях, в частности в Губернском правлении, и состояли членами различных благотворительных обществ и попечительских советов, а каргалинец Гайса Еникеев был даже членом Государственной Думы.

Уфа, губернский город, перед революцией насчитывал более ста тысяч человек, причем 70 процентов было русских, 25% – татар, а башкиры, хотя

и являлись самым многочисленным народом на территории Уфимской губернии, жили, в основном, в степях и отдаленных деревнях, а не в Уфе, где их было очень мало: конюхи, дворники и грузчики на рынках и пристанях.

Интересно отметить, что какими бы "лапотными" ни были татарские дворяне, всё-таки среди них было немало людей образованных, и проживали они в особняках, традиционно строившихся на улице Пушкинской, в одном из самых красивых районов Уфы; в правах ущемлены не были; и так продолжалось до 1917 года.

А после кровавого Октября потомки татарских дворян, князей и мурз, наводивших когда-то ужас на врагов, а позднее мирно возделывавших землю или торговавших, разделили судьбу всех остальных россиян, о чем красноречиво свидетельствует история семьи одного из каргалинцев, мурзы Мухаряма Еникеева.



Мухарям Еникеев, родившийся в Каргалах в 1870 году, был третьим ребенком в семье мурзы Нурмухамеда. С детства отличался прекрасной памятью, запоминал и легко заучивал наизусть десятки сур из Корана, быстро производил в уме любые арифметические действия. И учителя, и мулла советовали родителям способного мальчика обязательно отдать его в Уфимскую гимназию. Мухарям заканчивает каргалинской училище и продолжает учение в Уфе. Семнадцатилетним парнем приходит на работу в Уфимское отделение Государственного банка России. В 1891 году женится на красавице Салихе, тоже из рода Еникеевых, родители которой давно уже жили в Уфе.

Молодая семья покупает сначала скромный маленький дом, а позже – большой особняк с флигелем, каретником и другими хозяйственными постройками. Рождаются дети, три сына и две дочери, в доме – достаток, есть няня, прислуга и кухарка. Начальство ценит Мухаряма за абсолютную честность, высокий профессионализм и, дав ему должность инспектора мелкого кредита, поручает создание кредитных обществ среди крестьян Уфимской губернии. Все дети школьного возраста учатся в гимназии, и кажется, ничто не сможет нарушить мир и покой этой семьи.

Но в 1914 году умирает от скоротечной чахотки Салиха, оставив Мухаряму пятерых детей. Старшему, Хасану – 16, младшему, Хамиду – четыре. Мухарям Еникеев, которому по Корану не возбранялось иметь, кроме Салихи, еще трех жен, больше не женился, несмотря на настойчивые предложения искусных уфимских свах и советы родственников и друзей.

Жизнь вошла в привычное русло, но в 1916 году в армию добровольцем записывается старший сын Хасан, и отцу становится помощницей и наставницей младших пятнадцатилетняя дочь Суфия, с первого класса гимназии мечтавшая уехать в Петербург на Бестужевские курсы, а потом вернуться в свою гимназию учительницей французского языка.

Война где-то далеко, Уфа не очень чувствует ее масштаба, в театрах дают представления, которые днем посещает с подругами Суфия, а вместе с отцом бывает на вечерних литературных концертах. Любимые поэты Северянин и Надсон, их стихи переписываются в гимназические альбомы. Всё хорошо...

В Уфе большевики пришли к власти 8 ноября

1917 года (по ст. ст.), а с июня 1918-го установилась Уфимская Директория, и всем казалось, что большевики никогда не вернутся. Но в июне 1919-го Верховный Правитель адм. Колчак уходит с войсками из Уфы, и командование, эвакуируя золото и ценности банка, предлагает уходить и банковским служащим. Мухарям давно уже сделал для себя выбор, как сделал его и сын Хасан, офицер Белой аармии. Дом был оставлен "на всякий случай" дворнику, деньги и фамильные драгоценности упакованы, и вся семья – отец и пятеро детей – едут на восток.

А дальше всё, как в страшном сне и что давно уже знает весь мир: поезд под Иркутском был захвачен, золото изъято. Правитель арестован, а пассажиры, включая банковских служащих, с детьми попросту брошены замерзать в вагонах без паровоза. Отец и старшие дети принимают решение нанять лошадей и по зимнику добираться до Оклёминска, где живут дальние родственники, чтобы потом, весной, продолжить путь в Харбин.

Добрались, но началась эпидемия сыпного тифа, которым заболели и долго метались в беспмятстве все дети. Отец выходил всех, но сам умер и был похоронен там, в далеком Оклёминске, и там же была похоронена его мечта увезти детей из большевистского ада. Дети, продав всё, что у них осталось, возвратились в Уфу, к порогу родного дома, совершенно нищими. Дом, как оказалось, уже тоже был занят новыми хозяевами, где детям Мухаряма не нашлось места...

* * *

Сара рассказывала уже на закате жизни, когда поверила в то, что перестройка – это серьезно, хотя

бы в той степени, что ГУЛаг не повторится, о том, что, когда остановили поезд и начали открывать все купе подряд, то сначала никто не испугался, потому что проверок от Уфы до Нижне-Ундинска было несколько десятков, чуть не на каждой станции. Но эту проводили не русские, а чехи, которых вначале приняли за немцев. По-русски они не говорили, но зато хорошо — по-немецки, поэтому сестра с отцом объяснили им, что мобилизованы правительством Уфимской директории и сопровождают ценности Российской империи. Чехи вежливо попрощались и больше не приходили. Поезд стоял две недели на запасном пути без паровоза, людьми (это были служащие банка и их семьи) больше никто не интересовался. Приезжали на подводах местные жители с раскосыми лицами. Кто-то сказал, что это нанайцы. Были они не разговорчивы и просили соль, за которую предлагали мех и патроны. Патроны никому нужны не были, но мех тоже почти никто не покупал: денег за него нанайцы брать не хотели брать, а соли не было.

Через две или три недели есть стало практически нечего, потому что жители окрестных, да и дальних русских деревень давно уже не приносили продуктов, убедившись, что больше никаких ценных вещей у людей в поезде нет. К тому времени стали распространяться слухи, что поезд, точнее паровоз и несколько вагонов, угнали большевики, отбив его у чехов, и что адмирал Колчак в тюрьме. Но точно никто ничего не знал. А в вагоне вспыхнул сыпной тиф.

И вот тогда-то, чтобы спасти детей, Мухарям вместе с каким-то уфимцем, тоже банковским служащим, ехавшим с двумя дочерьми, решил покинуть поезд. Кстати, почему-то у этих брошенных вагонов оставалась и охрана: человек 10–15 чехов.

Приехало четыре телеги, Еникеевы погрузили вещи на одну из них, на второй уместились сами. Две подводы выделили другой уфимской семье. Ехали очень долго по замерзшей реке, ночевали иногда в русских избах, отдавая за ночлег золото и столовое серебро. Денег здесь тоже не брали (бумажных), а монеты уже давно кончились.

Перед самым Оклёминском Сара заболела, а когда очнулась, старшая сестра сказала ей, что отца больше нет. Но как умирал отец и кто его хоронил, не видел никто из детей: он заболел последним, умер, когда все они находились в беспамятстве.

Суфия рассказывала Саре, что спас их практически фельдшер-чех, который, оказывается, тайно бросил поезд и пробирался вслед за ними, точнее за Суфией, с которой у них оказалась общей любовь к театру, мечта побывать в Италии и бесконечное восхищение поэзией Гёте. А в детстве, как оказалось, оба зачитывались "Синей птицей" Метерлинка и терпеть не могли сказки Гоффмана.

Этот фельдшер-чех и выходил Суфию, Сару и всех трех братьев, но в какой-то день его нашли убитым в Оклеминске, когда он возвращался с базара, где менял вещи на хлеб. Сара не помнила его имени, а Суфия вообще никому и ничего не говорила.

По одной из версий, отец не умер от тифа, а был убит при попытке выйти на связь с каким-то офицером, который якобы воевал в армии Каппеля и с которым Мухарям познакомился в Екатеринбурге во время одной из стоянок поезда.

Кто, конечно же, знал истинное положение вещей, во всяком случае подробности "путешествия" из Нижне-Ундинска в Оклёминск до того, как его свалил тиф, был старший из детей Мухаряма — Хасан, и говорят, он при жизни бросал загадочную

фразу: всё узнаете лет через пятьдесят, потому что я всё написал. Но где, кому и о чем написал, никто не знает, а скорее всего – не узнает вообще.

Может быть, кто-то уже не из самих участников тех событий, а из их детей и внуков, кому удалось уйти через Манчжурию или Берингов пролив в Америку, прочитав эти заметки, сможет что-то добавить, кто знает? Ведь шепотом долго рассказывали люди в Уфе друг другу, что многие из уфимцев, в частности, кто-то из Еникеевых, вырвался тогда из России, кто-то кому-то рассказывал, что писала из Харбина письма в Уфу какая-то Хадыча, утверждавшая, что много Еникеевых уехали в Париж, Сидней и Нью-Йорк.

Так ли это, сказать трудно, может быть, прольют свет архивные данные, которые сейчас усиленно изучаются...

* * *

По возвращении к разрушенному очагу пути детей расходятся, и у каждого начинается своя и очень нелегкая жизнь. Хасан, надеясь, что новая власть до него не доберется и не узнаёт о его пребывании в Белой армии, уезжает в Баймак, маленький городок Уфимской губернии*.

Хамзя, которому было уже 16, увозит десятилетнего Хамида в Ташкент, а Суфия с сестренкой

* Ставшей с 30 марта 1919 года Башкирской Советской Социалистической республикой. Декрет об образовании ее подписал лично Ленин – за особые революционные заслуги башкир, участвовавших не только в боях с войсками Колчака и Каппеля, но и по первому зову собиравших отряды для подавления Кронштадского мятежа и борьбы с армией Юденича.

Сарой, которой 14, уезжает на родину отца, в Каргалы, где работает учительницей. Вчерашняя гимназистка Сара учится в той же, что и отец, каргалинской, но уже советской, школе, чтобы получить документ об образовании, и с ужасом наблюдает, как внедряется новый – бригадный – метод обучения: отвечает урок самый сильный ученик, а отметки ставят всем остальным, причем точно такие же, на какую ответил он. По счастью, отвечала чаще всего она, поэтому не отупела, не забыла, что знала, а ленивые деревенские подружки делились с ней вкусной домашней едой.

Каргалы нищали на глазах, хотя самое страшное – коллективизация – еще было впереди, как и голод 1932 года.

В 1922 году в Каргалы в служебную командировку приезжает редактор одного из башкирских журналов Ясави Гумеров, герой гражданской войны, воевавший в армии "самого" Якира, обаятельный и вполне интеллигентный башкир, что было чрезвычайной редкостью для народа, до 1920 года не имевшего своей письменности. Он и старшая сестра полюбили друг друга, и через некоторое время Суфия переезжает в Уфу, став женой Ясави. Сара тем временем поступает в Уфимский землеустроительный техникум, где легко и охотно учится, а живет в семье сестры.

К 1933 году Суфия, став доброй матерью, а не мачехой сыну Ясави от первого брака Исмаю и заменив ему рано умершую мать, рождает с перерывом в три года двух дочек Зульфию и Танслу, ласковых, веселых девчушек, обладавших абсолютным слухом, и, подростя, часто исполнявших дуэт Лизы и Полины из "Пиковой дамы" под аккомпанемент матери. С 1930 года Суфия работала заведующей детского сада, окончив заочно Ленин-

градский педагогический институт. Мечта почти сбылась, и казалось, что всё самое страшное позади, тем более, что закончил сельскохозяйственный техникум и уже работает Хамид, Хамзя давно живет и работает в Москве после окончания Московского станкостроительного института, женился, растит сына. У Сары тоже всё неплохо: после окончания техникума начала работать, собирается замуж. Хасан обосновавшийся в Баймаке, работает, руководство Рудоуправления его ценит, о его прошлом вроде бы забыли. Он собирается приехать в Уфу, познакомиться с женихом Сары, Суфия уже с ним познакомилась и выбор сестренки одобрила. Ибатулла понравился...

Ибатулла Еникеев родился в Каргалах в семье зажиточного крестьянина Рахметзяна в 1908 году и в отличие от своей невесты Сары детство провел там же, лишь иногда приезжая с отцом в Уфу на ярмарку. Соответственно, не был особенно избалован, да и рос не с няней, а, как все деревенские ребята, под присмотром бабушки. Октябрь 1917 встретил десятилетним мальчишкой и, не разбираясь в политических событиях, прекрасно начал разбираться в ситуации: деревня столько раз переходила из рук в руки то красных, то белых, то зеленых, что крестьяне научились прятаться ото всех и никому не попадаться на глаза. Мать, как и соседи, сначала шла на повсеместно принятую хитрость: при белых вешала маленький портрет царя Николая II, а при красных - Ленина. Однажды с перепугу всё перепутала, чуть не поплатилась жизнью, а потом решила вообще ничего не вешать.

Настоящее горе Ибатулла узнал в 1919 году, когда в одночасье умер никогда не болевший отец и мать осталась с четырьмя детьми на руках, причем старшему, ставшему кормильцем семьи, Нигматул-

ле, было 16, а младшей, Марьям, всего пять лет. Помнил Ибатулла и страшный голод 21-го года, когда деревню наполнял голодный плач детей деревни, непрекращавшийся, похожий на звериный вой, когда ели траву, желуди, кору деревьев, и взрослые тихо проклинали новых хозяев жизни.

Ибатулла Еникеев, пожалуй, является типичным представителем нового общества эпохи большевизма, по крайней мере, той его части, кто искренне верили в светлое будущее – коммунизм. Закончил Каргалинскую школу, поступил в Казанский сельскохозяйственный институт и после его окончания был направлен в Уфимский научно-исследовательский институт сельского хозяйства. Был пионером, активным комсомольцем, в партию тоже вступил по убеждению. И вот сейчас, сделав предложение Саре, доказывает ей, что рано или поздно мировая революция обязательно произойдет, а советский народ построит не только социализм, но и коммунизм. Его, парторга НИИ, поддерживает в беседах и муж Суфии.

...Ибатулла и Сара поженились в 1933, а через год в июне родился первенец Чингис, украшение жизни молодой, дружной семьи. Тот, 1943-й, год был последним спокойным годом в жизни детей и внуков мурзы Мухаряма Еникеева.

В первых числах января 1935 года в Уфу в командировку приехал Хасан, пошел в учреждение, которое его вызвало и бесследно исчез. После нескольких недель поисков родственникам удалось узнать, что он арестован и идет следствие. Инкриминировали ему не "белое" прошлое, а дружбу с одним ленинградцем-сослуживцем, который, как и все высланные из Ленинграда после убийства Кирова, был под подозрением. В ГУЛаге Хасан провел три года, в начале войны был отправлен на фронт и

даже вернулся живым, лишь легкораненым. Первый его сын, Искандер, призванный вместе с отцом, погиб под Сталинградом в 1942, а второй, младший, теперь уже пенсионер, и сейчас живет в Уфе. Сам Хасан дожил до глубокой старости, работал в Уфимском отделении госарбитража, жил тихо, замкнуто и никогда, даже после XX съезда не говорил о политике не только с немногочисленными друзьями, но и с близкими родственниками.

...В том же 1935 году начались неприятности и в семье Сары: Ибатуллу, секретаря партийной организации НИИ, обвинили в потере бдительности и исключили из партии, А исключенному из партии, по сути получившему "волчий билет", были закрыты двери всех учреждений. Хотя Ибатулла был наивным фанатиком, но в первую очередь он был порядочным человеком, не способным к доносительству и клевете, а именно этого ждал и требовал НКВД от верных коммунистов, тем более их вожаков.. А Ибатулла не только ничего не сообщал о "подрывной деятельности вчерашних троцкистов и бухаринцев", специалистов-генетиков и ботаников, высланных в Уфу из Ленинграда, но еще и доказывал, что они очень опытные ученые и могут многому научить молодых неопытных сотрудников, преимущественно "выдвиженцев" с революционным прошлым. Его никто не слушал и на работу не брал. Помог бывший сокурсник, директор школы в башкирском городишке Благовещенске: взял на работу преподавателем, но НКВД был бдителен – Ибатуллу уволили и оттуда. До 1939 года он упорно доказывал свою невиновность и добился восстановления в партии, которой так верил, писал письма Сталину, которого так любил!

Перед самой войной Ибатуллу восстановили в партии, дали работу, он написал диссертацию, а

потом наступил 1941 год. Воевал с первых месяцев войны на Белорусском фронте, войну закончил в Эстонии, но еще год был в резерве и лишь в 1946 году вернулся домой в чине капитана и с боевыми наградами. О войне рассказывает редко, скупно, как все, кто действительно воевал и видел весь ужас войны, а не сидел в штабе, и всегда говорит, что женщинам в тылу было гораздо тяжелее, чем солдатам на фронте.

Так оно и было, во всяком случае, очень плохо было семье Ибатуллы, оставшейся в далеком Стерлитамаке, где он работал до войны. Сара работала на военном заводе, выпускавшем снаряды для "катюш". Уезжала на завод на рассвете, на специальном рабочем поезде, возвращалась к ночи. Выходных практически не было, а дома был восьмилетний Чингис, совершенно один, сам варивший суп из мороженой картошки и мечтавший о том, чтобы поскорее вернулся отец, чтобы кончилась война и чтобы съесть всем – "маме, папе и мне по кастрюле картошки". Чтобы приблизить этот момент, в ту первую военную зиму он писал печатными буквами "Папа, бей фашистов", а через год, когда ему исполнилось девять, попытался убежать к отцу на фронт. Компанию из трех человек, старшему из которых было одиннадцать лет, милиционеры нашли в Пензе и вернули матерям, сходявшим с ума в течение 15 жутких дней. Отмыли, подлечили, подкормили и взяли слово ждать отцов дома. Чингис с тех самых лет не ест даже самые вкусные дыни и не может даже выносить их чудный аромат – целую неделю, после того как кончилась картошка, дети ели только дынные корки, потому что других объедков пассажиры поезда, на крыше которого они ехали, не бросали и на станциях подбирать тоже было нечего.

Но, как всю жизнь говорила Сара, она - счастливая женщина, ибо вернулся с войны муж, выросли порядочными людьми дети. Младший, Искандер, родившийся в 1947, сейчас тоже живет в Уфе, навещает отца, живущего в том же микрорайоне, и не перестает удивляться, как можно было иметь такое страшное детство, каким оно было в течение трех долгих лет у его брата.

По сравнению с теми испытаниями, что выпали на долю Суфии, беды Сары, действительно, кажутся пустяковыми.

...Когда арестовали Тухачевского, Якира и Блюхера, прокатилась волна арестов военных рангов ниже, кто служил в их армиях. Арестовали не только Ясави Гумерова, но и его жену Суфию на восьмом месяце беременности. Детей отдали в детдом для "детей врагов народа", где с утра до вечера им вдалбливали, что они - "вражията" и заставляли это повторять по нескольку раз. Ясави расстреляли. Ясави расстреляли в 1937, вскоре после ареста, по приговору "тройки", Суфию держали в тюрьме до конца 1939 года. Ребенок, сын, родившийся в тюрьме, прожил несколько месяцев и умер, не получив необходимой медицинской помощи.

По выходе из тюрьмы Суфия разыскала детей, привезла домой. Одна дочь в детдоме почти полностью потеряла слух, у второй он тоже был ослаблен. Обе девочки переболели скарлатиной и могли не только остаться глухими, но и умереть: их, заболевших и содержавшихся в нетопленном помещении, никто не лечил. Суфия стала работать снова в том же детском саду, где работала до ареста, сначала воспитательницей, а потом и заведующей.

Всех, знавших ее, поражала бесконечная доб-

рота, интеллигентность этой неозлобившейся и не потерявшей способность помогать людям в беде женщины. Всегда в ее бедном доме находилось место для еще более бедных и обездоленных.

Старшая дочь Суфии умерла после тяжелой неизлечимой болезни, вырастив приемную дочь; младшая счастлива прекрасными дочерьми, у которых свои семьи, а младшая из них, так похожая на бабушку Суфию в молодости, бережно хранит семейные фотографии и документы – немые свидетели кровавых 30-х годов, в частности, справку о посмертной реабилитации дедушки Ясави Гумерова и копию письма бабушки Суфии Хрущеву.

Брат Хамид умер после войны от туберкулеза, оставив дочь, которая сейчас живет в Москве.

В Москве же живут дети и внуки Хамзи, у которого, пожалуй, единственного из всех детей Мухаряма, жизнь сложилась благополучно: ему удалось защитить диссертацию, и всю жизнь, дожив до 80 лет, он жил в Москве и занимался преподавательской работой.

В живых не осталось никого из детей Мухаряма, а мужу Сары Ибатулле, единственному оставшемуся из того поколения Еникеевых – 86 лет. Он плохо видит, плохо ходит, но сохранил прекрасную память, острую наблюдательность и сейчас составляет генеалогическую схему своего рода, выверяя свои данные по сведениям, полученным им в свое время от двоюродного брата Гумера.

Гумер Еникеев тоже родился в Каргалах, но так как он был на несколько лет старше своего кузена Ибатуллы, то к большевистскому строю относился если не враждебно, то скептически, и в торжество идей марксизма-ленинизма не верил. Работал в проектном институте, а в свободное время писал историю Каргалов, по крохам собирая

сведения из разных источников и записывая устные рассказы каргалинцев. О том, что он это делает, знали только самые близкие, ибо в этой рукописи были некоторые сведения, способные заставить КГБ поволноваться и порадоваться, что еще один диссидент выловлен. А писал он и о чудовищном голоде в 1932 году, явно запланированном большевиками, когда вымирали целые деревни на плодороднейших бескрайних башкирских землях, потому что изъято было всё зерно, в том числе и посевное, и поля не были засеяны. Не понравились бы и рассуждения о том, что в царское время последнее зерно у крестьян не забирали и скот коллективным не делали.

Впрочем; слово диссидент появилось в Союзе позже, а Гумер умер в 1969 году, вырастив четырех благодарных детей (двух дочерей и двух сыновей) и дав им прекрасное образование.

Младший из сыновей Гумера, Тан, что в переводе означает "заря" – главный художник Башкирского драматического театра в Уфе. Родился в 1948 году и начал рисовать в три года. В отличие от ровесников не хотел быть даже в детсадовском возрасте ни летчиком, ни пожарным, а только художником. Окончил Уфимское художественное училище, а затем Московский художественный институт им. Сурикова. Уже в курсовых работах был виден почерк мастера, а выставки его студенческих работ всегда собирали толпу отчаянно споривших преподавателей и студентов. Мнения о его работах высказывались диаметрально противоположные, правда, все соглашались, что он очень талантлив.

Его декорации и костюмы к спектаклям поражают не только высоким мастерством, но и глубиной проникновения в драматургию и замысел режиссера. Не случайно, в рецензиях на каждый

новый спектакль театра оформлению уделяется едва ли не больше места, чем режиссуре и игре актеров.

Тана часто приглашают оформлять спектакли в другие театры Уфы и городов ближнего и дальнего зарубежья...

* * *

Тан, как и его старший брат Гали, чьи разработки в области экологически чистых источников энергии известны далеко за пределами России, убежден, что дворянский титул сам по себе ничего не значит и не дает, конечно же, права на особое положение в обществе. Скорее, ко многому обязывает. Так, кстати, считают и многие другие образованные и интеллигентные представители татарских дворянских родов в Уфе, которые сегодня трудятся в самых разных сферах.

У большинства из них отсутствует тщеславное желание просто получить грамоту, подтверждающую дворянское происхождение и являющуюся как бы пропуском в высшее общество. Такие, конечно, тоже есть, как и во всех сословиях. И если, может, и не "на каждого умного по дураку", то на десять умных – пять не очень. Тем ярче пример таких интеллигентных, талантливых и умных, кто заставил бы радоваться любого из их далеких предков – беков и мурз Золотой Орды.

Для большинства потомков татарских дворян естественно желание подтвердить принадлежность к дворянству – как дань памяти предков и восстановление исторической справедливости. И понятна высокая планка моральных и культурных ценностей, восстановление которых, как и самобытной татарской культуры, провозгласил Меджлис татар–

ских мурз в качестве "одной из первостепенных своих задач.

В Концепции Меджлиса одним из пунктов записано:

"Свой жизнью, обликом, делами мы должны вернуть в общественное сознание образы дворянина, достойные подражания, особенно в вопросах благородства, чести, достоинства, долга, широкой образованности, безукоризненной воспитанности, гражданского и человеческого достоинства".

Меджлис татарских мурз принят в качестве ассоциированного члена в Российское дворянское собрание, его филиалы создаются в Москве, Петербурге, Алма-Ате, Пензе, Ташкенте. Он сотрудничает с различными общественными организациями, имеет своих представителей в Российском отделении Земского Движения.

Может быть, некоторые мероприятия Меджлиса несколько аффектированы, отдельные положения Концепции носят явно окрашенный националистический характер, и всё-таки нельзя не согласиться с тем, что возрождение дворянства, как и любого сословия в России, в том числе национального, как мурзинское, не просто дань моде и игра, а ступень к возрождению национального самосознания и ступень к возрождению государства Российского.

Встреча и прощание с адъютантом Верховного Правителя

...В Сан-Франциско, на Лайон Стрит, 2041, где кружат чайки, залетающие из гавани, стоит особняк весь в цветах и зелени. И нет в нем ничего примечательного – таких много в этом благословенном городе-полуострове на северо-западном побережье Америки, омываемом с трех сторон водами Тихого океана, пронизанном не только ослепительным жарким солнцем, но и прохладными океанскими ветрами. Особняк со всеми его пристройками, музеями и библиотеками, с гостиными, стены которых украшают национальные флаги и портреты императоров, принадлежит Обществу Русских ветеранов Великой войны. Именно так оно называется... "Великой войны".

Этому воинскому объединению выпала редкая честь стать старейшей из военных организаций Русского Зарубежья. Значительная их часть прекратила свое существование – страны, где они находились, – пояснили мне, – "попали под гнет советской власти"...

Основано Общество было по инициативе полковника Герцо-Виноградского группой артиллеристов, к ним вскоре присоединились офицеры других родов оружия. Необходимо было "бороться с клеветой на Россию, защищать честь и доброе ее имя, раскрывать истинное лицо коммунизма, предупреждать США об опасности большевиков".

Праздником установлен был День Св. Велико-мученика и Победоносца Георгия, изображенного на эмблеме Общества с копьем в руках, пронизывающим змея. По краям эмблемы можно прочесть слова из последнего Приказа Государя: "Да ведет вас к победе Святой великомученик и Победоносец Георгий".

До сорок шестого года Общество состояло из военных, попавших в США, в основном с Дальнего Востока. Это были воины Колчака, Каппеля, атамана Семенова, генерал-лейтенанта Унгерн-Штернберга, воткинцы, ижевцы. Затем стали приезжать русские и из Европы. Позже к Обществу примкнули кадеты бывших кадетских корпусов, главным образом, из Югославии.

День двадцать шестого мая 1994 года был своего рода юбилейным – отмечалось семидесятилетие существования Общества.

О чем вспоминали они, сохранившие военную выправку, подтянутые, в праздничных костюмах, убеленные сединами, порой еще с молодым блеском живых глаз? Они, выдавшие ад на земле, пережившие Вторую мировую, плен, лагеря, эвакуации и репатриации, а некоторые из них, сбереженные Временем, – сражения, пепел, дым и пожарища Первой мировой и Гражданской войн?

Каждый, наверное, о своем, но вместе – прежде всего о том, как выжили с помощью Б о ж ь е й, ведь "русский человек привык делиться взгодами и невзгодами с соседями, стоять часто в церкви в кругу людей, ему даже вовсе незнакомых, но уже близких хотя бы потому, что стоят они вместе в церкви – значит, он не один". Это "общее движение душ" и создавало в кратчайшие сроки храмы во всех местах "русского рассеяния по лицу земного шара", где можно было не только помолиться, но и повесить записки о розыске близких и знакомых, а

то и просто помочь другому устроиться на заработки.

А военные, по их собственному признанию, привыкли к еще большей сплоченности, к тесному товариществу, к моральной обязанности помогать другому в любой обстановке войны и мира.

О чем единственно жалели они в тот солнечный майский день с легким дурманящим запахом цветущих калифорнийских роз? О том, что "все сойдут под вечны своды и чей-нибудь уж близок час", но так и не доведется увидеть им "начинающуюся зарю на русском небе", хотя одно лишь только это видение было бы наградой за десятилетия лишений и страданий. И хотя среди нас, — говорили они, — нет Великого Князя Николая Николаевича, бывшего в год основания Общества Верховным Главнокомандующим, — всё так же через годы ясно и громко звучат его слова: "Отдать себя полностью на служение Родине во имя светлого и великого будущего России"...

В тот день судьба каждого, кто собрался за праздничным столом, вытянутым вдоль гостиной, и грянувших после молебна такое зычное и дружное "ура!", что задрожали рюмки с налитой доверху живительной влагой, — чистая страница общей истории нашей многострадальной родины, которую еще предстоит писать нам, ныне живущим, в назидание потомкам. Судьба каждого...

И всё же мое пристальное внимание привлёк один из них — с живыми, подвижными и благородными чертами худого лица, сидевший на стуле очень прямо и молчавший.

— Адъютант Верховного Правителя России, героя Первой мировой войны, выдающегося русского моряка и ученого, "Рыцаря Белой Мечты", готового всем пожертвовать для счастья России, — так представили мне его.

— Адмирала Колчака?

- Адмирала Александра Васильевича Колчака.

После празднества он, Евгений Александрович Леонтьев - ровесник века! - увез меня на своей машине, сам, пусть неспешно, но сам управляя ею, в свой гостеприимный дом, стоящий на окраине Сан-Франциско, там, где за окнами линия горизонта сливается океан с небом. И если его рассказ, записанный мною на магнитофонную ленту, прольет свет на страницы нашей истории и добавит пусть маленькие, но штрихи к жизни и судьбе мятежного генерала, - я буду счастлива.

...Первый вопрос, что я задала Евгению Александровичу, был: каким он помнит Верховного Правителя России? Каким он был в жизни, а не в славе? После этого рассказ пошел сам собой, и я не прерывала его, боясь нарушить ход повествования...

- Адмирал Колчак был невысокого роста, худощавый, стройный, с гибкими и точными движениями, с лицом, навсегда сохранившим загар далеких морей. Голос у него был негромкий, несколько глуховатый. Вся его жизнь была наполнена сражениями, упорным трудом, частыми опасностями - то в Ледовитом океане, то в Порт-Артуре, то в Балтийском, то в Черном морях. Его жизнь как моряка и реформатора Русского флота, станет достоянием русской истории.

В нем не было ничего ненастоящего, надуманного, неискреннего. Каждый его жест отличался естественной простотой, речь спокойная и деловая. Ходил адмирал Колчак в простой солдатской шинели из защитного сукна. С погонями. В кругу близких людей был прост и обходителен. Во время официальных приемов становился замкнутым, сухим и суровым. Создаваемый вокруг него ореол был ему явно не по душе.

...Немногим более года нес адмирал тяжелый крест власти, но тем не менее его имя вошло в историю как символ Белой Борьбы.

Вначале под его водительством Белая Армия одержала ряд блестящих побед, но позже наступила полоса несогласий, предательства и развала. Время его правления было для него временем тяжелых моральных переживаний, порождаемых потерей им веры в человека как носителя чести и долга, что особенно подтверждало поведение союзников, из которых худшими по подлости оказались чехи, предавшие его большевикам. Стоя под дулами большевистских винтовок, он, по свидетельству самих большевиков, вел себя и умер, как герой.

Но всё по порядку.

...Осенью 1918 года адмирал Кочак прибыл с Дальнего Востока в Омск. Там он не предполагал долго задерживаться, собирався проследовать на юг России к генералу Деникину. 9 октября в Омск переехало из Уфы Всероссийское Временное правительство, или Директория, как оно тогда именовалось.

В Омске в это время находилось и Сибирское Временное Правительство, которое 3 сентября перестало существовать, войдя значительной частью своего состава в Совет министров Временного Всероссийского Правительства при директории, в котором, после некоторых колебаний, адмирал Колчак занял пост Военного и Морского министра, связав себя таким образом с антибольшевистским движением в Сибири.

Весьма непопулярная в армии и в среде правых кругов общественности эсеровская Директория прекратила свое существование вследствие переворота, происшедшего 18 ноября 1918 года. Совет министров на своем экстренном заседании решил

передать власть адмиралу Колчаку со званием — Верховного Правителя и Верховного Главнокомандующего. Арестованные члены Директории Авксентьев, Зензинов, Аргунов и Роговский были снабжены новым правительством деньгами и под охраной высланы в Китай.

Слишком тяжелую ношу взял на свои плечи адмирал Колчак! Надо было заботиться не только о создании боеспособной армии, могущей вести борьбу с большевиками, но и налаживать разрушенную до основания жизнь населения. Приходилось решать сложные экономические и политические вопросы, вести борьбу с партизанами, успокаивать волнующееся крестьянство, шедшее на поводу у большевиков.

Мешали, а не помогали иностранные интервен-ты. Поднимали голос чехо-словаки, на которых старались влиять, и не без успеха, их друзья-эсеры, готовившие переворот, в связи с чем 20 декабря был раскрыт заговор. 22 декабря вспыхнуло восстание железнодорожных рабочих на станции Куломзино, быстро перекинувшееся в Омск. В это время адмирал был опасно болен, простудившись при объезде воинских частей.

Положение было настолько серьезным, что английский полковник Ворд послал для охраны адмирала своих канадцев, но тот решительно отказался от этой помощи. Восстание же было подавлено.

Едва оправившись после болезни, Александр Васильевич выехал 8 февраля (1919 года) на фронт с целью познакомиться с теми условиями, в которых борется армия.

В то время велика была вера в конечный успех Белого движения. Верили, что несмотря на внутренние нелады враг будет сломлен совместными усилиями с армией генерала Деникина, и Россия

будет спасена от гибели. Моральный авторитет адмирала Колчака был очень высок. О его решимости бороться до конца знали все, что придавало его имени особую силу, вселявшую веру в победу.

В своей книге "Сибирь, союзники и Колчак" профессор Гинс, описывая поездку адмирала на фронт, вспоминает его посещение оренбургских казаков в Троицке, где четкими и твердыми словами он определил задачи борьбы и отбыл, бурно приветствуемый "кругом".

Через несколько дней адмирал в бронированном поезде выезжает из Златоуста к передовым позициям. В версте от сторожевых охранений он по снежным тропинкам обходит боевые части, заходит в перевязочную летучку, раздает в землянке награды. Солдаты видят Верховного Правителя рядом с собою и остаются им очарованными.

Дальше адмирал едет на Северный фронт, едет так далеко, что вызывает общее беспокойство. Узнав, что путь испорчен и поезд не может идти дальше, он требует лошадей и проезжает вперед, осматривая позиции часто под огнем большевиков.

В Перми он посещает пушечный завод, где беседует с рабочими, перед которыми обнаруживает не поверхностное, а основательное знакомство с жизнью завода. Рабочие видят в Верховном Правителе человека труда и проникаются верой, что он желает им добра. К слову сказать, пермские рабочие не изменили правительству до конца.

Везде по пути следования народ устраивает адмиралу восторженные встречи, с подношениями хлеба, соли и адресов, как освободителю от большевиков. Со своей стороны, адмирал говорит народу о необходимости борьбы с большевиками до конца, до победы и излагает сущность будущей земельной реформы, которая сделает каждого крестьянина собственником земли.

Вскоре после его возвращения в Омск армия перешла в наступление по всему фронту, взяла Уфу и очистила почти всю Каму. На севере лыжники сибирских войск вошли в соприкосновение с частями Архангельского правительства. Это производит должное впечатление на иностранцев, и они приветствуют адмирала. В марте девятнадцатого года в городском театре Омска британское военное командование устраивает парадный спектакль. На нем присутствуют все дипломатические и военные представители. В тот момент, когда в зале появился Александр Васильевич, все встали, и оркестр исполнил "Коль Славен" и английский гимн.

С начала 1919 года устанавливается постоянная связь с границей. Пользуясь этим, адмирал Колчак широко информирует иностранные государства о целях борьбы Российского Правительства в Омске. В конце апреля он получает приветственное послание от Жоржа Клемансо, возглавлявшего конференцию в Версале, которое гласило: "Я не сомневаюсь, что Сибирская Армия под руководством своих выдающихся вождей осуществит освобождение России, т. е. достигнет цели, которую Вы перед ней поставили".

Правительство Франции от имени всего народа прислало адмиралу торжественное поздравление с военными успехами. В нем выражалось восхищение доблестью армии, нанесшей поражение большевикам, врагам человеческого рода. Высказывалась вера в будущее России – единой и свободной.

Королевство Сербов, Хорватов и Словенцев, до конца оставшееся верным национальной России, положило начало официальному признанию Омского Правительства, уведомив адмирала, что оно считает царского посланника Штрадмана полномочным представителем этого правительства.

Профессор Гинс в своей книге отмечает – и это, действительно так! – что в начале мая 1919 года общественное мнение Америки явно склонялось в сторону Омского Правительства. Бывший в то время президент Тафт предостерегал мир от каких бы то ни было сношений с большевиками – врагами мировой демократии.

Наконец, третьего июня Верховному Правительству было вручено послание, подписанное Вильсоном, Клемансо, Ллойд Джорджем, Орландо и маркизом Сайондзи. В нем представители великих держав сообщали о невозможности установления каких-либо отношений с советской властью и просили осведомления по ряду вопросов. Если те, с кем они готовы вступить в общение, придерживаются одних с ними взглядов, правительства великих держав готовы оказать поддержку правительству адмирала Колчака с тем, чтобы оно утвердилось в качестве Всероссийского.

В это время адмирал был на фронте. Был только что взят Глазов. Стало известно, что Колчак подтвердит обещание о созыве Национального Собрания и заявит, что только на этом собрании будут подняты вопросы о Польше, Литве, Латвии, Эстонии, Финляндии.

Представители Антанты, хотя и говорили о помощи, но, вероятно, не представляли себе, как приступить к ее организации. Честно говоря, они плохо понимали происходящие в России события. И мы это чувствовали. В Европе не могли решить – уничтожить ли большевизм вооруженной интервенцией, как предлагали Черчилль и Клемансо, или пригласить и "белых" и "красных" вступить в мирные переговоры, на чем настаивали Ллойд Джордж и Вильсон. Результатом этих несогласий явилось предложение Колчаку прислать своих представителей на Принцевы острова для мирных переговоров с большевиками. Радиограмма с текстом этого

предложения была получена в Омске еще 25 января 1919 года. Адмирал понял, что союзники предлагают мир с большевиками...

Буквально на следующий день адмирала посетили высокие комиссары Франции и Англии. Они были смущены и просили его ждать из Парижа разъяснений, а главное, повременить с категорическим ответом. В своем ответе высоким комиссарам адмирал подчеркнул, что он не рассматривает полученную радиограмму предложением и на нее отвечать не собирается. Однако считает необходимым пояснить своим войскам, что слухи о мирных переговорах с большевиками распространяются врагами России. Кроме того, он заметил, что армия готовится к решительному наступлению.

Предательство союзниками армии адмирала Колчака началось именно с этого "предложения"...

К началу ноября 1919 года Сибирская армия, хотя и сильно пострадавшая, вела упорные бои с большевиками и отходила в порядке. Омск был сдан 14 ноября. Адмирал Колчак двигался на восток по железной дороге, и его поезд был под защитой флагов всех союзных держав. Вместе с ним двигались поезда с золотым запасом Российского Государства.

...На станции Нижнеундиск 18 декабря поезд адмирала был задержан и окружен чешскими частями. Адмирал стал пленником. Приказание, во исполнение которого был задержан поезд, по имеющимся сведениям, исходило от французского генерала Жанена и чешского генерала Сырового.

Одновременно с поездом адмирала были задержаны на Сибирской магистрали около двухсот поездов, наполненных больными и ранеными чинами армии и бегущими от большевиков женщинами и детьми. Адмиралу было объявлено, что движение поезда возобновится, когда это "позволит обстановка".

Атаман Семенов, узнав о катастрофическом положении адмирала Колчака и о задержании союзниками массы поездов с ранеными и беженцами, обратился к главному чехо-словацкому штабу и к союзным комиссарам с просьбой не губить своими действиями адмирала и находящихся в поездах.

Это благородное обращение успеха не имело, и почти все те, кто волею судеб оказался в эти дни в роковых "поездах смерти", под "защитой" союзных войск, погибли от холода, голода и болезней в условиях страшной сибирской зимы. Эти "поезда смерти", ставшие кладбищем массы русских людей, составляют самую трагическую страницу белой сибирской эпопеи...

Восстание в Иркутске, поднятое эсерами, началось в конце декабря 1919 года. Части атамана Семенова пытались помочь правительственным войскам в Иркутске, но неожиданно были окружены чехами и разоружены. Таким образом чехи помогали восставшим бандам, руководимым эсерами, и губили Колчака.

Но между Нижне-Ундинском и Иркутском, где находились чешские войска, никаких значительных сил большевиков не было. Тыл Иркутска - Забайкалье - был занят японцами и отрядами атамана Семенова. Задержав в Нижнеундинске поезд адмирала и поезда с з о л о т ы м запасом, союзники показали, что они ждут результатов восстания в Черемхове и Иркутске - ведь они ему всемерно содействовали. Оно и должно было привести к падению правительства адмирала Колчака. Но такое поведение союзников требует короткого пояснения.

Дело в том, что перед своим пленением в Нижнеундинске адмирал передал по телеграфу приказ властям во Владивостоке - проконтролировать вывозимое чехами имущество перед его погрузкой на союзные пароходы.

Чехи узнали об этом распоряжении, поскольку главной их заботой было не спасение Сибири и Дальнего Востока от большевистского разгрома, не спасение раненых, больных и беженцев, а спасение награбленного ими в России огромного имущества, то они решили избавиться от неугодного им правительства Колчака, сменив его на правительство эсеров, которые были у них в долгу за ряд оказанных им чехами услуг. Награбленное же имущество составляли: "военное снаряжение, фургоны, кавалерийские и рысистые лошади, миллионы аршин шинельного сукна, шерсть, мануфактура, кожа, хлопок, резиновые шины, медь, сталь, литографские машины, медикаменты, машинные части, различные инструменты, персидские ковры, фарфор, уральские камни, картины, музыкальные инструменты, платина, золото в монетах и слитках, захваченное в иркутском казначействе, готовые сибирские денежные знаки и станки для их печатания, всего, по снисходительной оценке, на сумму около одного миллиарда золотых рублей".

Таким образом, результатом вероломного поведения чехов было падение правительства адмирала Колчака, которое сменило правительство эсеров, назвав себя "Политцентром". Однако деятельность этого "правительства" не была продолжительной, так как через две недели его свергли большевики, в силу чего чехи снова попали в "неудобное" положение и решили выйти из него путем передачи большевикам адмирала Колчака и части золотого запаса, который адмирал спасал для общего русского дела.

Когда вагон обреченного генерала, украшенный союзными флагами, подходил к Иркутску, вопрос его выдачи был уже решен. Генерал Жанен, как Пилат, умыл руки и в вагон-ресторане умчался на восток, предоставив генералу Сыровому и его друзьям довершить к а и н о в о д е л о.

Между прочим, никаких переговоров о пропуске адмиральского вагона на восток Жанен ни с кем не вел, да в этом и не было надобности, так как путь до самого Владивостока был свободен от большевистских войск. Во всей этой истории самым возмутительным было то, что адмирал был выдан не по требованию большевиков, а по предложению чехов, торопившихся купить свободу своего дальнейшего продвижения с богатой русской поживой наимеее ощутительной для себя ценой – потерей своей ч е с т и.

Договор между чехами и большевиками был подписан в селе Куйтун 7 февраля 1920 года. Председатель Иркутского революционного комитета Смирнов тут же, в присутствии чешских делегатов, составил телеграмму в Иркутск о расстреле Колчака и Председателя Совета министров Пепеляева. Чехи же *любезно* предложили передать телеграмму по своему проводу. По этому поводу Смирнов в своей книге "Борьба за Урал и Сибирь" пишет, что его телеграмма, к немалому удивлению большевиков, была передана по пятисотверстному проводу чехов.

В ту же ночь в Иркутске, на льду Ангары, адмирал Колчак и Пепеляев были расстреляны красными палачами. Они приняли мученическую смерть.

Скажу только на прощание, что "смерть за Россию – доля царская! И будем помнить мы века о том, что пуля комиссарская пронзила сердце Колчака"...

И Евгений Александрович со словами "Господь вас Храни!" перекрестил меня.

А днями я улетаю на родину, в Иркутск, где адмирал Колчак уже навсегда остался болью и памятью поруганной России.

Проф. Сергей УТЕХИН

Череда судьбоносных выборов

Не раз в нашей истории складывались обстоятельства, в которых приходилось делать выбор, надолго определявший, худо ли, хорошо ли, судьбу страны и народа. Череда судьбоносных выборов – такой представляется мне русская история.

В 862 году северные славянские и соседние финские племена, посоветовавшись между собой, решили обратиться к варягам-руси с предложением княжить в их земле и установить в ней правосудие. Призвание варягов – первый известный нам судьбоносный выбор – принесло будущим северным великорусам центральную власть и имя Русь и положило начало монархической традиции и праву на занятие княжеских столов (позднее – царского) членами Рюрикова дома, правившего на Руси до конца XVI века. Еще важнее – призвание варягов утвердило принцип народного волеизъявления как источника власти и правосудие как ее главное назначение. Наконец, оно обрекло на общую историческую судьбу разные этнические элементы, и с тех пор русское общество никогда не было этнически однородным. А занятие Рюриком и его братьями столов в трех разных городах явилось прообразом раздачи городов в удельное владение княжеским сыновьям – практике, продержавшейся до Ивана Грозного.

Через два десятка лет после первого судьбо-

носного выбора был сделан второй. Вещий Олег присоединил южные восточнославянские племена (будущих украинцев) и выбрал своей столицей Киев, где имя Русь, не связанное там с варягами, было известно с глубокой древности. Объединение северной и южной Руси создало мощный политический союз, в ближайшие десятилетия включивший и остальные восточнославянские земли (будущих белорусов и южных великорусов). Политическое объединение способствовало появлению яркого общерусского национального самосознания, впоследствии не раз меркнувшего, но опять разгоравшегося и не совсем угасшего по сей день.

Договоры Олега и Игоря с греками свидетельствовали о признании норм международного права и начале в этом отношении традиции, с которой порвали только Ленин и Троцкий и которая теперь возрождается.

Мудрая княгиня Ольга отказалась от произвола своего мужа во взимании дани и, "уставляя уставы и уроки", не только упорядочила налогообложение (задача, с которой позднейшие правители справлялись с переменным успехом, и от которой Ленин и Сталин пытались вообще избавиться), но и положила начало русскому законодательству. Ее инициативу подхватил Ярослав Мудрый, решивший создать "Русскую Правду" - общерусский свод правовых норм, славянских и варяжских, действовавших до того, как неписаное обычное право. "Русской Правдой" началось писаное русское законодательство, а многие ее нормы оставались в силе в разных русских землях до конца XV века.

Важнейшим выбором за всю нашу историю был выбор новой веры. Святой равноапостольный князь Владимир, тщательно познакомившись с верами соседних стран, остановил свой выбор на право-

славии. Прежде чем принять окончательное решение, он дважды советовался не только со своими боярами, но и с киевскими "старцами градскими", которые тоже высказались за православие.

Крещение Руси определило на тысячу лет духовный облик народа и его нравственные основы, внесло в нашу духовную жизнь понятие ценности и незаменимости человеческой личности, понимание благодати как свободы и свободы как благодати. На семь столетий определило характер образования и умственную ориентацию образованной части общества, литературный язык, содержание и формы литературы и "высокого" искусства, философской, исторической и политической мысли; на пять веков — представление о вассальном положении Руси по отношению к императору в Царьграде; на несколько столетий (до ордынского влияния) смягчило нравы и уголовные наказания. Изменило общий характер русского права, введя на Руси каноническое право, а через него римское, вытеснившее со временем (как и в большинстве других стран Европы) право обычное.

Но выбор новой веры вызвал отрицательное отношение к уходящей своими корнями в язычество народной культуре; привел к некоему двоеверию, особенно среди менее образованных слоев населения с их мифическим сознанием, суеверьями и поверьями, внецерковными обрядами и обычаями, "бесовскими" развлечениями. Выбор православия, введя Русь в восточно-христианский культурный круг, предопределил также отчуждение, а часто и прямое отталкивание от других культурных традиций, не только иудейской и мусульманской, но и западно-христианской, что в будущем привело к серьезным трудностям и упущениям в культурном и политическом развитии страны, в известной мере не преодоленным до сих пор. Всё еще не изжито, в частности, тенденция определять русскость по

вероисповеданию, отождествлять русскость с православием, что нередко осложняет, а то и прямо отравляет, отношения с русскими же (по языку, культуре и самосознанию), но инославными, иноверцами, агностиками или атеистами.

Можно добавить, что отказ от ислама усилил склонность к пьянству.

Вскоре после принятия христианства митрополит Иларион выдвинул мысль об особой богоизбранности Руси, Руси как "втором Израиле". Этим было положено начало представлениям о Святой Руси, сюда уходят корнями различные варианты "русской идеи" и рассуждения о мировой исторической миссии России вплоть до теорий прошлого и начала текущего столетий о предстоящей смене "гнилой" романо-германской цивилизации "здоровой" "славянской" или "евразийской". Приходится, как это ни прискорбно, признать, что такого рода представления создали достаточно благоприятную умственную и эмоциональную почву для готовности Ленина подхватить мысль Маркса, что Россия может стать детонатором общеевропейской революции, и готовности многих увидеть в действиях Ленина, Сталина и их сообщников осуществление русской миссии, хотя бы и в извращенной, даже кощунственной форме.

Постановление княжеского съезда 1097 года в Любече "Каждый да держит отчину свою" официально закрепило раздробление Русской земли на уделы, сильно и надолго ослабившее центральную власть, но в то же время облегчившее местную инициативу, политическое и культурное развитие местных центров, упрочение местных традиций.

Так, в Ростово-Суздальской земле усилилась княжеская власть в ущерб власти веча. Из сильной княжеской власти со временем выросло московское, а затем и имперское самодержавие, существовавшее до 1906 года. За восемь столетий

выработалась привычка к самовластью у одной стороны, и покорности у другой, к бунту как чуть ли не единственно возможной форме сопротивления самовластью, привычка, не ушедшая за одно десятилетие конституционного строя и облегчившая большевистский произвол.

В противоположность этому на севере благодаря сознательному выбору новгородцев и псковичей возобладало вече. Вечевой строй продолжил и укрепил традиции народовластия и народоправства, способствовал утверждению личной свободы и личного достоинства, широкому распространению грамотности. Вечевые порядки, подавленные на севере Москвой, возродили у себя в новых формах донские и запорожские казаки, а затем порядки эти послужили основой местного самоуправления во всех казачьих войсках. В Смутное время веча Нижнего Новгорода и других главных городов, воспрянув и вновь осознав себя носителями учредительной власти, выступили инициаторами воссоздания центральной власти в Москве. Память о вечевом строе впоследствии вдохновляла, да и теперь вдохновляет, сторонников свободы и народовластия.

Перед трудным выбором поставило наших предков монгольское завоевание. Владимирские, а затем московские великие князья решили скрепя сердце покориться Орде и сотрудничать с ней. Такой же выбор сделала московская церковная иерархия. Покровительство ордынских ханов дало возможность московским великим князьям во много раз усилиться и разбогатеть, что создало предпосылки для свержения ордынского ига. А покорность церковного начальства обеспечила церкви свободу от дани, невмешательство ордынских властей во внутрицерковные дела, расцвет монастырей. Со временем Москва переняла неко-

торые ордынские порядки, позволившие улучшить управление и военное дело. Русский язык обогатился множеством заимствованных татарских слов. Но подражание завоевателям привело к тому, что в быту Московской Руси появились новые отрицательные черты, в том числе униженное положение женщин. Ужесточились уголовные наказания, усилились элементы самовластья и произвола.

Иной выбор делали князья и бояре (которые там были особенно влиятельны) южных и западных русских земель. Используя любую возможность избавиться от ордынской власти, они по большей части не противились присоединению их земель к Венгрии, Польше и особенно к начавшему в XIII веке возвышаться великому княжеству Литовскому, а то и прямо приветствовали такое присоединение. Последствия этого судьбоносного выбора оказались чрезвычайно важными. Великое княжество Литовское стало преимущественно русским по населению и культуре, наследником многих киевских традиций. Само же западнорусское население, родственное своим западным соседям по происхождению, оказавшись объединенным с ними в политическом отношении, стало еще больше сближаться с ними в быту и культуре, отчуждаясь в то же время от Руси подордынской. Началось развитие особого украинского и белорусского народного самосознания, переросшего в дальнейшем в национальное.

Взаимное отчуждение углублял новый выбор — политика собирания русских земель, к которой почти одновременно приступили московское и литовское правительства и в которой они соперничали. Постепенно перевес стала брать Москва, и это отчасти повлияло на решение Ягайла и его преемников опереться на Польшу, а затем и объединить великое княжество Литовское с Польским

королевством в рамках одного политического союза. В построении власти и в политическом сознании будущих украинцев и белорусов упрочилось федеративное начало. Они привыкли к избираемой, а не наследственной верховной власти, причем власти, ограниченной представительными учреждениями. Русские бояре и служилые люди получили многие права и свободы польских панов и шляхты. Повсюду в русских городах было введено самоуправление по магдебургскому праву, окончательно отмененное в местностях, вошедших позднее в Российскую империю, только при Николае I.

Совершенно иные последствия имела политика собирания земель в Московском государстве. Можно восхищаться целеустремленностью и последовательностью московской политики, гордиться военными и дипломатическими успехами, приведшими к собиранию воедино сначала великорусских, а затем большинства украинских и всех белорусских земель. Политическое объединение дало сильный толчок возрождению общерусского национального сознания. Но нельзя не возмущаться произволом, коварством, вероломством и жестокостью московских властей – не случайными личными качествами того или иного правителя, а характерными свойствами и целенаправленными приемами московской политики. Даже учитывая, что политика собирания русских земель проводилась одновременно с борьбой против Орды и образовавшихся после ее распада ханств, что требовало напряжения народных сил, нельзя оправдывать закрепощения всех слоев населения, массовых насильственных переселений, удушения вечевого строя. Московское иго было едва ли легче ордынского, возможно, тяжелее. Пережитки сложившихся на протяжении XIV–XVII вв. москов-

ских политических порядков и привычек долго давали себя знать в имперскую эпоху и были использованы большевиками, которые возродили их и довели до крайних пределов.

Московские книжники создали официозную москвоцентрическую схему русской истории (Москва – как бы естественная наследница Киева и единственная правопреемница его как общерусского центра), до сих пор господствующую в построениях российских историков и в исторических представлениях российских обывателей. Неприятие многими на Украине и в Белоруссии одностороннего москвоцентризма со временем привело к противоположной крайности – созданию Грушевским схемы, в которой Москва и великоросы почти исключались из русской истории, а последняя сводилась в основном к истории Украины (Киев – Малороссийское королевство галицко-волинских князей – гетманская Малороссийская Украина XVII–XVIII веков). Радикальные последователи Грушевского пошли еще дальше и, говоря об украинской истории, вообще не употребляют наименований "Русь", "русские".

Исключительно важным для будущих судеб страны и народа явилось восприятие монгольского завоевания как наказания Божьего за грехи. Борьба против ордынской власти вдохновлялась убеждением в ее преходящем характере, уверенностью, что Господь смилостивится над Русью и избавит ее от власти нечестивых. Вера эта неоднократно возрождалась впоследствии и опять ярко вспыхнула после захвата власти большевиками. Она поддерживала и вдохновляла большинство участников Белой борьбы, а затем многих антикоммунистов вплоть до крушения коммунистического ига.

Освобождение от последних остатков ордын-

ской власти, достигнутое вскоре после падения Константинополя и женитьбы Ивана III на византийской принцессе, навело великого князя на мысль о принятии царского, т. е. императорского, титула, с которым было связано представление о суверенитете, отсутствии вышестоящей светской власти. Мысль о праве Руси на суверенитет, о русском народе как носителе суверенитета, а затем (в XIX веке под влиянием немецкого романтизма) и о всех трех русских народах как его носителях, укоренилась и нашла свое выражение, в частности, в появлении в начале текущего столетия сепаратистских течений среди украинцев и белорусов, а за последние годы – в становлении суверенных и России, и Украины, и Белоруссии.

Царский титул был связан также с представлениями о праве московских государей на власть за пределами русских земель, новгородско-киевской отчины Рюриковичей. Отсюда теория старца Филофея о "Москве – Третьем Риме". Здесь же лежит теоретическое обоснование политики подчинения соседних стран и народов, приведшей к созданию обширной империи со всеми ее положительными и отрицательными свойствами.

С одной стороны, это – распространение православия среди языческих народов Сибири и Аляски; вызволение христианского населения Крыма, Бессарабии, Закавказья из-под турецкого и персидского гнета; уничтожение во всех присоединенных местностях рабства; приобщение к русской, а через нее к общеевропейской культуре образованного слоя населения восточных частей империи; участие выходцев из большинства населявших империю народов в общероссийской хозяйственной, общественной и культурной жизни, в управлении и войсках; появление общероссийского национального сознания и патриотизма.

С другой – покорение многих народов путем завоевания, подавление силой их попыток избавиться от российского господства; иногда – изгнание населения с насиженных мест обитания; обычно – разрушение туземных органов власти; нередко – нарушение привычного образа жизни и традиционного правопорядка; правовое неравенство по признакам территориальным, сословным, вероисповедным или языковым; превращение Сибири, Кавказа и Средней Азии в колонии, служившие интересам Европейской России. Наконец, злосчастная идея России "великой, единой и неделимой", принесящая столько невзгод и способствовавшая поражению антибольшевистских сил в гражданской войне.

Несколько судьбоносных выборов было сделано в XIV–XVII вв. в сфере религиозной. Еще в 1299 году митрополичий престол был перенесен из опустевшего Киева на северо-восток, во Владимир-на-Клязьме, а в 1305 году митрополит Пётр избрал своей резиденцией Москву. Москва стала церковным центром Руси, что сильно подняло ее престиж и содействовало успеху в собирании русских земель. Но в то же время московская церковь подпала под влияние сильной светской власти и порядков, развившихся в московском обществе.

Флорентийская уния 1439 года была отвергнута в Москве, и это решение сохранило на Руси православие. Но оно еще больше усилило в высших церковных и правительственных кругах нетерпимость к инакомыслию в вопросах веры и церковной жизни – нетерпимость, не изжитую до сих пор.

В разгоревшемся к концу XV столетия споре между заволжскими старцами и осифлянами, обострившем проблему соотношения между законом и благодатью, победа (не без помощи светской власти)

досталась осифлянам, начало принуждения взяло верх над началом убеждения. Это наложило глубокий отпечаток на последующую духовную жизнь – религиозную, умственную, нравственную и политическую. "Главноговаривающий" Керенский – духовный потомок заволжских старцев, Ленин по духовному своему складу – осифлянин. Другой пример: по мнению Иосифа Волоцкого, в борьбе с еретиками не только можно, но и нужно прибегать к "мудрому коварству", то есть, к провокации; и в этом у него нашлось много последователей, особенно в НКВД–КГБ.

С другой стороны, важно, что Иосиф Волоцкий развил на русской почве идею тираноборчества (понимая ее, правда, только в смысле духовного неповиновения правителю–еретику), к которой так или иначе восходят все позднейшие учения о сопротивлении неправой власти.

Учреждение в 1589 году патриаршества превратило московскую церковь в автокефальную, каковой она остается и по сей день. Выбор автокефалии повысил престиж московской церкви, но ослаблял связи с другими православными церквями, сужал ее кругозор, способствовал потере ощущения принадлежности к единой вселенской церкви, обращению ее в церковь национальную. Последнее облегчило петровскую реформу церковного управления, а со временем – восприимчивость значительной части духовенства к узкому национализму, ксенофобии, шовинизму, восприимчивость, не изжитую до сих пор.

Важнейшие следствия имели решения, принятые патриархом Никоном. "Исправление" богослужебных книг и некоторых обрядов вызвало раскол не только церковный, но и культурный, всё еще не преодоленный. Решительный отказ части духовенства, монахов и мирян принять никоновы новше-

ства и стремление никониан силой подавить раскол усиливали традиции нетерпимости. Положительной стороной раскола явилось то, что некоторые старообрядческие течения в гораздо большей степени, чем официальная церковь, поощряли грамотность и книжность, трезвость, трудолюбие и бережливость; в противоположность официальной церкви поощрялось сопротивление деспотическим замашкам светских властей.

Другие новведения Никона - усвоенное им чуждое православной традиции учение о верховенстве духовной власти над светской и попытка претворить это учение в жизнь - были решительно отвергнуты. Но отвержение папоцезаризма облегчило уклон в противоположную крайность, к цезарепапизму, уклон, приведший к петровской церковной реформе и далеко идущей зависимости духовенства от светских властей. А привычка к такой зависимости, не преодоленная поместным собором 1917-18 годов, подготовила почву и для животоцерконичества, и для сергианства.

Не менее судьбоносные решения принимались в XV-XVII веках в западной Руси. В 1458 году была восстановлена Киевская митрополия, возглавившая православные епархии великого княжества Литовского и русских земель в Польше. Оттуда пошла тенденция церковного обособления от Москвы, которая в конце концов привела к созданию автокефальной украинской церкви.

Еще важнее по своим последствиям была Берестейная церковная уния 1596 года. Значительная часть белорусского и украинского населения приняла унию, которая на Левобережье Украины и в Киеве продержалась до 1685 г., на Правобережье и в Белоруссии до 1839, а в Галиции, Буковине и Закарпатье до сих пор.

Но многие и на этот раз унии не приняли. Они

не только сохранили в украинских и белорусских землях православие, но и придали ему особый оттенок. С XIV века тесно соприкасаясь с католиками, а в XVI–XVII столетиях еще и с протестантами и униатами, и будучи вынуждены отстаивать православие, западно-русские православные деятели решили прибегнуть к сильнейшему оружию своих церковных противников – образованию. Православные братские школы, а с 1632 года Киево-Могилянская коллегия (будущая академия), созданные по образцу иезуитских коллегий, едва ли не лучших в то время в Европе учебных заведений, за несколько десятилетий подготовили целый слой образованных православных священников. После присоединения в 1667 году Киева к Москве питомцы Киевской коллегии быстро заняли руководящее положение в российской иерархии и создали стройную систему духовного образования по образцу западнорусской, систему, разрушенную большевиками, но последние 50 лет воссоздаваемую.

Важным последствием для общерусской культуры тесного общения образованной части западнорусского населения с культурой польской было ознакомление с польским и латинским языками и заимствование в русский литературный язык из польского большого количества слов латинского происхождения, бывших достоянием западно- и центрально-европейской культуры средневековья и начала нового времени.

Но наиболее судьбоносными последствиями близкого соприкосновения западной Руси в течение нескольких столетий с западными соседями были привычка следить за тем, что происходит на европейском Западе, ощущение важности происходящего там и для Руси, готовность заимствовать оттуда ценные традиции и полезные новшества. Всё

это, принесенное к концу века в Москву, подготовило принятие петровских нововведений и последующую общую умственную и культурную ориентацию на Запад, господствующую в русском обществе и по сие время.

Заслуга Петра в том, что он этому умонстроению наиболее образованной части общества придавал характер идейной основы правительственной политики. В общем этот судьбоносный выбор оказался благотворным. В течение двух столетий почти все положительные меры правительства имели целью введение в России тех или иных западных порядков: организация светского образования, науки и культуры, гражданской власти и военного дела по западноевропейским образцам; постепенное раскрепощение сословий, начиная с дворян при Петре III и Екатерине II и кончая помещичьими крестьянами при Александре II; другие великие реформы Александра II, особенно университетская, судебная и земская; экономическая политика Бунге и Витте, способствовавшая расцвету российской промышленности; введение конституционного строя в 1906 году; крестьянская реформа Столыпина; отмена Временным правительством в 1917 году всех привилегий и правовых ограничений, связанных с сословной или религиозной принадлежностью человека.

Иногда Россия оказывалась даже впереди западноевропейских стран, о чем свидетельствуют отмена смертной казни при Елизавете Петровне; образцовые своды законов, подготовленные и постепенно вводившиеся в действие при Николае II; равноправие женщин, установленное Временным правительством; в международных отношениях — инициатива созыва Гаагской конференции 1899 года, положившей начало новой эпохе в развитии международного права.

Прямыми или косвенными следствиями правительственных мероприятий было знакомство образованной части русского общества с важнейшими западно-европейскими языками и новый этап обогащения русского языка; вхождение России в общеевропейскую культурную среду и переживание вместе с ней главных эпох умственного и культурного развития, начиная с Просвещения; обратное влияние русской культуры на западную.

Немало было и отрицательных последствий петровского выбора: уничтожение патриаршества и введение управления православной церковью по протестантскому образцу; установление абсолютной монархии, просуществовавшей до 1906 года; введение цензуры; дальнейшее усиление (до земской и городской реформ Александра II) централизаторских тенденций в управлении, и без того в московской традиции слишком сильных; углубление (тоже до реформ Александра II) сословных различий, привычка к которым облегчила их возрождение в новых формах большевиками; новый раскол общества на усвоивших европейскую культуру и неусвоивших, который также сыграл на руку большевикам; широко распространенная склонность к обезьянничанью и попуганичайню, поверхностному усвоению попавшихся на глаза западных взглядов, повадок, мод и словечек, к "смеси французского с нижегородским"; слепая реакция на такие излишества – безрассудное антизападничество, мракобесие, ксенофобия, русофобия, характерные для черносотенных течений конца XIX – начала XX вв., потом включенные в позднесталинскую идеологию, а теперь взятые на вооружение "непримиримой оппозицией".

Самым пагубным последствием петровского выбора было усвоение частью интеллигенции

леворадикальных политических учений: якобинства и марксизма. В сочетании с маккиавелизмом (еще одним западноевропейским учением) они стали идейной опорой ленинизма.

Судьбоносные решения были приняты во время Первой мировой войны. В отличие от других главных европейских воюющих стран, где были созданы коалиционные правительства с участием партий, бывших до войны в оппозиции, в России этого сделано не было. Более того, в 1915 году в Государственной Думе был создан оппозиционный Прогрессивный блок, вследствие чего правительство лишилось в ней большинства, на которое опиралось с 1907 года. Руководители блока утверждали, что для успешного ведения войны нужно добиться от императора создания правительства, которое пользовалось бы доверием думского большинства, то есть самого Прогрессивного блока. К концу 1916 года руководство блока решило, что добиться этого не удастся и нужно устранить Николая II, что и было сделано в феврале следующего года.

Было образовано Временное правительство, ядро которого состояло из членов масонской политической организации, которая была очередной организационной формой тайного движения, сложившегося к концу XIX столетия и ставившего себе целью установление в России демократического строя. Главной задачей Временного правительства было "довести страну до Учредительного собрания", что оно и старалось сделать. Но, считая полноту своей власти временной, оно, не дожидаясь Учредительного собрания, приняло целый ряд важнейших решений: утвердило свободу совести, избавило православную церковь и все другие исповедания и религии от вмешательства светских чиновников; обеспечило автономию высшей школы и научных

учреждений; ввело понятие российского гражданина и правовое равенство всех граждан; провело реформу городского и земского самоуправления на основе равенства избирателей, учредило бессловное волостное земство. Благие новшества эти были уничтожены коммунистами, но большинство из них сейчас возрождается. С 1 сентября Временное правительство объявило Россию республикой, каковой она остается до сих пор (фиктивно при коммунистической власти, реально в настоящее время).

Однако правовое положение Временного правительства было весьма шатким. Поистине судьбоносным выбором оказалось решение Николая II отречься за своего сына в пользу великого князя Михаила Александровича. Этим он нарушил действующий закон (Павла I) о престолонаследии, по которому не мог лишить наследника его права на престол (не имел он права и изменить закон самим этим актом, как мог бы сделать до 1906 года). Великий князь заявлением своим об отказе принять престол как бы признал, что имеет на него право, хотя этого права у него не было. Более того, в текст отказа была вставлена фраза о полновластии Временного правительства до Учредительного собрания. Очевидно, что, не обладая такой властью сам, великий князь не мог предоставить ее кому бы то ни было (не мог бы этого сделать и Николай II, с 1906 года полнотой власти не обладавший). Тем не менее, этим не имевшим юридической силы заявлением определялся объем власти Временного правительства. Всё это создавало юридически весьма неопределенное положение. Неопределенность еще более усиливалась тем, что Временное правительство предпочло опираться как на источник своей власти не на указ императора о назначении князя Г. Е. Львова председателем Совета министров,

подписанный в день отречения, а на революцию — источник юридически крайне сомнительный.

Нарушение преемственности власти сильно подорвало авторитет Временного правительства, особенно среди военных, присягавших в свое время на верность императору. Признание Временным правительством революции как источника своей власти как бы заранее оправдывало желающих произвести еще одну революцию и обещало им в случае успеха такую же степень легитимности, фактическое признание "двоевластия", при котором само существование правительства зависело от благорасположения петроградского "совета", а с июня "ВЦИКа советов", чем дальше, тем больше ослабляло его власть. Выступив против попытки генерала Корнилова устранить "двоевластие", Временное правительство окончательно лишило себя остатков авторитета. К осени власть "валялась на улице", и Ленину не составило большого труда ее подобрать.

Состоя из людей высокообразованных, с большими научными и общественными заслугами, но в большинстве слабых политиков, не имевших, к тому же, опыта работы в правительстве, не умевших, да и не желавших, пользоваться в правительственной деятельности принуждением (чего стоило одно упразднение полиции!), Временное правительство оказалось не в состоянии ни с успехом продолжать войну, ни справиться со смертельной угрозой со стороны Ленина и его сообщников.

Человек, не получивший высшего образования (не слушавший лекций, не работавший в семинарах, не знакомый с научным методом, не приобщившийся к университетской среде), с узким умственным кругозором, с примитивным нравственным сознанием, гениальный политик, для которого

власть была высшей ценностью, в молодости ставший профессиональным революционером и больше ничем кроме этой очень своеобразной профессии серьезно не занимавшийся, общавшийся только с узким кругом своих приверженцев, Ленин вознамерился совершить в России революцию, которая привела бы его к власти, и преуспел в этом. В апреле 1917 г. он поставил захват власти как прямую практическую задачу для своих приверженцев, а в октябре добился успеха.

Для осуществления своего замысла он сделал ставку, в первую очередь на людей с пережиточным или атавистическим мифическим сознанием, недоучек и неучей, не усвоивших европейской культуры или усвоивших ее, подобно ему самому, поверхностно. Им нетрудно было внушить несколько мифологем: марксизм – наука, причем единственная истинная наука; согласно этой науке, вся история человечества (после начальной стадии превобытного коммунизма) состоит из борьбы классов, имущих и неимущих, угнетателей и угнетенных; на службе угнетателей находятся "государство" и право (орудия насилия), религия, мораль и гуманитарные науки (средства одурачивания угнетенных и притупления их классовой ненависти к угнетателям); но марксистская наука открыла закон, по которому капиталистический строй – последний эксплуататорский, после него неизбежно наступит бесклассовый коммунистический; нужно только, чтобы рабочие и крестьяне свергли своих угнетателей, буржуазию и помещиков. Нужно отречься от "старого мира", разрушить его "до основанья", разграбить "награбленное", а на месте разрушенного построить "новый мир", в котором, "кто был ничем, тот станет всем". Для этого необходимо, чтобы трудящихся возглавила партия "нового типа", единая идейно, с единой волей и

единством действий, готовая прибегнуть к любым средствам для достижения своей цели – ленинская партия.

Этот основной ленинский миф обладал огромной притягательной и мобилизующей силой в той среде, для которой был предназначен, и дал Ленину возможность захватить и удержать власть в стране. На его основе Ленин создал главную социальную опору своей власти из тех, кто "был ничем", а "стал всем", новое господствующее сословие – коммунистическую партийную номенклатуру. Миф этот продолжал использоваться его преемниками, оброс многими производными мифами (от ленинского же о "советской власти" до горбачевского о "социальном выборе 1917 года") и до сих пор держится, как пережиток, в сознании многих обывателей.

Кроме истых ленинцев (тех, кто уверовал в ленинскую мифологию), в ленинский аппарат захвата, удержания и усиления власти входили или его поддерживали, сотрудничали с ним "попутчики" – приверженцы взглядов и учений, частично совпадавших или отчасти сходных с теми, которых придерживался (или делал вид, что придерживается) Ленин; в той или иной степени одобрявшие ленинскую политику (какой она им представлялась, как они ее понимали). Главным образом – многие революционеры и радикалы различных мастей и толков, с одной стороны, и "буржуазные специалисты", с другой, от ученых и литераторов до министерских чиновников, генералов и тюремщиков. То же нужно сказать и о сталинском аппарате принуждения, в котором "беспартийные большевики" играли большую роль.

Власть свою Ленин использовал, чтобы перечеркнуть почти все прежние благотворные выборы в русской истории (как якобы "феодално-по-

мещицы" или "буржуазно-капиталистические"). По возможности искоренить или извратить их благие последствия. Очень часто — заменить их выборами противоположными. Возродить выборы пагубные и усугубить их плачевные последствия.

Если первым известным выбором в нашей истории (с призванием варягов) был выбор народного волеизъявления и правосудия, то Ленин начал с насильственного переворота, установления диктатуры (по его собственным словам — "систематического, беспощадного, не останавливающегося ни перед какими буржуазно-демократическими формулами подавления сопротивления эксплуататоров"), уничтожения права и замены его произволом ("революционной целесообразностью") и "красным террором". Вместо православия ввел официальное безбожие ("религия — опиум для народа", "род духовной сивухи"), всеми силами и с величайшей жестокостью пытался уничтожить церковь, подавлял духовную свободу, искоренял нравственность ("морально то, что служит делу революции"). Положил начало разрушению светского образования и гуманитарных наук (ученые-гуманитарии — "дипломированные лакеи поповщины"). И так почти во всем.

Насилие и вызываемый им страх, наряду с мифами, стали основными средствами ленинской политики. Сталин (несомненно, "лучший ученик Ленина", "Ленин сегодня") довел насилие до крайних пределов, а страх, хотя после его смерти в гораздо меньшей степени подпитываемый насилием, сохранялся до последних времен коммунистической власти. Старшее поколение, выросшее при Сталине, не может окончательно избавиться от него до сих пор.

Важнейшим новым выбором Сталина было решение развить также до высших пределов вид

принуждения, игравший при Ленине только вспомогательную роль – фикции. Подобно мифам, фикции – утверждения ложные, но в отличие от мифов они предназначались для людей с сознанием рациональным, а не мифическим, и не были нацелены на восприятие их как истинных. Нужно было, чтобы человек рационального склада ума только делал вид, что принимает их за истину (точнее – участвовал в ритуальных утверждениях такого рода), и тем унижал себя, демонстрировал степень власти над собой Ленина, Сталина и их подручных.

Для людей с рациональным сознанием фикциями были как основной ленинский миф, так и его производные.

Изначально фиктивный характер имели почти все новые сталинские идеологемы: о строительстве социализма в одной, отдельно взятой стране; об ужесточении классовой борьбы по мере его построения и о вездесущих врагах народа; о трудовом энтузиазме советских людей (как и само понятие "нового советского человека"); об их счастливой и зажиточной жизни; об окончательном решении в СССР "национального вопроса"; о самой демократической в мире конституции; о свободе совести и религии; о Сталине – величайшем ученом, мудром, родном и любимом отце народов.

Однако были люди, принимавшие сталинские фикции на веру; для них эти фикции играли (и до сих пор играют) роль мифов.

Три поколения жили в обстановке насилия и страха, официальной лжи, мифов и фикций, и у многих выработалась привычка к такой жизни. Им всё еще кажется, что эта в высшей степени ненормальная жизнь как раз была нормальной; обстановка, враждебная личности, была для человека благоприятной, уютной; насилие и страх были порядком и законностью. Мифы и фикции кажутся

утверждениями убедительными, привлекательными, или, по крайней мере, удобными. Такими настроениями в значительной степени питается сегодня "непримиримая оппозиция".

Ленинский выбор был выбором тоталитарного сделала, выбором режима, при котором власть вождя, его сообщников и приспешников распространялась бы на все стороны жизни подвластного населения, все чувства, все помыслы, все поступки каждого человека. Этот идеал беспредельной власти был в какой-то степени достигнут Лениным и в гораздо большей Сталиным. Но далеко не полностью.

Очень многие не приняли ленинского выбора и установленного им и усовершенствованного его преемниками квазитоталитарного режима. Движимые различными побуждениями – от религиозных, нравственных, правовых, политических, философских и научных убеждений до приверженности своему жизненному укладу и привычкам, от материальных интересов до страха за свою жизнь и за своих близких, – они сопротивлялись.

Формы сопротивления разнились и менялись; исповедание веры и отправление религиозных обрядов; уклонение от сотрудничества с ГПУ-НКВД-КГБ, от оговора себя и других при допросах и пытках; правозащитная деятельность; политическая оппозиция; уклонение от членства в коммунистической партии и комсомоле, от участия в официальных мероприятиях (митингах, "выборах", празднествах); неприятие официальной идеологии и идейное противостояние; независимое творчество; частное предпринимательство и частная трудовая деятельность; отказ от напряженного труда (своего рода повальная итальянская забастовка); вооруженная борьба (в белых армиях, повстанческих отрядах, РОА); массовая сдача в плен во время Второй мировой войны, сотрудничество с гер-

манскими и другими оккупационными властями; эмиграция; и многие другие виды независимого поведения. При коммунистическом режиме страна всё время находилась в состоянии гражданской войны – этот давнишний вывод радикальной оппозиции недавно повторил Ельцин.

Отказ от ленинского выбора сам по себе был важнейшим, судьбоносным выбором. И через семьдесят с лишним лет он превозмог.

Превозмог, в основном, как его выразили великие подвижники Сахаров и Солженицын: отвергнуть насилие; взыскать права; жить не по лжи; выбраться из-под глыб коммунистического погрома.

На очереди новый творческий выбор. Делаем ли мы его? Сделаем ли?

Собирался ли Сталин нападать на Гитлера?

Работы бывшего офицера советской военной разведки Виктора Суворова (В. Б. Резуна) "Ледокол" и "День-М", основанные на документах и, главным образом, на мемуарах беллетризованные исторические исследования* заставили историков вновь обратиться к проблеме, не явилось ли германское нападение на СССР 22 июня 1941 года, если не по замыслу Гитлера, то объективно, превентивным ударом?

Ныне мы располагаем документом, который решающим образом, безоговорочно доказывает правоту главного утверждения В. Суворова, – что 6 июля 1941 г. Красная Армия должна была начать вторжение в Германию, Польшу и другие страны Восточной Европы. Этот документ – "Выписка из протокола № 33 заседания Политбюро ЦК ВКП(б). Решение от 4.VI.1941 г.", состоящая из пункта 183. Этот пункт содержит утверждение постановления СНК СССР о предлагаемом наркомом обороны создании "в составе Красной Армии одной стрелковой дивизии, укомплектованной личным составом польской национальности и знающим польский

* Суворов В. Ледокол: кто начал Вторую мировую войну? М., 1992; День-М: когда началась Вторая мировая война? М., 1994.

язык". Постановление предусматривало "создание дивизии осуществить путем переукомплектования к 1 июля 1941 года 238 стрелковой дивизии Средне-Азиатского военного округа поляками и лицами, знающими польский язык, состоящими на службе в частях Красной Армии". Численность дивизии определялась в 10 298 человек*.

Отметим, что подобную же дивизию, только финскую, начали создавать в Красной армии в конце октября 1939 года, за месяц до советского нападения на Финляндию, последовавшего 30 ноября (провокация в Маниле была организована советской стороной 26 ноября)** . Формирование же польской дивизии можно было объяснить только одним обстоятельством – подготовкой советского нападения на Германию, под чьей оккупацией в тот момент была собственно польская этническая территория. Ведь формирование такой дивизии не только нарушало секретные советско-германские договоренности о недопущении "на своих территориях никакой польской агитации"***, но и имело прямую антигерманскую направленность и могло само по себе спровоцировать Гитлера на немедленное нападение. А что дивизию поляков формировали именно для войны против Германии, доказывает докладная записка Л. П. Берии Сталину от 2 ноября 1940 г. В ней нарком внутренних дел сообщал о проведенной НКВД "во исполнение Ваших указаний о военнопленных поляках и чехах" работе. В результате ознакомления со след-

* Ж. "Новая и новейшая история", 1993, № 2, с. 62.

** Семиряга М. И. Советско-финляндская война. М., 1990. С. 30.

*** "Военные архивы России". Вып. 1. М., 1993. С. 20.

ственными делами и бесед с польскими офицерами были выявлены те, кто готов был бы "участвовать в войне с Германией на стороне СССР" как с санкции правительства Сикорского, так и без таковой. "Для прощупывания настроений остальной массы военнопленных, содержащихся в лагерях НКВД, на места были посланы бригады оперативных работников..." В результате было установлено, что "подавляющее большинство военнопленных, безусловно, может быть использовано для организации польской военной части". При этом была особо выделена группа "правильно политически мыслящих" офицеров (Берлинг, Букоемский и др.), которые безоговорочно передавали себя "в распоряжение Советской власти" и мыслили будущую Польшу тесно связанной с Советским Союзом. Им и предполагалось поручить организацию польской дивизии. Берия предлагал, чтобы отобранные офицеры "в конспиративной форме" переговорили со своими единомышленниками в лагерях и отобрали кадры для новой дивизии, штаб которой предполагалось разместить "в одном из совхозов на юго-востоке СССР", причем "организация дивизии и подготовка ее проводятся под руководством Генштаба РККА". Среди военнопленных чехов и словаков также было отбрано 13 офицеров, готовых драться против Германии в составе частей, сформированных в СССР, но только "по приказу Бенеша или, как минимум, своего командира полковника Свободы, ныне находящегося за границей" (НКВД принял меры по вызову Свободы из-за границы)*.

Таким образом, по объему проделанной работы можно заключить, что сталинские указания Берии о поляках и чехах были даны задолго до 2 ноября,

* ж. "Новая и новейшая история". 1993. № 2. Сс. 60-62

вероятно, еще в начале октября. Предлагаемую польскую дивизию можно было начинать формировать в любой момент, хоть 3 ноября 1940 г., хоть 1 января 1941 г., но начали ее формировать только 4 июня 1941 г., чтобы закончить 1 июля. Ведь польскую дивизию, подобно шилу в мешке, не утаишь в течение длительного времени. А она должна оставаться тайной вплоть до начала открытого военного столкновения с Германией. Значит, как и финскую, польскую дивизию надо формировать с таким расчетом, чтобы закончить это непосредственно перед нападением на Германию. Если бы СССР не собирался сам нападать на Германию, а лишь опасался германского нападения, смысла в предварительном формировании польской дивизии не было. Тогда в первые недели войны бои шли бы на советской, а не на польской территории (даже по данным оперативно-стратегических игр высшего состава РККА, проведенных в январе 1941 г., "западным" две-три недели "дозволялось" вести бои на территории территории "восточных"*), и можно было бы, начав формирование польской дивизии с началом войны, подготовить ее к моменту развертывания сражений в Польше, никак не рискуя спровоцировать Германию. Тем более не было смысла держать сформированную польскую дивизию под ружьем целый год, если Сталин действительно думал, как он говорил К. А. Мерецкову, что Советскому Союзу придется вступить в войну только в 1942 году**. Не говоря уже о том, что германская разведка за столь длительный период вре-

* "Военно-исторический журнал". 1993. № 1. С.16; № 8. С. 28.

** Мерецков К. А. На службе народу. 2-е изд. М., 1971. С. 202.

мени наверняка обнаружила бы существование в Красной Армии польской дивизии, что побудило бы германское руководство к принятию соответствующих упреждающих мер, и для советской стороны длительное существование польской дивизии в условиях мирного времени создавало массу трудноразрешимых проблем. Между СССР и Германией продолжал бы действовать договор о дружбе и границах от 28 сентября 1939 года, официально закрепивший раздел Польши и превращавший на практике Советский Союз в невоющего германского союзника. Долго ли согласились бы поляки пребывать в армии такого государства, как бы это сказалось на их моральном состоянии – не на на уровне ли дезертирства? Нет, создавать такую дивизию имело смысл лишь перед самым началом войны с Германией.

Формирование польской дивизии также ни в коем случае нельзя рассматривать как реакцию на конкретные мероприятия Германии по подготовке нападения на Советский Союз. Когда в октябре 1940 г. Сталин дал свои указания Берии насчет военнопленных поляков, план "Барбаросса" еще не был даже разработан, не то что приведен в действие. К 15 октября 1940 г. в Польше и восточных областях Германии было только 30 германских дивизий, среди которых почти не было танковых и механизированных соединений. Конечно, это было на 25 дивизий больше, чем в июле 1940 года*, а

* Мюллер-Гиллебранд Б. Сухопутная армия Германии: 1933–1945. Т. 2. М., 1958. С. 104; Гальдер Ф. Военный дневник. Т. 2. М., 1969. Сс. 186, 191. В состав этих 30 дивизий включены и дислоцированные под Веной дивизии 40-го моторизованного корпуса, развертывание которого в равной мере можно было бы интерпретировать как направленное против Балкан.

директиву о введении плана "Барбаросса" в действие Гитлер подписал 18 декабря*.

Есть, однако, серьезные основания полагать, что существовали планы советского нападения на Германию, относящиеся к более раннему времени, чем октябрь 1940 г. Первое по времени свидетельство такого рода мы находим в воспоминаниях бывшего командующего Балтийским флотом В. Ф. Трибуца, где указывается, что "народный комиссар ВМФ Н. Г. Кузнецов в феврале 1940 года издал специальную директиву, в которой указывал на возможность одновременного выступления против СССР коалиции, возглавляемой Германией и включающей Италию, Венгрию, Финляндию"**.

Такая директива, на первый взгляд, противоречила сложившейся в тот момент международной обстановке: Красная Армия прорвала линию Маннергейма, а правительства Англии и Франции обсуждали планы отправки экспедиционного корпуса в помощь Финляндии против СССР. Казалось бы, Сталин должен был скорее опасаться войны с Англией и Францией, а никак не с Германией, поддерживавшей советские действия против финнов. Однако, как показывает директива Н. Г. Кузнецова, видимо, советское руководство не рассматривало всерьез возможность полномасштабных боевых действий против английских и французских войск и главным потенциальным противником считало Германию и ее союзников. Не исключено даже, что

* Гальдер Ф. Указ. соч. Т. 2. Сс. 251, 310; сб.: Поражение германского империализма во Второй мировой войне. М., 1960. Сс. 200-202.

** Трибуц В. Ф. Балтийцы вступают в бой. Калининград, 1972. С. 29. Когда была опубликована эта книга, Н. Г. Кузнецов был жив и нигде не опроверг эти сведения.

поспешное прекращение войны с Финляндией на сравнительно умеренных условиях в марте 1940 года без достижения главной цели – полной аннексии страны – было вызвано не только угрозой англо-французского вмешательства. Возможно, Сталин хотел избежать затягивания войны даже на два-три месяца (вот-вот должна была наступить весенняя распутица, а финская армия так и не была разгромлена), чтобы скорее высвободить развернутую против Финляндии миллионную армию для действий на другом театре – для вторжения в Германию и Польшу.

В то время мир находился в напряженном ожидании немецкого наступления на Западе, неоднократно переносившегося в период с ноября 1939 по май 1940 года. На востоке Германии и в Польше было оставлено не более 15 второочередных пехотных дивизий, частью не закончивших формирования и малобоеспособных. Отразить вторжение даже ослабленных финской войной дивизий Красной Армии они бы не сумели. Между тем в марте 1940 г. Сталин предпринимает с виду довольно иррациональный шаг, о мотивах которого до сих пор гадают и спорят историки. 5 марта Политбюро ЦК ВКП(б) приняло решение о расстреле "находящихся в лагерях для военнопленных 14700 человек бывших польских офицеров, чиновников, помещиков, полицейских, разведчиков, жандармов, осадников (польских поселенцев на украинских и белорусских землях. – Б. С.) и тюремщиков", а также "арестованных и находящихся в тюрьмах западных областей Украины и Белоруссии в количестве 11 тыс человек членов различных к-р, шпионских и диверсионных организаций, бывших помещиков, фабрикантов, бывших польских офицеров, чиновников и перебежчиков". Почти все названные лица числом 21857 человек были расстреляны в период с

3 апреля по 16 мая 1940 года*. Таким образом, было уничтожено подавляющее большинство оказавшихся в СССР польских пленных и арестованных перечисленных категорий. Ряд выдвигавшихся до сих пор объяснений, почему польские пленные были уничтожены весной 1940 года, не представляются нам убедительными. Если предположить, что здесь сыграла роль нелюбовь Сталина к полякам и его желание отомстить за поражение в советско-польской войне 1920 года, то придется вспомнить, что Гитлер не любил поляков еще больше, чем Сталин, но польских офицеров, оказавшихся в германских лагерях, так никогда и не расстрелял. Если же отстаивать ту точку зрения, что ликвидация польских офицеров и представителей имущих классов и интеллигенции была вызвана стремлением упрочить советский контроль над населением присоединенных к СССР восточных земель Польши, то возникает вопрос, почему в случае с прибалтийскими государствами и Бессарабией оказалось достаточным депортации бывших офицеров, помещиков и полицейских (мощная волна таких депортаций началась, в частности, 14 июня 1941 года, за неделю до советско-германской войны), заключить в лагеря, а расстреляно было лишь меньшинство подобных "контрреволюционеров". А ведь среди польских офицеров, плененных Красной Армией, большинство были выходцами из той части Польши, которая была оккупирована Германией, и к Западной Украине и Западной Белоруссии они отношения не имели. Да и главным врагом Советов здесь было украинское подполье. Зато картина приобретает законченную ясность, если предположить, что польские офицеры были казнены в пред-

* Военные архивы России. Вып. 1. Сс. 126-127, 160-161.

дверии планировавшегося советского вторжения в Польшу и Германию.

В случае такого вторжения Польша стала бы союзником СССР, и польских пленных уже нельзя было бы держать дальше в лагерях. Их пришлось бы выпустить и направить в новую польскую армию, но пережившие советский плен офицеры в массе своей не питали симпатий ни к коммунизму, ни к Советскому Союзу. Польская армия под их командованием не могла считаться надежной, с советской точки зрения. В результате фильтрации были отобраны стукачи НКВД и "правильно политически мыслящие" офицеры. Им подарили жизнь. Правда, часть из них вместе с уцелевшими офицерами из числа попавших в плен в советские руки и позднее интернированных в Прибалтике всё равно в 1942 году ушла вместе с армией В. Андерса в Иран. Зато оставшиеся, в том числе уже упоминавшийся З. Берлинг, оказались вполне надежными и, начиная с 1943 года, активно участвовали в формировании польских военных частей просоветской ориентации. Правда, в сформированных в СССР двух армиях Войска Польского не менее половины офицеров были советскими гражданами, знавшими (хотя нередко и не знавшими) польский язык, а среди офицеров-поляков было немало эмигрантов-коммунистов, как, например, командующий 2-й армией К. Сверчевский. Командующий же 1-ой армии С. Г. Поплавский был попросту кадровым советским военачальником. Но зато эти войска позднее оказались вполне лояльны поставленному Сталиным коммунистическому правительству Польши. Так что поляков в Катыни и других местах расстреляли совсем "не зря".

Очень похоже, что, как мы уже предполагали выше, Сталин торопился в марте поскорее заключить мир с Финляндией, чтобы высвободить мил-

лионную армию для возможных действий против Германии. Он хотел воспользоваться ослаблением германских сил на Востоке, где к моменту начала наступления на Западе 10 мая 1940 года оставалось не более 15 второочередных дивизий. Эти дивизии были гораздо менее боеспособны, чем те 15, с которыми Финляндия встретила советское вторжение в ноябре 1939 года. И неслучайно, думается, к маю 1940 года уже в основных чертах был разработан оперативный план развертывания действий Красной Армии против Германии. По свидетельству А. М. Василевского, в то время – первого заместителя начальника оперативного управления Генштаба: "С середины апреля 1940 года я включился в ответственную работу Генерального штаба – работу над планом по отражению возможной агрессии. Справедливость требует отметить, что главное к тому времени было уже выполнено. В течение всех последних лет подготовкой плана непосредственно руководил Б. М. Шапошников, и Генштаб к тому времени завершал его разработку для представления на утверждение в ЦК партии". Главным противником в плане называлась Германия, а ее вероятными союзниками – Италия, Финляндия, Венгрия и Румыния – почти те же государства, что были перечислены в февральской директиве Н. Г. Кузнецова. Предполагалось, что главные силы германской армии будут сосредоточены к северу от устья р. Сан. Там же планировалась и концентрация основных сил Красной Армии. При этом считалось, что "Германии потребуется для развертывания сил на наших западных границах 10–15 дней до начала их сосредоточения"*.

А. М. Василевский также отмечает, что "в мае

* Василевский А. М. Дело всей жизни, 6-е изд. М., 1988. Кн. 1. Сс. 100–101.

1940 года по указанию начальника Генерального штаба Б. М. Шапошникова нами, руководящими сотрудниками Генштаба, был подготовлен для доклада в Политбюро ЦК ВКП(б) проект решения о создании Главного Командования на период войны”*. Эти действия вполне вписываются в план подготовки нападения на Германию весной или летом 1940 года. Тогда все германские силы были сосредоточены на Западе и об их нападении на СССР и речи быть не могло. Вероятно, срок возможного вторжения в Польшу и Германию был увязан с развитием давно ожидаемого германского наступления против Франции. Сталин, рассчитывая, что Гитлер увязнет на линии Мажино, мог планировать нанести Германии с Востока смертельный удар. Однако эти расчеты были сорваны. Как вспоминает Л. М. Сандалов, в штабе Западного особого военного округа весной 1940 года сокрушенно покачивали головами: кто бы мог подумать, что немцам потребуется лишь немногим более двух недель, чтобы разгромить основные силы французской армии?”**

Нападение на Германию пришлось отложить, и в середине июня советские дивизии вошли в Прибалтику, а в конце этого же месяца – в Бессарабию и Сев. Буковину. Характерно, что подготовка к этим операциям не потребовала много времени. Это указывает на то, что еще до того, как определилась судьба кампании на Западе и до того, как СССР в связи с этим принял решение поскорее осуществить аннексию территорий, выторгованных у Гитлера, в западных округах уже были сосредоточены десятки дивизий с соответствующими запасами снабже-

* Там же. Кн. 2. С. 291.

** Сандалов Л. М. Пережитое. М., 1966. С. 54.

ния, которые и заняли прибалтийские и румынские территории. Можно предположить, что при другом развитии событий во Франции эти и многие другие дивизии двинулись бы сначала в Восточную Пруссию и Польшу.

Нас не должно вводить в заблуждение, что план, разрабатывавшийся весной 1940 года, как и все предыдущие и последующие, предусматривал лишь ответные действия после германской агрессии. Ведь когда в июне 1939 года К. А. Мерецкову поручили разработать операцию против Финляндии, она тоже стыдливо именовалась "контрударом"* , хотя ожидать в тот момент финского нападения на советскую территорию мог разве что сумасшедший. В Советском Союзе вещи не называли своими именами даже в самых секретных документах. В Германии в этом отношении были всё-таки менее последовательными.

Вступление Красной Армии в Сев. Буковину особенно встревожило Гитлера, поскольку отнесение этой территории к сфере советских интересов не было оговорено советско-германскими соглашениями. К тому же это создавало угрозу румынскому нефтяному району, игравшему важную роль в обеспечении Германии энергоносителями. Эту роль, однако, не следует преувеличивать. Так, например, в 1941 году авиагорючего в Германии было произведено 889 тыс. т, главным образом на заводах синтетического горючего, а импортировано - 12 тыс. т. Роль импорта была более значительной в снабжении автобензинами, но и здесь она не была решающей - в 1-м квартале 1944 года он

* Мерецков К. А. Указ. соч. Сс. 177-178.

достигал 43% от общего потребления*. Вскоре после советской оккупации румынской территории, в июле 1940 года, германские дивизии начали перебрасываться на Восток, а в Генштабе сухопутных сил стали разрабатываться первые варианты планов ведения войны против СССР**. В то время советские войска уже отказались от оккупации всей Румынии, и было ясно, что непосредственной угрозы советского нападения на Германию не существует. Да и немецкие планы разрабатывались совсем не в качестве превентивного удара. Так, в разработке генерал-майора Маркса от августа 1940 года прямо отмечалось: "Нам было бы выгодно, чтобы русские вели наступательные действия, но они нам такой услуги не окажут. Следует рассчитывать на то, что русская сухопутная армия будет вести оборонительные бои, а активные действия выпадут на долю военно-воздушных и военно-морских (подводные лодки) сил"***. Кстати, в чисто тактическом смысле этот прогноз не оправдался в первые дни войны: советская авиация сразу же была уничтожена и активности не проявляла, флот, за исключением обстрелов Констанцы, также почти не вел активных действий, только сухопутные войска нанесли контрудары, правда, слабо подготовленные и лишь усугубившие положение Красной Армии. Но слова Маркса показательны для настроений в среде германского руководства: при условии

* Сб.: Промышленность Германии в период войны 1939-1945 гг. Пер. с нем. М., 1956. Сс. 148, 252.

** Гальдер Ф. Указ. соч. Т. 2. Сс. 65, 68. Записи от 26 и 27 июля 1940 г.

*** Филиппи А. Припятская проблема. Пер. с нем. М., 1959. С. 148.

сосредоточения достаточного количества германских войск на Востоке первый удар со стороны Красной Армии считался скорее не помехой, а фактором, способствующим реализации германских планов. После финской войны боеспособность Красной Армии рассматривалась не слишком высоко, и считалось, что наступающие советские дивизии легче угодят в германские мешки. Германский план нападения на СССР готовился вовсе не как превентивный удар.

Характерно, что подписанная Гитлером и визирированная Йодлем и Кейтелем 18 декабря 1940 года директива № 21 "Вариант "Барбаросса" была отпечатана в 9 экземплярах и потому не содержала ничего о возможности удара со стороны России. Среди узкого круга маскировка не требовалась. В директиве просто говорилось, что "немецкие вооруженные силы должны быть готовы к тому, чтобы еще до окончания войны с Англией победить путем быстротечной военной операции Советскую Россию"*.

Другое дело директива по сосредоточению войск по плану "Барбаросса" от 31 января 1941 года, подписанная главкомом сухопутных сил Браухичем, отпечатанная в количестве 30 экземпляров и предназначенная для командного состава до начальников штабов корпусов включительно. Для такого широкого круга лиц уже требовалось определенное пропагандистское обоснование будущего нападения на СССР. И такое обоснование в директиве имелось: "В случае, если Россия изменит свое нынешнее отношение к Германии, следует в качестве меры предосторожности осуществить широкие подготовительные меры, которые позволили

* Сб.: Поражение германского империализма во Второй мировой войне. С. 200.

бы нанести поражение Советской России в быстрой кампании еще до того, как будет закончена война против Англии”*. Тезис о возможной будущей угрозе со стороны СССР лишь использовался для оправдания подготовки вторжения, не будучи его причиной. Однако в процессе подготовки “Барбароссы” возможность советского превентивного удара германским командованием не исключалась, особенно по мере того, как всё труднее становилось маскировать подготовку операции. Во многом опасениями такого удара можно объяснить сугубо оборонительные задачи, которые должна была бы выполнять на первом этапе 11-я германская армия в Румынии. А 5 июня 1941 года Гальдер зафиксировал в своем дневнике опасения Гитлера насчет возможного советского воздушного десанта в Румынии**. В плане мероприятий к операции “Барбаросса”, осуществлявшихся с 1 июня 1941 года, предусматривалось с 18 июня более не маскировать намерение наступать против России, а на 21-22 июня, в случае, если столкновение с Красной Армией произойдет еще до начала германского наступления, то есть если советская сторона все-таки попытается нанести упреждающий удар, то германскому вермахту “предоставляется свобода действий”***

Германская сторона достаточно реалистично оценивала возможности Красной Армии и советской экономики. В справке “Вооруженные силы

* Там же. С. 203. См. также: Филиппи А. Указ. соч. С. 158.

** Гальдер Ф. Указ. соч. Т. 2. С. 562.

*** Поражение германского империализма во Второй мировой войне. Сс. 217-219.

Союза Советских Социалистических Республик на 1 января 1941 года", ставшей приложением к директиве по сосредоточению войск от 31 января 1941 г., отмечалось, что "вооружение Красной Армии большей частью представляет собой копии с иностранных образцов", что "большую часть самолетного парка составляют самолеты второго класса", что "слабость Красной Армии заключается в отсутствии гибкости у командиров всех степеней, в тенденции к схематизму, в недостаточной для современных требований боевой подготовке, в страхе перед ответственностью и в недостатке организации, ощущаемой во всех областях". Указывалось также, что "особенно слабым местом в настоящее время является снабжение горючим. Хотя в количественном отношении горючего имеется достаточно, но качество его, особенно бензина для авиационных моторов, невысокое". Германская разведка сомневалась, "будет ли промышленность в состоянии обеспечить в случае затяжной войны снабжение оружием, боеприпасами, обмундированием, автотранспортными средствами и прочими видами боевой техники в достаточном количестве и хорошего качества". При этом утверждалось: "Сила Красной Армии основывается на численности войск и на количестве оружия, на неприхотливости, упорстве и храбрости солдата. Красной Армии способствуют обширность территории и бездорожье страны". Германские генштабисты полагали, что в военное время могут быть мобилизованы 11-12 млн человек, но выражали сомнение, что такую массу призывников можно будет обучить и обеспечить необходимой техникой и командным составом. Считалось также, что авиационная промышленность вряд ли будет способна обеспечить восполнение потерь в ходе войны, а отвлечение горючего и транспорта для

нужд фронта может парализовать промышленность и сельское хозяйство*.

В целом недостатки Красной Армии, носившие долговременный характер, были подмечены верно. В справке подчеркивалось, что мероприятия, принятые после советско-финской войны, могут дать заметный успех "только по истечении ряда лет, если не десятилетий"**. Вместе с тем, возможности советской экономики оценивались без учета возможной помощи Великобритании и США, благодаря которой советская промышленность смогла удовлетворить потребности фронта в вооружении и технике. Недоучли немцы и способность советского режима бросать в бой необученное и невооруженное пополнение, а также сократить до самого жесткого минимума потребление гражданского населения.

Советские планы, очевидно, разрабатывались параллельно германским, но независимо от них.

* Сб. военно-исторических материалов Великой Отечественной войны. Вып. 16. сс. 77-80. Конечно многие недостатки, в частности, дефицит горючего, отмеченные германской разведкой, серьезно осложняли для Красной Армии ведение наступательной войны. Так, на 1 мая 1941 года Красная Армия была обеспечена различными видами авиационных бензинов от 10 дней до 3 месяцев 19 дней ведения боевых действий, а автобензином - на 1,5 месяца ("Скрытая правда войны: 1941 год". М., 1992. Сс. 350-351). Но, во-первых, до начала июля запасы горючего рассчитывали пополнить, а, во-вторых, и вермахт, рассчитывая на блицкриг, вступил в войну с СССР, имея только половину от 6-ти месячной потребности в авиабензине и одну четверть - в автобензине, так что осенью запасы должны были быть исчерпаны (Гальдер Ф. Указ. соч. Т. 2. С. 574. Запись от 13 июня 1941 г.).

** Сборник военно-исторических материалов Великой Отечественной войны. Вып. 16. С. 80.

После войны с Финляндией были приняты меры по повышению боеспособности Красной Армии. Их результаты были частично оценены на совещании высшего комсостава в декабре 1940 года. В заключительном выступлении нарком обороны С. К. Тимошенко, хотя и признал пагубность существовавшей прежде системы боевой подготовки – “проводить занятия на условностях, кабинетным методом” и что “работа по перестройке системы учебы... требует длительного времени и упорного труда”, но в общем расценивал состояние Красной Армии довольно оптимистично. Он утверждал, что “мы смело, по-новаторски начали подходить к опыту современного военного искусства”, что “Красная Армия располагает отличным личным составом и всеми новейшими средствами вооруженной борьбы”. Нарком также подчеркнул, что “советские войска являются единственными”, кто с успехом осуществил прорыв современной оборонительной линии на Карельском перешейке. Признав, что “боевая подготовка и сегодня хромает на обе ноги”, С. К. Тимошенко провозгласил, что для “выполнения задач боевой подготовки 1941 года Красная Армия располагает всем необходимым”, имея “растущий командный состав, крепкое и устойчивое политико-моральное состояние войск и материальную базу”*. Оптимизм наркома нашел подтверждение: “Проведенное весной 1941 года инспектирование боевой подготовки показало, что в целом уровень боевой выучки личного состава возрос”**. Очевидно, подчиненные не хотели обма-

* Русский архив: Великая Отечественная. Т. 12. Кн. 1. М., 1993. Сс. 338, 340, 363, 364.

** Сб.: Советские вооруженные силы: вопросы и ответы. М., 1987. С. 196.

нывать ожидания своего шефа и докладывали, "как надо". Лишь война не оставила от этого оптимизма камня на камне.

Решив, по всей видимости, что недостатки, выявленные финской войной, в основном преодолены, руководство армии и страны разрабатывало широкомасштабные стратегические планы. Представленный 18 сентября 1940 года наркоматом обороны Сталину и Молотову план стратегического развертывания предполагал, что Германия сможет выставить против СССР до 173 дивизий и до 12 000 самолетов. Ожидалось также, что против СССР будет воевать Финляндия, бывшая в состоянии выставить 15–18 дивизий, Румыния могшая использовать до 33 дивизий и до 1100 самолетов, а также Венгрия, способная ввести в бой до 18 дивизий. Ожидалось, что всего с Запада Красной Армии будут противостоять 253 дивизии, 10 550 танков и 15 100 самолетов. Против них предусматривалось ввести в дело 142 стрелковые, 7 моторизованных, 16 танковых и 10 кавалерийских дивизий, а также 15 танковых бригад, поддержанных 6422 самолетами, что эквивалентно 182,5 дивизиям. Несмотря на такое очевидное, казалось бы, неравенство сил, планы советского командования предусматривали не оборону, а нанесение решительных ударов, в зависимости от обстановки, либо к югу от Брест-Литовска, с тем чтобы мощным ударом в направлениях Люблин и Краков и далее на Бреслау (Братислав*) в первый же этап войны отрезать Германию от Балканских стран, лишить ее важнейших экономических баз и решительно воздействовать на Балканские страны в вопросах их участия в войне", либо "к северу от Брест-Литовска с задачей нане-

* Так в документе. – Б. С.

сти поражение главным силам германской армии в пределах Восточной Пруссии и овладеть последней” (предполагалось, что основные силы вермахта будут развернуты к северу от устья р. Сан)*.

11 марта 1941 года под впечатлением результатов оперативно-стратегических игр, проведенных в январе того же года, план стратегического развертывания на Западе был изменен. Предпочтение было отдано южному варианту, поскольку ”развертывание главных сил Красной Армии на Западе с группировкой этих сил против Восточной Пруссии и на варшавском направлении вызывает серьезные опасения в том, что борьба на этом фронте может привести к затяжным боям” (в укрепленном районе Восточной Пруссии и на линии старых русских крепостей в Польше). Теперь по плану предполагалось, что Германия выставит против СССР 200 дивизий, Финляндия – 18, а также 26 отдельных батальонов, Румыния – 30 и Венгрия – 20 дивизий, поддержанных 10810 танками и 11600 самолетами. Красная Армия противопоставляла им 260 дивизий. Теперь, в отличие от сентября 1940 года, их поддерживали не 159, а 253 авиационных полка, в которых должно было насчитываться более 10 тысяч самолетов (не считая морскую авиацию)**.

Вероятно, в связи с принятием нового плана стратегического развертывания во второй половине марта 1941 года все войска Западного особого военного округа получили приказ привести свои части в состояние мобилизационной готовности согласно мобилизационному плану***.

* ”Военно-исторический журнал”, 1992, № 1. Сс. 24–29.

** ”Военно-исторический журнал”, 1992, № 2. Сс. 18–22.

*** Хоффман Й. Указ. соч. С.20.

В плане стратегического развертывания Красной Армии бросается в глаза резкое завышение сил Германии и ее союзников. Почему-то считалось, что Германия располагает 260 дивизиями против 316,5 дивизий у СССР*. Между тем, население Германского Рейха в довоенных границах было в два с половиной раза меньше населения СССР. Поэтому нелепо было предполагать, что вермахт сможет содержать сухопутные силы с числом дивизий лишь на 17% меньшим, чем в Красной Армии. В действительности же к 22 июня 1941 года вермахт вместе с войсками СС располагал 208 дивизиями и 3 механизированными бригадами, включая сюда одну парашютно-десантную дивизию Люфтваффе, а также охранные и полицейские дивизии. Из них в июне в нападении на СССР участвовали 127 дивизий и 3 мехбригады, в июле на Восток было переброшено дополнительно 20 дивизий, а в августе – еще 2**. Общее число дивизий вермахта советский Генштаб превеличил в 1,3 раза, а число дивизий, предназначенных для вторжения в СССР – в 1,5 раза (с учетом 37 союзных дивизий – в 1,6 раза). Еще разительнее разрыв между советскими оценками и германской реальностью по танкам и самолетам, В июне 1941 года вермахт располагал примерно 4030 танками, из которых 350 было в Северной Африке, а 3680 – на Востоке (из которых около 1700 составляли сильно устаревшие трофейные французские и чехословацкие танки)***. Финская армия танков почти не имела, а румынская и венгерская

* Подсчет по: Мюллер-Гиллебранд Б. Указ. соч. Т. 3. М., 1976. Сс. 362-409.

** Того же автора: Т. 2. М., 1958. Сс. 208, 257-264.

*** Там же, с. 19; Хоффман Й. Указ. соч. С. 20.

располагали лишь шестьюстами устаревших машин и испытывали большие проблемы с запчастями. Численность танков в армии вторжения была преувеличена в 2,5 раза. С авиацией дело обстояло не лучше. 22 июня 1941 года германские ВВС смогли сосредоточить против СССР 1830 боевых самолетов (из них 1280 боеспособных), в том числе 1300 бомбардировщиков. К этому добавились 307 финских машин, более 600 румынских и до 500 венгерских*. Вместе это дает около 3300 боевых машин, что в 3,5 раза меньше оценки, данной Генштабом Красной Армии. Невольно закрадывается подозрение, что силы противника преувеличивались сознательно, чтобы оправдать развертывание собственных сил и средств. Ведь к июню 1941 года Красная Армия располагала 23106 танками, из которых 80,9% считались боеготовыми. В западных округах насчитывалось 12782 танка, в том числе боеготовых – 10540. До 22 июня в эти округа поступило еще 206 танков. Здесь было сосредоточено и 1475 из 1864 танков KV и Т-34, равных которым вермахт не имел**. По общему числу танков

* Сб.: Мировая война 1939–1945. Пер. с нем. М., 1957. С. 471; Типпельскирх К. История Второй мировой войны. Пер. с нем. М., 1956; История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941–1945 гг. М., 1961. Т. 2. С. 9; сб. Великая Отечественная война Советского Союза 1941–1945: краткая история. 3-е изд. М., 1984. Сс.35–36.

** Золотов Н. П., Исаев С. И. "Боеготовы были...". "Военно-исторический журнал", 1993, № 11. Сс. 75–77. Здесь же отмечается, что широкобытующая в отечественной историографии цифра 73 процента неисправных (требующих капитального и среднесрочного ремонта) танков старых образцов в войсках западных округов взята из докладной записки, написанной уже после начала войны и призванной оправдать быстрый разгром советских танковых войск в приграничных сражениях.

Красная Армия превосходила вермахт в 5,8 раза. Соотношение танков, сосредоточенных в районе советско-германских границ, также было благоприятно для советской стороны – 3 к 1. Столь же значительным было преимущество советской стороны в области авиации. Только с начала 1939 года по 22 июня 1941 было произведено 17745 боевых самолетов, в том числе 3719 – новых типов. В строю находилось также примерно такое же число машин, выпущенных до 1939 года*. По плану стратегического развертывания, принятому в марте 1941 г., более трех четвертей всех авиационных полков предполагалось использовать на Западе, остальные – на Востоке и в ПВО страны. В этом случае число боевых самолетов в западных кругах следует оценить более чем 25 тыс. По некоторым данным, в войсках западных округов к началу войны было лишь 7230 боевых самолетов, в том числе 1540 – новых конструкций**, но, скорее всего, эта цифра преуменьшена и относится лишь к боеспособным машинам, да и то не ко всем. В любом случае, это больше авиации, задействованной по плану "Барба-

* Мариничев В. "В небе не найдешь следа". ж. "Нева", 1986, № 6. Сс. 177–179. Данная работа является пока единственным в отечественной историографии объективным исследованием, посвященным анализу соотношения численности и боеспособности советских и германских ВВС в период войны.

** Сб.: Советские вооруженные силы: вопросы и ответы. С. 218. Эти цифры также противоречат сведениям о том, что еще в сентябре 1940 г. на Западе было развернуто 159 полков авиации с 6422 самолетами, а уже в марте 1941 г. там, согласно плану стратегического развертывания, было сосредоточено 253 авиаполка, которые, даже если принять, что средняя укомплектованность осталась на уровне сентября 1940 года, должны были иметь в своем составе минимум 10,2 тыс самолетов ("Военно-исторический журнал", 1992, № 1. С. 27; № 2. С. 22).

росса", в 2,2 раза, если же брать в расчет лишь боееспособные самолеты – то в 3,3 раза. Советские самолеты новых типов не уступали германским. Из германских же союзников самолеты, сравнимые с германскими и новыми советскими, были лишь у Финляндии, но к ним не хватало запчастей. Запчастями не были обеспечены и устаревшие французские самолеты ВВС Венгрии и Румынии, не проявлявшие большой активности в боевых действиях. Так что, и по боевым самолетам советское превосходство могло рассматриваться Генштабом РККА как подавляющее.

14 мая 1941 года руководство Наркомата обороны обратилось к Сталину с предложением нанести превентивный удар по германской армии, сосредоточенной у советских границ. Главный удар предполагалось нанести на юго-западном направлении. Вспомогательный удар планировался на Варшаву, а при благоприятных обстоятельствах – и против Румынии. На юго-западном направлении 152 советские дивизии должны были разбить 100 германских* (что было, кстати сказать, абсолютно невозможно хотя бы потому, что таких сил ни в мае, ни в июне вермахт на этом направлении не имел). Несомненно, в рамках этого плана с середины мая началось выдвижение к западным границам из внутренних округов четырех армий резерва Главного Командования. С середины же июня к границе были двинуты 32 стрелковые дивизии резерва западных приграничных округов, которым было предписано к 1 июля сосредоточиться в 20–80 км от государственной границы. Это также указывает на начало июля как на время возможного советского наступления. Кроме того, 14 мая

* "Военно-исторический журнал", 1992, № 2. Сс. 17–18.

Главный военный совет признал необходимым на-
править основные усилия военной пропаганды на
подготовку личного состава к ведению "наступа-
тельной и всеокрушающей войны". На заседании
совета 4 июня (в день, когда было принято решение
о формировании польской дивизии) А. А. Жданов
заявил: "Мы стали сильнее, можем ставить более
активные задачи. Война с Польшей и Финляндией
не были войнами оборонительными. Мы уже всту-
пили на путь наступательной политики"*.

Возможно, слова о необходимости упредить Гер-
манию и нанести удар первыми в предложениях
Наркомата обороны от 15 мая были опять-таки во
многом пропагандистской маскировкой. Потому
что германского нападения СССР в тот момент не
ожидал. Сталин отказался подписать "подготовлен-
ную Генштабом 12 июня 1941 г. директиву о приве-
дении войск в полную боевую готовность"**. Ско-
рее всего, советское военное и политическое
руководство стало жертвой германской дезинфор-
мации о том, что в 1941 г. предстоит вторжение на
Британские острова. Эта дезинформация воплоти-
лась в комплекс мероприятий по плану "Акула".
Кульминацией стала публикация и немедленная
конфискация статьи Й. Геббельса "Крит как при-
мер", появившейся в "Фелькишер Беобахтер" утром
13 июня и еще в ночь накануне конфискованной с
таким, однако, расчетом, чтобы часть номеров
успела попасть к подписчикам и в посольства в
Берлине. В статье содержались намеки на пред-
стоящую германскую высадку в Англии. Геббельс с

* Киселев В. Н. "Упрямые факты начала войны". "Военно-
исторический журнал", 1992, № 2. С. 15.

** Сб.: Советские вооруженные силы: вопросы и ответы. С.
219.

удовлетворением писал в своем дневнике 14 июня, что английские средства массовой информации "уже заявляют, что наше развертывание против России – чистый блеф, с помощью которого мы рассчитываем замаскировать подготовку к вторжению в Великобританию/.../ Русские, кажется, еще ни о чем не подозревают"* . Скорее всего, скандал со статьей Геббельса во многом спровоцировал известное заявление ТАСС вечером 13 июня, в котором опровергались слухи о возможности советско-германского конфликта и провозглашалась верность Германии и СССР ранее принятым обязательствам. Реакция германской стороны, вернее, отсутствие реакции на это заявление, вполне укладывалось в схему, что развертывание на Востоке – дезинформационное прикрытие подлинного плана вторжения в Англию. Сталин на несколько дней успокоился и отдал приказ о выдвижении к границе дивизий окружных резервов. Интересно, что более раннее предложение о нанесении превентивного удара против Германии было датировано 15 мая 1941 г. – днем, когда первоначально намечалось начать операцию "Барбаросса", о чем было известно в Москве. Получалось, что срок прошел, а вторжения не последовало. Это укрепляло убежденность в том, что данные о подготовке вторжения в СССР – дезинформация, и побуждало продолжать подготовку Красной Армии к вторжению в Германию и Польшу. 4 июня 1941 г., когда одновременно состоялось заседание и Политбюро ЦК, и Главного военного совета, на Политбюро наверняка обсуждались в основном военные вопросы и, скорее всего, помимо решения о формировании польской дивизии, был утвержден план и

* "Неизвестная Россия". Вып. 2. М., 1992. С.101.

сроки "контрудара" против Германии, намеченного, судя по срокам формирования польской дивизии и выдвижения дивизий окружных резервов, на начало июля. Если бы нападать первой советская сторона не предполагала, то резервные дивизии для отражения германского вторжения надо было бы продвигать не к границе, а наоборот сосредотачивать на тыловых рубежах, хотя бы по линии старой госграницы, где они могли бы остановить и отбросить противника. В этом случае укрепления на новой границе надо было бы занять гарнизонами, а основную массу полевых войск и авиации от границы отвести, чтобы они не пострадали от первого германского удара. Но, как признавал на следствии бывший командующий Западным особым военным округом Д. Г. Павлов, "авиацию разместили на полевых аэродромах ближе к границе, на аэродромах, предназначенных для занятий на случай нашего наступления, но никак не обороны"*.

Вторжение вермахта в Великобританию в обстановке лета 1941 г. могло казаться советскому руководству вполне осуществимым делом. На самом же деле, потерпев поражение в воздушной "битве за Британию", Гитлер еще 12 октября 1940 г. отказался от оккупации Британских островов. Но об этом стало известно лишь после войны, а в тот момент советская сторона не располагала надежными данными о том, что относительная слабость германской авиации исключала успех высадки в Англии. Концентрация германских дивизий на советских границах (к началу мая здесь было около 50 дивизий, включая 2 танковые) никак не могла помешать вторжению в Англию, для которого требовалось 35-

* Там же.

40 дивизий. Правда, для такого вторжения требовалась основная часть танковых и моторизованных дивизий, но вплоть до середины июня этих дивизий на Востоке почти и не было. Авиацию для "Барбароссы" стали перебрасывать лишь после 1 июня, а 14 из 17 танковых и все 12 моторизованных дивизий – после 10 июня, а исходные позиции они заняли лишь 21 июня*. Вплоть до прибытия последней волны немецких дивизий Сталин мог думать, что вторжение будет не в СССР, а в Англию. Поражение же Англии могло поставить СССР в крайне сложное положение. Германия не только смогла бы бросить на Восток всю свою авиацию и дополнительных 15–20 дивизий, но и крайне затруднила бы получение поставок из США, поскольку северный, основной маршрут через Мурманск и Архангельск был бы тогда невозможен. В случае же, если бы летом 1941 г. Гитлер планировал вторгнуться в Англию (такое вторжение не было жестко ограничено временем и могло состояться в любое время с конца мая до начала октября), то советскому вторжению на восточных границах смогли бы противостоять лишь силы, даже с учетом армий союзных стран, уступавшие Красной

* Сб.: Поражение германского империализма во Второй мировой войне. Сс. 65–66, 212–224. На Востоке к началу июня было 76 пехотных, 1 кавалерийская и 3 танковых дивизии, в Финляндии и Сев. Норвегии – еще две горно-стрелковых и 1 пехотная дивизии, а также боевая группа войск СС "Север". Советская военная разведка сильно преувеличивала германские силы на границах СССР, утверждая, что здесь уже к 1 июня 1941 г., исключая Финляндию и Норвегию, было сосредоточено 103–107 германских дивизий, включая 12 танковых, 7 моторизованных и 1 "мотокавдивизию", а с учетом венгерской и румынской армий число дивизий оценивалось в 130, почти вдвое больше, чем было на самом деле ("Военно-исторический журнал", 1992, № 2. С. 39).

Армии по числу дивизий вдвое, а по танкам и самолетам – в 10–15 раз.

Только 18 июня, когда вермахт уже перестал маскировать подготовку к вторжению, Молотов обратился в Берлин с просьбой принять его, но согласия не получил*. 20 июня Главный военный совет еще успел утвердить директиву о подготовке личного состава к "наступательной войне"**, но уже 21 июня пришлось взглянуть правде в глаза и отдать директиву о приведении войск западных округов в полную боевую готовность. Эта директива безнадежно опоздала. 22 июня Красная армия была застигнута врасплох.

* * *

Попытаемся представить себе, что Гитлер не напал бы на СССР в 1941 г., а Сталин счел бы самым благоприятным временем для ее начала 1942 год. Что бы изменилось? Конечно, Красная Армия получила бы гораздо больше новых танков и самолетов. При этом, однако, они вряд ли были бы обеспечены достаточным числом экипажей, умеющих ими управлять. Ведь вплоть до конца 1942 г. советские механики-водители получали практику вождения от 5 до 10 моточасов, тогда как для уверенного вождения танка требовалась практика не менее чем в 25 моточасов. Налет часов на самолетах новых конструкций к началу войны был смехотворно мал – за первые три месяца 1941 г. летчики западных округов были в воздухе от 4 до

* "Новая и новейшая история", 1992, № 2. С. 86; Гальдер Ф. Указ. соч. Т. 2. С. 579.

** Киселев В. Н. Указ. соч. С. 15.
31-1589

15,5 часов^{*}. Освоение техники тормозилось острым дефицитом авиационного и автомобильного бензинов, усугубленным американским эмбарго, введенным с началом советско-финской войны и снятым лишь с началом советско-германской. Советские ВВС имели также ряд недостатков организационного и тактического характера, не вполне устраненных вплоть до конца войны. Из-за недостатка горючего и опыта советские истребители еще и летом 1943 г. барражировали над полем боя на наиболее экономичных, а не максимальных скоростях^{**}. И даже в конце войны советские самолеты редко залетали за линию фронта дальше 20-30 км, а немецкие генералы в своих послевоенных показаниях утверждали, что советская авиация и в последние месяцы войны в отличие от артиллерии не причиняла германским войскам большого беспокойства и потерь. Неслучайно, в последние полтора года войны Люфтваффе использовали Восточный фронт как полигон для подготовки молодых пилотов, которых после получения боевого опыта посылали на борьбу с союзной авиацией^{***}. Даже в период Курской битвы, в июле и августе 1943 г., когда значительные силы германской авиации были сконцентрированы на Востоке, на советско-германский фронт пришлось лишь 32,3%

^{*} Мельников С. И. Маршал Рыбалко. 2-е изд. Киев, 1984. Сс. 50-51; Мариничев В. Указ. соч. Сс. 184-185.

^{**} Семенов А. Ф. На взлете. М., 1969. С. 125.

^{***} Меллентин Ф. Танковые сражения 1939-1945 гг. Пер. с англ. М., 1957. Сс. 250-251; Сборник военно-исторических материалов Великой Отечественной войны. Вып. 16. Сс. 107-108, 113, 124, 162-166; Murray W. Luftwaffe: Strategy for defeat, 1939-1945. L., 1988. P. 371.

всех боевых потерь германских самолетов^{*}, что, вероятно, примерно соответствует доле в потерях Люфтваффе и за войну в целом.

С другой стороны, к середине 1941 года дальнейшее наращивание производства вооружения и боевой техники в СССР сдерживалось нехваткой ряда видов станков, другого сложного оборудования и материалов. В годы войны поставки по ленд-лизу обеспечили более половины всех потребностей в авиа-бензинах и алюминии в полтора превысили советское производство автомобилей за годы войны. Кстати, за весь период войны советская промышленность потребила около 591 тыс. тонн алюминия и произвела в 1,3 раза больше боевых самолетов, чем германская, которая только за 1941-1944 гг. потребила 1704 тыс тонн алюминия, причем уже в 1943 г. 80,3% всего алюминия шло на военные нужды^{**}. Даже с учетом того, что за первые 2,5 года войны за счет замены алюминия фане-

^{*} Murray W. Luftwaffe. Baltimore, 1985. P. 154.

^{**} Оценка по: Harrison M. Soviet Planning in Peace and War 1938-1945. Cambridge, 1985. Pp. 124, 153; Shimkin D. Minerals: A Key to Soviet Power. Cambridge (Mass.), 1953. Pp. 114, 115, 136, 139; Вознесенский Н. А. Военная экономика СССР в период Отечественной войны. М., 1947. Сс. 42, 163; Сб.: Великая Отечественная война: краткая история. С. 507; Кравченко Г. С. Экономика СССР в годы Великой Отечественной войны. М., 1970. Сс. 132, 239; Сб.: Промышленность Германии в период войны 1941-1945 гг. Сс. 73, 77, 250; Сб.: Внешняя политика Советского Союза в период Отечественной войны. Т. 2. М., 1946. Сс. 145, 147; Jones R. H. The Road to Russia. Norman, 1969. Appendixes; Сб.: Военная Академия тыла и транспорта. Тыл Советской Армии в Великой Отечественной войне. Ч. IV, V и VI. Л., 1963. С. 51; Сб.: Народное хозяйство СССР в Великой Отечественной войне. М., 1993. С. 55.

рой удалось сэкономить 30 тыс. тонн металла*, такую непомерную разницу в производстве самолетов можно объяснить только завышением советского производства за счет приписок. Кроме того, поставки по ленд-лизу обеспечивали функционирование советского железнодорожного транспорта. Поставки американских станков, сплавов и спецсталей, они же помогли увеличить советское производство. Это признавал после войны и заместитель Верховного Главнокомандующего Г. К. Жуков**. Рассчитывать же на англо-американские поставки Сталин мог, лишь вступив в войну с Германией.

Не стоит также преуменьшать возможности устаревших советских самолетов. Истребители И-15 и И-16 по своим тактико-техническим данным вполне могли бороться с немецкими бомбардировщиками Хе-III и Ю-87, и если это не произошло, то виной тому – низкий уровень подготовки пилотов, а также организации и оперативно-тактической подготовки ВВС***. И тезис о том, что дальнейшее развитие в Красной Армии механизированных корпусов существенно повысило бы ее боеспособность, вызывает сомнения. При большом недостатке средств связи и опыта командиров в ее

* Вознесенский Н. А. Указ. соч. С. 71.

** Симонов К. М. Глазами человека моего поколения. М., 1989; Военные архивы России. Вып. 1. С. 243. О предвоенном заказе в США новейших станков для производства артиллерийского вооружения см.: Ванников Б. Л. Записки наркома. Ж. "Знамя", 1988, № 2. С. 155.

*** Тактико-технические данные советских и германских самолетов см.: Яковлев А. С. Советские самолеты: краткий очерк. Изд. 4-е. М., 1982. Сс. 41, 85, 110-111.

использовании, советские мехкорпуса были очень слабоуправляемы. Еще во время вторжения в Польшу в 1939 году участвовавшие в нем два танковых корпуса ухитрились отстать от кавалерии. Мехкорпусом, насчитывавшим по штату 1031 танк против 560 в прежнем танковом корпусе, управлять стало еще труднее, поскольку количество средств связи в нем не увеличилось*. В годы войны танковые корпуса стали насчитывать по 250–260 танков, а 6 танковых армий – по 750–800 танков. В вермахте корпуса были больше – до 600 танков, а танковые армии – до 1000 танков. Лучшее же обеспечение средствами связи в годы войны было достигнуто только благодаря англо-американским поставкам.

Как видим, большинство недостатков в Красной Армии носило долговременный характер, и рассчитывать устранить их к 1942 году было трудно. К тому же, и вермахт до 1942 г. вряд ли сидел бы сложа руки. С массовым появлением советских новых танков в войсках германская сторона наверняка бы усилила свою противотанковую артиллерию, как это и произошло в ходе советско-германской войны. Увеличился бы количественно и качественно германский самолетный и танковый парк. Так что, нельзя однозначно утверждать, что в 1942 году условия столкновения стали бы для советской стороны существенно благоприятнее.

Можно предположить, что если бы Сталину удалось напасть первым 6 июля 1941 г., то ход и исход войны существенно бы не изменился. Уровень подготовки Красной Армии всю войну был ниже, чем у вермахта, а в начале войны разрыв в этом был

* Сб.: Советские вооруженные силы: вопросы и ответы. Сс. 163–167.

особенно велик. Поэтому нападавшие советские войска были бы довольно быстро разбиты превосходящими их по боеготовности германскими, как это и случилось в начале Великой Отечественной войны. Позднее же Великобритания и США всё равно пришли бы на помощь СССР, и при их содействии советский военный потенциал был бы существенно увеличен, а война выиграна благодаря большой территории и людским ресурсам СССР. Она происходила бы сначала на советской территории и благодаря этому, а также тому обстоятельству, что советскому вторжению наверняка предшествовала бы провокация, вроде манильской, была бы названа и осознана как Великая Отечественная.

План "Барбарасса" был порочен в своей основе. Даже с линии Архангельск-Астрахань не было никаких шансов с помощью авиации парализовать Уральский промышленный район, как не удалось германской авиации с гораздо более близкого расстояния разбомбить Англию и вывести из строя Московский узел. У Германии не было потребной для таких целей стратегической авиации. Между тем, недостижимость линии Архангельск-Астрахань стала очевидна уже в первые месяцы войны. Тоталитарный режим, подавивший, как это сделали Сталин и Гитлер, всякую внутреннюю оппозицию, не мог рухнуть, даже понеся военные поражения, до тех пор, пока располагал территорией, людскими и промышленными ресурсами. О создании же альтернативного русского правительства Гитлер не думал почти до самого конца войны.

Валерий СЕНДЕРОВ

**Евразия: прошлое или будущее,
реальность или миф?**

Евразийство есть вид злости.

В. В. Шульгин

Большевизм идет из Азии так же,
как и коммунизм; право и собствен-
ность из Рима. Спасение России —
лицом к Европе.

Н. Е. Марков

О евразийстве последние годы пишут весьма много. Пишут серьезные журналы ("Вопросы философии", "Начала"). Пишут культурные правые в газетах "Гражданин" и "Русское слово". И полукультурные "правые" в "Нашем современнике"; и фашисты в газете "Завтра" и журнале "Элементы"...

Как ни странно, схема всех этих, столь различных рассмотрений в общих чертах совпадает. Схема эта приблизительно такова. Евразийство было самоотверженной попыткой эмигрантской молодежи осмыслить октябрьскую катастрофу, выработать новое, пореволюционное русское мировоззрение. Оно поставило серьезные, глубочайшие вопросы (либо еще и решило их — здесь оценки расходятся). Позднее течение политизировалось, это способствовало его вырождению и гибели. Многие евразийцы приняли советский строй, вернулись в

страну; дальнейшая их судьба понятна. Но то, что они сделали, продолжает жить. Правда, в некоем состоянии анабиоза: бывают же направления, "которые, не находя условий для своего полного самовыражения, всё же реально присутствуют в культуре в латентном, потенциальном виде" ("Начала", № 4. – М., 1992, с. 50). И несомненно, евразийские идеи чрезвычайно важны для будущего России.

В этой схеме неверно почти всё. Но если и принять ее (условно, в качестве "рабочей"), – один недоуменный вопрос всё-таки остается.

Чем обусловлено будущее идей, возникших в 1921 году и к концу 20-х уже практически перешедших в состояние "потенциала"? Может, это естественная участь эмигрантских духовных и умственных движений? Не так: допустим, "веховское" течение не прервалось и со смертью высланных Ульяновым философов – преемниками стали Парижский Богословский институт, издательство "Имка-Пресс"...

Сегодня наследие эмиграции стало достоянием России; изданы, с большим опозданием, и евразийцы. Но работы даже столь интересных мыслителей, как Н. С. Трубецкой и Л. П. Карсавин, остаются, по сути, чтением для специалистов.

И всё же шанс на оживление у евразийства действительно есть. Шанс этот состоит в том, что об этом оживлении говорят столь упорно; что его ХОТЯТ. А идеи, как мы знаем, могут-таки стать материальной силой...

Начиная рассмотрение "евразийства сегодня" с журнала "Элементы", мы хотим избежать упрека в тенденциозности. Замечательно, что евразийство наконец-то изучают; и что дурного, в принципе, когда скромное, но безусловно интересное мыс-

лительное течение прошлого вписывается в сегодняшнюю жизнь?

Однако нас интересует политический аспект происходящего; а он представляется довольно зловещим.

Конечно: всякую мысль можно исказить и ополить, классические примеры дал Третий рейх. "Если посадить обезьяну за рояль играть Бетховена, она лишь разобьет клавиши и разорвет ноты", - в ужасе писал Освальд Шпенглер. Но речь идет "далеко не в последнюю очередь о том, что существует же какая-то запретная соблазнительность мыслительных игр, по которой место за роялем занимают в конце концов именно обезьяны" (К. А. Свасьян).

"Оставим в стороне нынешнее пародийное воплощение евразийства", - спешат отшатнуться и культурные исследователи из "Русского слова", явно симпатизирующие учению.

В какой всё-таки мере пародийное воплощение связано с первообразом? - этот вопрос мы и хотим рассмотреть. Но предварительно необходимо всё же уделить какое-то время сегодняшнему "евразийству".

"Наша читающая публика уже кое-что знает о той организации, которую большинство исследователей именует «мировым (сионистским) правительством». Но мало кому известно о существовании в Восточной Азии эзотерического центра, прочно контролирующего социальные верхи региона и неспешно распространяющего контроль на всю Евразию. Туманна его история, труднопредставимы цели. Иногда эту структуру именуют «восточным масонством», хотя с привычным нам масонством его объединяет, пожалуй, только тайна деятельности..."

32-1589

"Элементы" – журнал для фашиствующей интеллигенции. Так сказать, для продвинутых: про "жидомасонов" и "Русский порядок" расскажет, а для просвещенного потребителя "Элементов" ни к чему азы повторять. Но положение не столь беспробудно мрачно, как могло бы показаться: есть, как видим, и позитивная мистическая сила. Не слабее жидомасонов, но "с противоположным знаком". Центр ее – в глубинах Азии (пока фиксируем этот факт, а объяснение себя ждать не заставит).

Вроде всё ясно. Кроме одного: почему бы светлой эзотерической силе весь мир не спасти? Начиная с Израиля и США: злодей ведь, как известно, именно там в основном и гнездится. А если уж спасательная миссия (до времени, надо надеяться) локализована в пространстве, то не лучше бы попростому, без хитростей: не "распространять контроль" на какую-то там "Евразию" – а взять да избавить от ненавистного врага матушку-Русь?

Переворачиваем страницу – карта Евразии (карта такая в номере не одна). На следующей странице – "о необходимости создания Евро-советской империи от Владивостока до Дублина. Только Восточный блок мог стать основой объединения Евразии в Империю..."

Словом, "евразийскими" материалами журнал переполнен – от подобных вышеприведенным до перепечаток авторов 20-х – 30-х годов. Подзаголовок "Элементов": "Евразийское обозрение" оправдан вполне.

Мы держим в руках четвертый номер журнала. Прочие не отличаются, а обложку первого номера украшает (опять-таки) карта, с пояснением аршинными буквами: "ЕВРО-СОВЕТСКАЯ ИМПЕРИЯ". Чтоб не было сомнений, в чем корень и суть.

Безусловно: многие авторы двадцатых годов

открестились бы от подобного сумеречного бреда (как они подчас поступали и тогда).

"Евразийцы – культурные люди и грубые формы мракобесия им чужды, но тем более опасно, что они укрепляют мракобесие в форме более тонкой, давая ему идейное и культурное обоснование", – писал Н. А. Бердяев в 1924 году.

За большевистское семидесятилетие мракобесие успешно освободилось от ненужных "тонкостей". Но не евразийцев же в этом винить...

У евразийства были блестящие оппоненты. И. А. Ильин, Г. П. Федотов, Ф. А. Степун, Н. А. Бердяев, Г. В. Флоровский (в 1921 году участник первого евразийского сборника "Исход к Востоку", а в 1928-м – автор статьи "Евразийский соблазн")... Апеллируя к подобным авторитетам, нетрудно "закопать" критикуемое ими умственное движение.

Но мы будем цитировать, как правило, самих евразийцев. Причем основные их положения, повторенные многие десятки раз: в программных документах, подписных статьях, письмах...

Другим нашим источником станут современные исследования – объективные либо даже "проевразийские". Грань между ними, впрочем, трудно различима: у большинства авторов, в том числе и весьма серьезных, ощутима внутренняя симпатия к предмету своих многолетних трудов – психологически это естественно.

И еще одна методологическая оговорка. Представляя читателю инвариантные, неизменные тезисы и положения евразийства, мы будем произвольны в датах. Именно, мы будем стараться цитировать (с точными ссылками, разумеется) те работы, ранние либо поздние, в которых такие положения запечатлены наиболее афористично и кратко. Иной подход существенно удлинил бы ста-

тью и затруднил ее чтение – ничего не меняя по существу проблемы.

Среди факторов, обусловивших зарождение евразийства, выделим два основных. Шел 1921 год, еще не успели отгреметь залпы Гражданской войны. Однако война завершилась: защищать Россию долее у белых уже не было сил. Крым пал, вчерашние воины Добровольческой армии вмиг стали изгнанниками, скитальцами, ненужность которых в Европе не уставали пренебрежительно подчеркивать предавшие белых "союзники". Предстояло "столько лет такого маянья / По городам чужой земли". Иной перспективы не оставалось.

Среди изгнанников был и П. Н. Савицкий. Позади борьба под началом генерала Деникина, затем оборона Крыма: Савицкий – ближайший помощник крупного философа П. Б. Струве, министра иностранных дел правительства барона Врангеля. Позади унижения лагеря Галлиполи.

Петру Николаевичу предстояло стать одним из главных идеологов евразийства.

"Евразийство – порождение эмиграции. Оно подрумянилось на маргарине дешевых столовых, вынашивалось в приемных в ожидании виз, загоралось после спора с консьержками, взошло на малой грамотности, на незнании России теми, кого революция и беженство застигли подростками" ("Возрождение". – Париж, 16 февраля 1927 г.).

В оценке социолога Н. И. Чебышева много несправедливого. В первый же евразийский сборник вошли статьи четырех "малограмотных" авторов. Князь Н. С. Трубецкой – блестящий лингвист и этнограф; П. Н. Савицкий – географ и экономист, широкообразованный человек, свободно владевший пятью языками; П. П. Сувчинский – известный музыковед. Философ Г. В. Флоровский, вскоре при-

нявший священство и ставший видным богословом, вряд ли нуждается в представлении: его книги принадлежат к основным, по которым мы и сегодня знакомимся с догматикой и историей христианства.

Однако мы не случайно привели злую характеристику. Представим-ка себе описанную Чебышевым "маргаринно-визовую" атмосферу, презрительную спесь чиновников и лакеев... И В ТАКОЙ ОБСТАНОВКЕ молодые люди СРАЗУ подняли голову, попытались осознать: что же, собственно, произошло со страной? Наверное, это было своего рода подвигом...

"Положительную заслугу евразийцев нужно видеть прежде всего в том, что они поддержали достоинство России и русского народа..." (Н. А. Бердяев "Утопический этатизм евразийцев". - "Путь", Париж, 1927, № 8, сс. 141-144).

Увы, история беспощадна, и сегодняшнему "возрождению" евразийских конструкций нет дела ни до ярких личностей "отцов-основателей", ни до их трагических судеб...

И еще одно событие, кроме российской катастрофы, обусловило построения евразийцев: в 1918 году взорвалась над Европой последняя книга фаустовской культуры. Дурно повлияла она на пишущих людей века: без достаточных научных данных создал Шпенглер историософию, опровергнуть которую не дано уже никому. Однако не было у легиона "последователей" ни великого поэтического дара автора "Заката...", ни его ошеломляющей интуиции, ни энциклопедических знаний.

Началом евразийского движения часто считают выход в Софии в 1920 г. книги Н. С. Трубецкого "Европа и человечество". О Евразии в книге не говорится ничего, тема ее другая.

"Мы должны привыкнуть к мысли, что романо-германский мир со своей культурой – наш злейший враг".

Но никакой ошибки в суждениях о "Европе и человечестве" как о начале евразийства нет. Призывы бороться с "кошмаром всеобщей европеизации", "сбросить европейское иго" станут идефикс направления. И более того: европоненавистничество сделается внутренней движущей силой, оно во многом определит содержание глобальных построений евразийцев. Антизападническая установка не останется лишь повторяемым боевым кличем, она постоянно будет работать как методологический принцип: в каждом разделе евразийского учения позиция строится по принципу противопоставления западным позициям.

Роковую роль сыграет эта установка в судьбах движения (а позже и его участников...): именно фанатичное антизападничество определит принятие евразийцами большевистской революции – открывшей "возможности освобождения России-Евразии из-под гнета европейской культуры"... ("Евразийство (Формулировка 1927 г.)").

Выход книги произвел на консервативную русскую эмиграцию впечатление несколько шоковое: больно уж непохожи были пассажи князя на патриархальную полемику с Европой славянофилов. Трубецкому пришлось без конца объясняться, вновь и вновь разъяснять свою позицию. "Назначение этой книги чисто отрицательное. Никаких положительных, конкретных руководящих принципов она давать не собирается. Она должна свергнуть известные идолы и, поставив читателя перед опустевшими пьедесталами этих идолов, заставить его самого пошевелить мозгами, ища выхода" (из письма П. С. Трубецкого Р. О. Якобсону от 7 марта 1921 г.).

Пьедесталы пустовали недолго: 3 ИЮНЯ Трубецкой уже извещает Яковсона о своем намерении выслать ему на днях новую книгу: "Исход к Востоку. Предчувствия и свершения. Утверждение евразийцев". (Сборник, правда, вышел несколько позже – в августе.) "Очень будет интересно узнать Ваше мнение об этом сборнике. Сущность его состоит в нащупывании и прокладывании путей для некоторого нового направления, которое мы обозначаем термином «Евразийство», м. б. и не очень удачным, но бьющим в глаза, вызывающим, а потому – подходящим для агитационных целей".

(Обратим внимание: знакомство с первыми же шагами евразийства решительно опровергает бытующие причесанные представления о нем. Так, говорить о какой-либо ПОСЛЕДУЮЩЕЙ политизации попросту бессмысленно: евразийство зародилось как "мыслительное движение на опасной грани философствования и политики" (С. С. Аверинцев).)

В следующем, 1922 году вышел очередной сборник: "На путях. Утверждение евразийцев". В 1923 году в Берлине выходит книга третья "Евразийского временника" (первыми двумя книгами "непериодического издания" объявлены сборники предыдущих лет). В 1923-м же году выходит еще один сборник статей: "Россия и Латинство"...

Прервемся: не изложение истории евразийства наша задача. К тому же информация об историческом развитии в данном случае не главное для постижения СУЩЕСТВА. Евразийцы много писали о необходимости самопознания; полноте, о каком же УГЛУБЛЕННОМ самопознании при эдакой производительности может идти речь?! Ясно, что мы имеем дело с ГОТОВЫМ комплексом идей; дискуссии с противниками способствуют, конечно, определенной их корректировке – но не более того: по

большому счету, развития не будет. Напомним одну из оговорок, сделанных нами в начале статьи: материалы 1935 года (течения давно уже не было, но "Евразийская хроника" продолжала выходить) будут отличаться от материалов начала 20-х годов, в основном, чеканностью формулировок...

Переходя к изложению основных взглядов течения, мы сразу сталкиваемся с определенной трудностью. Евразийцы писали обо всем: о географии и религии, об этнографии и экономике, об истории и культуре... С чего же начать, что взять за отправную точку?

Для ответа воспользуемся нехитрым приемом, к которому мы уже однажды прибегли выше: возьмем бытующие представления за исходные. Именно, русских мыслителей делят, "в первом приближении", на западников и славянофилов.

Серьезной критики такой подход, разумеется не выдерживает. И не только по отношению к пока еще "новым" для нашей науки евразийцам (их, правда, называют нередко ПОСЛЕДОВАТЕЛЯМИ славянофилов – что ж, вскоре мы увидим, есть ли хоть для этого сколько-нибудь существенные основания).

Но как удастся, допустим, отнести к "поздним славянофилам" убежденного "византийца", язвительного критика панславизма К. Н. Леонтьева?

Общий признак, роднящий консервативных русских мыслителей прошлого, действительно, есть. Однако он выше "филий" и "фобий", признак этот: православность мировоззрения, безусловное доминирование в нем религиозного начала.

Конечно, всякая классификация обречена на схематичность: при предлагаемом подходе "неохваченными" останутся Н. Я. Данилевский, Н. Н. Страхов, Ф. И. Тютчев... Но ряд, начинаемый этими

именами, в блестящей истории русской философской публицистики прошлого века – всё же не первый. Не отрицая некоторой вульгарности такого "выстраивания в ряды", можно всё же смело заключить: **РУССКОЕ МЫШЛЕНИЕ НЕ БЫЛО НИ НАЦИОНАЛЬНЫМ, НИ ЭТАТИСТСКИМ – ОНО БЫЛО РЕЛИГИОЗНЫМ.**

Считая (временно, до разбора вопроса) евразийцев преемниками линии традиционного консерватизма, мы с рассмотрения их религиозных взглядов и начнем.

Евразийство дважды заявило о себе программными документами, причем практически подряд: в 1926 году в Париже был издан текст "Евразийство. Опыт систематического изложения". Следующий документ: "евразийство (Формулировка 1927 г.)".

"Язычество есть потенциальное Православие (...) Не будучи сознательно-упорным отречением от Православия, язычество скорее и легче поддается призывам Православия, чем западно-христианский мир (...) Будущее и возможное православие нашего язычества нам роднее и ближе, чем христианское инославие", – говорится в первом из этих документов. Кажется, всё ясно: евразийцы – законченные фундаменталисты. При самом строгом православном подходе католичество всё же схизма, а не ересь. И "самостийно", на политуровне "изгонять" католиков из ОБЩЕЙ церковной ограды, предпочитать им язычников – значит, для православного, ставить на грань еретичества самого себя. Впрочем, речь ведь идет, по сути, вовсе не о догматических тонкостях. **РОДНЫМИ** и **БЛИЗКИМИ** объявлены **НАШИ** язычники. А не какие-нибудь вообще.

Как знакомо...

"Формулировка 1927 г.", на первый взгляд, ошарашивает. В "кратком изложении предыдущего ма-
33-1589

нифеста" (таким, а не что-либо пересматривающим, он мыслился и составлялся) слова "ПРАВОСЛАВие" ПОПРОСТУ НЕТ. Язык уже совсем иной: говорится о "бытовом исповедничестве", о "проникновении религии в быт, одухотворении и упорядочении быта обрядом". Евразийцы помнят, разумеется, что "только вера может служить основой социальных отношений"...

Повторим еще раз: как нам это знакомо, до последних деталей. И даже противоречие между манифестами – кажущееся. То есть, оно есть, конечно: с точки зрения логической или, тем паче, религиозной. Но МЕНТАЛЬНО – всё сходится. Разве не наблюдаем мы сегодня, сплошь и рядом, как расчетливый "национально-религиозный" прагматизм марширует плечом к плечу с агрессивным фундаментализмом?

Если напомнить еще слова П. П. Сувчинского: "Наша близость к Богу заключается в нашем отдалении от Него" (этот "афоризм" с возмущением цитирует в апологетической, по существу, статье 1973 года бывший активный евразиец В. Н. Ильин), – выстроится впечатляющая картина беспробудного "религиозного" цинизма.

И картина эта будет неверна: ЛИЧНО евразийцы были, судя по всем воспоминаниям, глубоко православными людьми. Но есть беспощадная логика в эволюции движения, зародившегося "на грани философствования и политики"...

Вспомним еще о сборнике "Россия и Латинство". Шел 1923 год – и неужто евразийцы всерьез считали мерзопакостное "христианское инославие" чуть ли не главной опасностью для страны?

Вряд ли, конечно. "В отсутствие политической организации, способной объединить эмиграцию, цементирующей силой могло быть православие как

древняя вера отцов. Естественным было желание представить естественного соперника православия, католичество, в образе врага, и евразийцы предприняли попытку сыграть роль объединителя разрозненных сил эмиграции перед лицом нового «врага» (И. Савкин, В. Козловский "Евразийское будущее России". – "Ступени". Философский журнал. № 2(5), 1992. С.-Пб. Сс. 80–116).

Попытка, впрочем, не удалась: эмигранты (кроме разве что евразийцев и сменовеховцев) видели и понимали, какие в действительности силы терзают душу и тело России.

Не остались непонятыми и цели "церковных" забот евразийцев. "Из помехи, из гонимой, предлагается, украсив приятными словами, возвести Церковь в чин служащей порядкам не коммуно-большевистским, а евразо-большевистским... Даром разукрашивать Церковь не будут: служба предстоит серьезная", – язвила Зинаида Гиппиус.

А окончательный приговор заботам этим вынес о. Сергей Булгаков. "Православие слишком выдвигается как предикат национального начала, и неизбежная диалектика моментов национального и вселенского задерживается на первом. Этой гетерономией практически утверждается язычество в смысле сотворения себе кумира и служения ему (...) Главное же, повторяю, во всем этом мне чужда духовная элементаризация и оскудение того духа свободы, без которого Православие неизбежно переходит в православизм", – писал он евразийцу А. В. Ставровскому 1 октября 1924 года.

Что ж, вот и обогатились мы, благодаря движению 20-х годов, столь современным, столь умственным сегодня словом: "ПРАВОСЛАВИЗМ".

Естественно, православизм не мог стать подлинным духовным, мистическим стержнем те-

чения. А стержень такому русскому учению необходим, не стоит останавливаться на констатированном уже не однажды: даже коммунизм был воспринят в России эсхатологически – как религия земного рая, как "христианство без Христа"...

Роль фаталистического, детерминистского стержня играли в евразийстве географические построения – как называл их И. А. Ильин, "географический материализм". Построения эти были разработаны П. Н. Савицким и участником евразийских сборников, историком Г. В. Вернадским.

Фактором, оснополагающим для развития культуры, является географическое пространство, на котором оно зарождается и в пределах которого существует ("МЕСТОРАЗВИТИЕ"). "Месторазвитие" включает в себя всё: собственно место развития культуры – и саму культуру, географию и историю, климат и народ. Географическая среда представляет собой своего рода матрицу, которая репродуцируется в самых разных сферах культуры. Основные законы, определяющие специфику России-Евразии: "лес" и "степь". (В соответствии с канонами евразийского словоупотребления, и "лес", и "степь" – "месторазвития", в указанном выше широчайшем смысле.) Главный факт истории Евразии: победа "стеи" над "лесом". Борьба между ними завершилась "синтезом": "степь" создала "плоть" евразийской государственности, "лес", испытавший воздействие Византии, – христианскую систему ценностей.

Прервем наше изложение. Не потому, что оно сколько-нибудь исчерпывающе, а потому, что изложить подобную доктрину в пределах нескольких страниц попросту невозможно. Попробуйте-ка, для примера, вывести, "начиная с нуля", всё на свете из "классовой борьбы" и "прибавочной стоимости" – сколько места займет Ваш конспект?

Пример этот не случаен, как не случаен и термин "географический материализм". Мы уже ссылались на Шпенглера как на несомненного вдохновителя строителей евразийского "макрокосма"; но ментально, психологически они, конечно, гораздо ближе к марксизму. Почти во всём, начиная с подхода: из многообразия культурно-исторических факторов произвольно вычленяется один (здесь — география, там — экономика).

Почему же всё-таки именно этот фактор определяющий? В обоих случаях напрашивается приземленное объяснение: просто потому, что творцы учений профессионально владеют предметом. А профессионализм автора — великое свойство для читателя наших дней. В экономических анализах "Капитала" чувствуется серьезность, компетентность. И этот простой факт основательно "экранирует" невежественную, самоочевидную бредовость соседствующих исторических или, скажем, естественнонаучных безапелляционных откровений "классиков".

Впрочем, культурный уровень эмиграции был несколько иным, чем изучавших марксизм в рабочих кружках. "Геополитической мистикой" окрестил построения Савицкого А. А. Кизеветтер — известный историк, ученик В. О. Ключевского. Участник евразийских сборников, историк и философ культуры П. М. Бицилли писал о "географическом фатализме", об "одержимости географией"...

Как бы то ни было, "стержень" был найден, без него трудно представить себе и построения евразийцев, и сегодняшнюю пародийную эксплуатацию их. Рассмотрим "географизм", несмотря на оговоренные трудности такого обсуждения, несколько подробнее. "Лесу" и "степи" уделял большое внимание еще великий С. Соловьев, "чересполосицей"

российских пространств он объяснял уживчивость и взаимную терпимость населявших их племен: у них были разные ареалы обитания, разные промыслы и интересы. Но назвать П. Савицкого и Г. Вернадского продолжателями соловьевской школы мы бы затруднились: их построения изначально идеологизированы. Они не исследуют – они "доказывают" то, что заранее было "постановлено" доказать.

Скажем, евразийцы пишут то "синтезе" "леса" и "степи", то о "победе" последней. Но и в рассуждениях о "синтезе" читателю очевидно: "степь" для евразийства несравненно важнее. Обосновать этот факт трудно, а понять, зная симпатии движения, чрезвычайно легко: государству евразийцы поклоняются, а христианство фактически рассматривают как вспомогательный элемент.

Вот и всё объяснение глубокомысленной теории – чисто "вкусовое".

По формальной логике изложения, надо было бы обсудить глубинные концепции течения – а уж потом перейти к его этатизму, пробольшевизму и т. д. Но, увы, именно последние факторы оказали влияние на "академические" построения евразийства – не наоборот.

Скажем, что такое "Евразия" чисто географически? Вроде бы понятно: хочешь, говори "Россия", хочешь, – "СССР": границы, действительно различаются мало. Однако в подходе евразийцев и к этому вопросу имеются любопытные и отнюдь не случайные оттенки. Западные территории Российской Империи, в особенности Польша, рассматриваются как "неевразийские" – конечно же, не вследствие глубокой несправедливости разделов XVIII века! Евразийцы последовательны: религии "наших", азиатских племен – едва ли не вариации Православия, а ненавистные "латыняне" – да что у нас с этими славянами общего может быть?!

Итак, отрезать от Российской Империи как можно больше "Европы". Прирезать эмираты Средней Азии – их упорно не желала присоединять Империя, но зато радостно проглотил СССР.

Получим – Евразию!

Собственно, здесь нечего и доказывать: вдохновенное "чингис-хамство" (словцо И. А. Ильина) – альфа и омега евразийства.

"Впервые евразийский культурный мир предстал как целое в империи Чингис-хана (...) Монголы формулировали историческую задачу Евразии, положив начало ее политическому единству и основам ее политического строя" ("Евразийство. Опыт систематического изложения").

Откуда же это чудовищное рассмотрение России как монгольского улуса? П. Я. Чаадаев и К. Н. Леонтьев полярно оценивали пути византийско-русской государственности; но отрицание самого факта ее бытия повергло бы мыслителей прошлого века в состояние столбняка. Только ли перед ними "оригинальничанье" евразийцев, как недоуменно предполагал И. А. Ильин? Представляется, что нет. Вспомним: революция, только революция открыла "возможности освобождения России-Евразии из-под гнета европейской культуры"! Евразийцы вполне последовательны в своей, мягко говоря, неприязни к Империи, к русской истории петербургского периода. А вычеркивание – ни много, ни мало – четверти тысячелетия культуры открывает простор для самых мрачных фантазий.

Как это поучительно, как это актуально сегодня: **НЕНАВИСТЬ К ЕВРОПЕ ТРАНСФОРМИРУЕТСЯ В НЕНАВИСТЬ К РЕАЛЬНОЙ РОССИИ!**

Однако завершим мы разговор о "географизме" еще более важным вопросом: как его построения претворяются сегодня?

”Представляется, что самым типичным евразийцем в нашей истории был Александр Невский (...) Он первым из русских политиков столкнулся с жесткой альтернативой: Запад или Восток. Запад не просто грабит, Запад в лице папы и душу требует. А Восток готов ограничиться данью, на душу не претендует, веротерпим, духовенство поборами не облагает...”

Так пишет в наши дни ”Русское слово”. Это пересказ идей, развитых в статье Георгия Вернадского ”Два подвига Св. Александра Невского” (”Евразийский временник”, кн. 4, 1925, сс. 318–337). Словно бы время для евразийцев давно остановилось. Словно бы XIII век, 20-е годы нашего века и конец его – не АБСОЛЮТНО РАЗНЫЕ исторические срезы.

Оставим в стороне XIII век. Это дела специалистов, не нам оценивать споры между Д. С. Лихачевым и покойным Л. Н. Гумилевым – быть может, ”панмонголизм” последнего во многом и справедлив.

Г. Вернадский, заметим, писал в несколько иные времена: не было уже ни Орды, ни России. А смертельной угрозой для мира – для Запада ли, для Востока – была ”кроваво-призрачная Совдепия” (выражение П. Б. Струве). Напомним, впрочем, что опереться Ульянов рассчитывал на ”угнетенных трудящихся Востока”. В явном противоречии с Передовым Учением – но зато в обычном своем согласии с реальной расстановкой исторических сил.

А повторяет ”Русское слово” мысли Вернадского – сегодня, в 1994-м. На душу нашу Восток, пожалуй, и вправду не претендует: ни к чему она ему. А вот насчет веротерпимости, готовности ограничиться данью...

Может, мы придираемся, и всё это – маловажные оттенки? Пока "всё это" лишь пишется и читается – может быть, и так. А во что обойдется в сколько-нибудь критической ситуации надежда на "веротерпимость" нынешнего Востока?

Или вот еще один текст.

"Революционный поворот России от Европы к Азии наиболее глубоко осмыслили евразийцы. Рассматривая этот поворот через призму вечной борьбы Востока и Запада, духа степи и духа леса, евразийцы оценивали русскую революцию как «завершение более чем двухсотлетнего периода европеизации» (П. Н. Савицкий). Поэтому евразийцы вслед за сменовеховцами сошлись с большевиками в отвержении политических форм и культуры «романо-германского Запада», что искусственно и во вред России насаждались в стране в течение этого двухсотлетнего периода «европеизации». И ради этого отвержения евразийство, как писал Н. С. Трубецкой, и сошлось с большевизмом «в призыве к освобождению народов Азии и Африки, поработенных колониальными державами»".

Со вкусом и вкусом излагают "Элементы" построения евразийцев.

И В ЧЕМ ФАШИСТСКИЙ ЖУРНАЛ ВРЕТ? ГДЕ – ХОТЬ ЕДИНАЯ ПЕРЕДЕРЖКА?

Но с "географизмом", при всей его важности, пришло время заканчивать. Перейдем к другому вопросу, мы уже мельком касались его выше: о "постславянофильстве" евразийцев.

Мы рассмотрели уже евразийство по ряду важнейших позиций. По всем этим позициям оно – АНТИПОД славянофильства.

Православность славянофилов – православизм евразийцев. Панславизм "предшественников" – и решительное его отвержение "последователями."

34-1589

Антиэтатизм первых (напомним: именно он нередко служил причиной цензурных запретов славянофильских работ) – государствопоклонничество вторых...

Но, кажется, уж в одном-то – в антизападничестве – славянофилы и евразийцы не могли не сойтись?

”В Древней Руси Азия означала иностранных завоевателей, степняков, с которыми ассоциировались враждебные чувства и страх. Петровская Россия полностью разделяла европейское отношение к Азии с позиции превосходства и имперского владения, хотя это отношение иногда могло соединиться с романтическим интересом к различным аспектам восточных культур. «Конфликт с Западом», который так или иначе постулировали и славянофилы, и представители официальной народности, и К. Леонтьев, является существенно братским конфликтом, поскольку самоопределение в понятиях «православия», «византийской традиции», «русского народа», «славянофильства» с необходимостью устанавливает связь с христианским миром, с европейскими народами. Даже та русская интеллигенция, которая формулировала фундаментальное противостояние русских и западных принципов, восставала против «Запада» во имя оригинального и самобытного лица России, сохраняла полностью «европейское» отношение к Азии. «Антизападная» традиция оставалась совершенно западной по отношению к Азии (...)

Евразийцы принадлежат к единственному, особому поколению, которое не имело реальных предшественников и последователей”.

Так пишет А. А. Троянов, анализируя работы американского исследователя Н. В. Рязановского (А. А. Троянов ”Изучение евразийства в совре-

менной зарубежной литературе". - "Начала", № 4. М., 1992. Сс. 99-103).

Процитированный текст привлек нас четкостью формулировок: подтверждение высказанных в нем мыслей можно без труда найти в различных источниках.

"Представим себе, что современный евразиец приходит к Аксакову и радуется его родством с прадедушкой Чингисханом!... Я думаю, что это не обошлось бы без некоторых неприятных последствий, - развеивал в одной из своих лекций "евразийский туман" уже упоминавшийся нами историк А. А. Кизеветтер ("Славянофильство и евразийство", 20 января 1928 г. Цит. по сборнику: "Евразия. Исторические взгляды русских эмигрантов". - М., 1992. Сс. 19-25).

"Проазиатского" направления в умственном движении прошлого века не было, можно называть лишь отдельные имена. Правда, среди них имя Ф. М. Достоевского. Только вот цитируют подчас его призывы "в Азию!" неполно - а тем самым и неточно.

"Этот ошибочный наш взгляд на себя единственно как только на европейцев, а не азиатов (каковыми мы никогда не переставали пребывать)... (Ф. М. Достоевский "Дневник писателя").

"Но от окна в Европу отвернуться трудно, тут фатум". Это тоже из "дневника..." - на тех же (последних) его страницах.

И это, пожалуй, самое сдержанное, не будем цитировать общеизвестные тирады-наваждения - об этой странной и святой вещи, Европе..."

Можно сказать, правда, что наш век по-новому поставил многие вопросы, в том числе и о Европе, и о "туранском наследстве".

Это так - и последовательные консервативные мыслители и публицисты не замедлили с ответом.

"...интеллигенция в союзе с татарщиной, которой еще так много в нашей государственности и общенности, погубит Россию", – написал С. Н. Булгаков уже после "репетиции русской революции", в "Вехах".

Таких деятелей, как Марков-Второй, не принято цитировать: до переворота он считался (и заслуженно) символом крайней реакции, но написанные им в 1925 году слова мы поставили эпиграфом к статье. Нелегко найти более убедительный пример воспитательного воздействия истории на личность...

И эту тему – о корнях движения – мы принуждены скорее оборвать, нежели закрыть. Так, родословную евразийства чаще ведут от ПОЗДНИХ славянофилов – то есть от времен, когда названные нами классические "родовые" черты славянофильства были уже заметно деформированы. Но в популярной статье невозможно сделать все оговорки, безусловно необходимые при научном подходе; в целом же нам представляются верными приведенные выше выводы А. А. Троянова.

"Родственники" у евразийцев есть: сменовеховцы, младороссы. Лишь ^{с. 4}большевистский переворот спровоцировал зарождение в спектре русского национального мышления тоталитарных полос. И на примере евразийства ясно видно: бессмысленно объявлять "левыми" или "правыми" эти зловещие полосы; абсолютно несущественно, в какие они сами себя красят цвета.

Переходя к рассмотрению политических взглядов евразийства, сразу подчеркнем: речь пойдет не об увлечениях корпоративным прожектерством Парето или романтическим протофашизмом Д'Аннунцио – такие увлечения, по очевидным причинам, естественны для эмиграции 20-х годов. С

евразийцами дело обстоит иначе: изначально стали они вырабатывать прагматическую тоталитарную идеологию. И год за годом этой идеологии суждено было лишь совершенствоваться, каменеть.

Трудно искать в этатизме какие-либо тонкости и нюансы. Но представляет интерес СТЕПЕНЬ поклонения "самому холодному из всех холодных чудовищ", накал недоброй страсти.

"Мы отвергаем социализм - и мы являемся сверхсоциалистами (...) Поскольку социализм преобразуется в этатизм - его устремления созвучны устремлениям евразийцев. Но - радикальнее наше понимание планового хозяйства (...) Термин социализм, в его европейском понимании, недостаточен для обозначения социальной сущности евразийства" (П. Н. Савицкий "В борьбе за евразийство". - "Тридцатые годы: Утверждение евразийцев". 1931, кн. 7).

"Под демократией разумеется строй, в котором правящий класс отбирается по признаку популярности в известных кругах населения (...) Под идеократией же разумеется строй, в котором правящий слой отбирается по признаку преданности одной идее-правительнице. Демократическое государство, не имея собственных убеждений (т. к. правящий слой его состоит из людей разных партий), не может само руководить культурой и хозяйственной жизнью населения, а потому старается как можно меньше вмешиваться в эту жизнь («свобода торговли», «свобода печати», «свобода искусства» и т. д.), предоставляя руководство ею безответственным факторам (частному капиталу и прессе). Наоборот, идеократическое государство имеет свою систему убеждений, свою идею-правительницу, и в силу этого непременно должно само активно организовывать все стороны жизни и руководить ими (...)

При идеократическом строе должны будут исчезнуть последние остатки индивидуализма, и человек будет осознавать не только себя, но и свой класс, и свой народ как выполняющую определенную функцию часть органического целого, объединенного в государство (...)

Современные идеократические государства еще очень далеки от подлинной идеократии. СССР несколько ближе к цели..." (Н. С. Трубецкой "Об идеоправительнице идеократического государства". – "Евразийская хроника", XI. 1935).

Статья Н. С. Трубецкого представляется совершенной. Даже и неинтересно как-то подчеркивать, что этот текст перепечатали, снабдив выразительными картинками, "Элементы".

Но даже в этих гладких, связных мечтаниях пассаж о "последних остатках индивидуализма" останавливает взор. На дворе 1935 год – а князь страдает от неполноты советского государственного совершенства...

От этатизма мы перешли уже к сопутствующим атрибутам светлого евразийского будущего: идеократии и партии нового типа. Как-либо отделить друг от друга все эти ностальгически-знакомые нам черты осовелой тоталитарной гармонии трудно; да и зачем?

Дадим еще несколько образчиков мышления, наугад. Да простит нас читатель: мы не в состоянии позаботиться об их качестве больше, чем они сами заботятся о нем.

"Необходима новая идеология и необходима, как носительница ее, новая партия, не менее одушевленная и сплоченная, чем первые большевики" ("Евразийство. Опыт систематического изложения").

"Тот тип отбора, который призван установиться, отличается тем, что основным признаком, которым

при этом типе отбора объединяются члены правящего слоя, является общность мировоззрения" (Н. С. Трубецкой "Идеократия и армия". - "Евразийская хроника", вып. 10. 1928 г.)

Носительницей нового сознания призвана быть партия особого рода, "правительствующая и своей властью ни с какой другой партией не делящаяся, даже исключая существование других таких же партий. Она - государственно-идеологический союз, но вместе с тем она раскидывает сеть своей организации по всей стране и нисходит до низов, не совпадая с государственным аппаратом, и определяется не функцией управления, а идеологией" ("Евразийство. Опыт систематического изложения").

Всё замечательно, загвоздка лишь в одном. Правительствуют и даже исключают существование других таких же партий пока не евразийцы - как же быть?

Необходимо "сделаться мозгами (...) нового режима, чтобы наполнить новым содержанием обветшалые формы. Евразийцы должны всеми силами просочиться в этот новый режим и руками новой власти построить свое новое государство" (Н. Н. Алексеев "Евразийцы и государство". - "Евразийская хроника", вып. 9. 1927 г.).

Вышло на практике несколько по-иному; но о том, кто и куда всеми силами просочился, нам еще предстоит поговорить... А пока вернемся к новой идеологии, к общности мировоззрения.

Мы давно привыкли, что общность такая никакого реального мировоззрения не предполагает. Равно как и носители новой идеологии - это именно НОСИТЕЛИ: для принадлежности к подобной породе никакие идеи (они же мысли) в обычном, человеческом смысле слова не нужны. Но всё же идеология вокруг нас... не то чтобы совсем не

существовала. В критический момент коммунисты извлекали и выговаривали на более или менее русском языке определенный набор фраз. Так что идея, в некотором смысле, была.

В чем же "идея-правительница" евразийцев?

Ответ на это, строго говоря, неизвестен. Не только автору настоящей статьи. А и самим евразийцам тоже. Мы без труда можем удешевить число высказываний об идеократии как таковой, об идеинности правящего слоя... Говорили и прямо о том, что "России необходимо выработать идею" (П. Савицкий). Но коли идею необходимо выработать... значит, похоже... ее и вправду – ПОПРОСТУ НЕТ?

Не совсем так: наличествуют тексты следующего типа.

"Россия нашего времени вершит судьбы Европы и Азии. Она – шестая часть света, Евразия, узел и начало новой мировой культуры.

Россия представляет собою особый мир. Судьбы этого мира в основном и важнейшем протекают отдельно от судьбы стран к западу от нее (Европа), а также к югу и востоку от нее (Азия)".

Так начинается основной программный документ: "Евразийство (Формулировка 1927 г.)".

Вот это она и есть: та идеология, при которой мыслей желательно не иметь. Барабанно шагают однородные, приблизительно понятного смысла слова. И не стоит задумываться: кто же мы на самом деле – то ли узел и начало, то ли в основном и важнейшем протекаем отдельно от всех...

"Когда нас упрекают, что у нас нет системы, а есть механическая смесь, ералаш совершенно разнородных, друг с другом совершенно не связанных идей, из которых каждый может выбрать себе подходящую, то упреки эти справедливы. При помощи subtilisной казуистики, метафизического тумана и

жонглирования удобными, но абсолютно бессодержательными философскими понятиями (вроде всеединства), конечно, можно примирить друг с другом самые противоречивые понятия и создать видимость системы”.

Так писал Н. С. Трубецкой, один из основателей движения, другому его основателю, П. П. Сувчинскому. Письмо датировано 5-м марта 1927 года.

Евразийство, напомним, официально возникло в 1921-ом...

Мы постепенно отвыкаем от жизни в идеократическом обществе. И хочется пожать плечами и назвать подобную ”систему” так, как ее создатель. Только короче: попросту вздором.

Увы, – делать этого не следует. Потому что как ИДЕОЛОГИЯ евразийство живет. Красноречиво перечисленные князем качества для ИДЕОЛОГИИ вовсе не помеха. Не логика, не здравый смысл обжигают и воспаляют, заставляют восторженно выкрикивать заклинания, вытягиваться в струну... В идеологии евразийства без труда просматриваются и большевистская, и фашистская компоненты; нас интересует последняя. И не только по практической причине, не только потому, что именно она угрожает сегодня стране.

Многие факторы обусловили торжество марксизма в XX веке. Но как идеология фашизм опаснее: он более совершенен. Марксизм претендует на РАЦИОНАЛЬНОЕ обоснование – и это делает его, по крайней мере, в принципе, доступным для критики.

”Пролетарии всех стран, соединяйтесь!” – этот призывной клич, напоминающий крик журавлей, нигде еще не раздавался с такой недостижимо-далекой и торжественно-грозной, словно апокалипсической, надеждой или угрозой, как именно в русской революции”.

35-1589

Однако уже в 20-е годы странно было вспомнить эти слова Д. С. Мережковского, а в 30-е они были бы совершенно непонятны. Лишь уникальный государственный терроризм обеспечивал господство марксизма в России. И более того: терроризм и всепобеждающая, торжествующая психология СТРАХА КАК НОРМЫ стали неотъемлемой составной частью САМОГО СОВЕТСКОГО МАРКСИЗМА, позволили ему выжить как ИДЕОЛОГИИ.

Фашизм устроен иначе: он ВОИНСТВЕННО ОТВЕРГАЕТ РАЦИОНАЛИЗМ В САМИХ СВОИХ ОСНОВАХ. И это делает его (посмотрим правде в глаза) непобедимым. Смысловые аргументы перед лицом сатанинской духовности просто смешны: ей можно противопоставить лишь духовность подлинную – оказался ли на это способным наш век?

"ДЕМОКРАТИЯ ДОЛЖНА БЫТЬ ПРЯМОЙ, МИСТИЧЕСКОЙ И АВТОРИТАРНОЙ!" Формула эта, конечно же, бессмысленна, но она отнюдь не пуста: она охватывает весьма многое в политической теории и практике фашизма. Используем эту ёмкую формулу-заклинание как "тест": проверим на него построения евразийцев.

ДЕМОКРАТИЯ – ПРЯМАЯ. "Государственный порядок, при котором власть принадлежит организованной, сплоченной и строго дисциплинированной группе, осуществляющей эту власть во имя удовлетворения потребностей широчайших народных масс и проведения в жизнь их стремлений, можно назвать демотическим строем. Евразийцы являются сторонниками демотического строя (...)

Демотическую власть, опирающуюся на широкие рабоче-крестьянские массы трудящихся, евразийцы полагают единственно возможной властью и советский строй единственно возможным строем России-Евразии. Однако для того чтобы строй стал

строем демотическим, необходимо, чтобы коммунистическое начало, играющее в настоящее время определяющую роль в советской системе, было замещено началом евразийским в указанных выше его основаниях. Осуществление такого замещения и является основной политической задачей евразийства" ("Евразийство (Формулировка 1927 г.)").

"Идеальный государственный строй отличается максимализмом, он требует, чтобы власть была максимально сильна, но чрезвычайно близко стояла к народу" (П. С. Трубецкой "О государственном строе и форме правления". - "Евразийская хроника", вып. 8, 1927).

ДЕМОКРАТИЯ - МИСТИЧЕСКАЯ. "Властные отношения по природе своей всегда иррациональны, в них присутствует элемент гипнотичности, им не чужды состояния магического очарования, особого обаяния, поклонения и восторга" (Н. Н. Алексеев "Евразийцы и государство". - "Евразийская хроника", вып. 9, 1927).

ДЕМОКРАТИЯ - АВТОРИТАРНАЯ. Ну, об этом у нас сказано, надо полагать, уже достаточно...

Логика статьи возвращает нас к истории течения. И не в том, конечно, дело, что испортившиеся, "политизировавшиеся" евразийцы "приняли советский строй". Да когда же, интересно, они его НЕ принимали? И как такое могло быть, коли Советская власть - "наиболее приемлемая для русских порядков форма" демотии?

Слова о "принятии Советов", о "сотрудничестве с режимом" - обычно просто эвфемизм малоприятной констатации: некоторые евразийцы выродились в заурядных чекистских убийц. И возможно ли рассматривать такой конец лишь как позорный и трагический факт их личных судеб?

Увы, дело не только в этом: чекизм невозможно

вычленишь, "вычешь" из самой сердцевины ТЕОРЕТИЧЕСКИХ евразийских построений...

Крупномасштабная операция ГПУ по внедрению в движение развернулась уже в начале 1924 года.

"В Берлине у меня продолжались разговоры с молодыми (...) я убедил, что мы готовим переворот не для того, чтобы отдать власть старцам (...) Нам надо выработать программу и тактику на основе того, мол, чтобы "Россия по своему географическому положению руководила Европой и Азией. И потому пути «Треста» совпадают с евразийским движением. Сказал и слегка испугался: неужели клюнут на такую чепуху? Представьте – клюнули", – докладывал руководству ГПУ главный "трестовский" провокатор Александр Якушев.

Клюнули основательно – и на Первый евразийский съезд был приглашен другой представитель "Треста", Александр Ланговой.

Съезд собрался в Берлине в декабре 1925 года, доклад Лангового длился 9 часов. Евразийцы внимательно слушали, впечатление было очень сильным.

"Врал немилосердно. Несусветная чушь здесь сошла за высшую мудрость", – хвастался позднее Ланговой в Москве.

Фрагменты записи доклада сохранились в архиве П. Н. Савицкого.

Ланговой врал о некоторой неразъяснимой сущности русского бытия, в силу которой "и коммунисты принимают подчас в себя основные конструктивные начала преемственно-традиционного духа". "Народ Советского Союза идет вперед самобытным путем, сам (...) Я с полным правом могу утверждать, что одновременно с вами (а может быть, и раньше) евразийские идеи заро-

дились и пустили ростки и у нас; их долго не замечали, не оформляли, не приводили в стройную систему целостного мировоззрения. Но тем это движение и сильно, что оно зарождается стихийно и охватывает всё большие и большие слои населения (...) Все те, кто остались русскими людьми, кто не проклял свою Родину, а верит в ее будущее величие, а сейчас жалеет ее великой жалостью, – все эти люди так или иначе приходят к идеям евразийцев. Много ли их? Думаю, что да”.

Талантливые люди трудились в отделе Менжинского. Ведь это надо: ДЕВЯТЬ ЧАСОВ нести подобную несусветную чушь...

На съезде в Берлине был утвержден состав Совета Евразийской Организации, в Совет вошел и Александр Ланговой. Зимой 1926–27 гг. он участвовал в Совещании по идеологическим вопросам в Праге.

Образцово выполнил полковник Ланговой полученное задание. Не предполагал он, наверное, что его судьба вновь переклестнется с судьбами евразийцев.

В следственном деле № 16416 по обвинению в антисоветской деятельности Карсавина Л. П. находится выписка из протокола допроса обвиняемого Лангового А. А. от 9 июля 1939 года. Входящий в свое время в руководство евразийской организации, идейный лидер движения на последнем его этапе профессор Каунасского университета Л. П. Карсавин был арестован МГБ Литовской ССР в 1949 году “по вновь открывшимся обстоятельствам”. Его дело было одним из последних: добровольно вернувшиеся на Родину евразийцы давно получили свои девять граммов или срок.

Религиозный философ, историк культуры Лев Платонович Карсавин навсегда останется в режимах лагерей республики Коми.

Александр Алексеевич Ланговой после смерти Сталина вернется на службу в "органы". Он окончит жизнь персональным пенсионером в 1964 году в Москве.

Евразо-большевизма не получилось – да и получиться не могло. И дело не только в том, что "евпартия" рождалась на свет уже под прочным чекистским колпаком. Кошмары евразийской утопии просто некому было осуществлять. Перечитаем натужные, задиристые построения "чингисханов" – мы не увидим за ними ульяновых, троцких и джугашвили. Увидим лишь горечь и бессильный гнев перешибленных разгромом страны, бесприютностью и унижениями эмиграции интеллигентов. Их лихорадочной рефлексии не суждено было обернуться новой трагедией России, – а лишь трагедией их собственной судьбы.

Однако иные руки подхватили сегодня выпавшее из рук "чингисханов" знамя "азиатства", новые люди перекраивают и перекрашивают его. Эти люди способны на всё.

"Евразийство вовсе не так невинно, как кажется с первого взгляда. Со временем из него могут вылупиться чисто практические выводы, далеко не безразличные с точки зрения «актуального общественного поведения»".

Александр Александрович Кизеветтер – крупный ученый, автор серьезных трудов по русской истории. Вышедшие в 1912 году "Исторические очерки" принесли ему широкую известность.

Но не хотелось бы, чтобы он остался в истории России этим своим пророчеством.

22 июля 1994 года
Москва

Николай СЛАВЯНСКИЙ

Теорема Архилоха

Сердце, сердце! Грозным строем встали беды пред тобой...

<...>

...Познавай же ритм, что в жизни человеческой сокрыт.

I

Понятно естественное желание тех, кто хочет уберечь поэзию от смешения с рутинной, от втаптывания ее в пошлость посредственного сознания да еще перед лицом деклараций из среды самих авторов, что никакого такого священного искусства нет, что пророчество в поэзии – одно надувательство, а Пушкин всего лишь "миф". Но в отрицании этих плоскостей искусства некоторые его защитники стали самым нешуточным образом смешивать поэзию с конфессиональным сознанием, называя стихи молитвой или разговором с Богом. В целом, тут неизбежно встает проблема Взаимоотношения искусства с религией, осложненная множеством недоразумений, которые, в частности, приводят уже к религиозному суду над вещами искусства – занятию часто рискованному и почти всегда бесполезному. Затронем некоторые пункты этой темы.

Храм, богослужение, молитва разомкнуты в своем существе навстречу Божеству и могут получить свое смысловое завершение только в объекте своих устремлений, так как они не существуют сами для себя.

Напротив, эстетическая вещь в собственном

смысле этого понятия находит свое оправдание и завершение именно в себе же, возвращаясь к своей самости как своей подлинной цели.

Для всякого, имеющего даже начальный религиозный опыт, очень неприятно, когда на икону смотрят как на произведение живописи, пусть сколь угодно гениальной. Даже эта оценка, предельная по своей восторженности для светского сознания, верующему представляется почти кощунственной или, что верней, просто невежественной.

Дело в том, что эстетический пласт, хотя и наличествует во всякой религиозной практике, сам по себе самостоятельного значения не имеет. Эстетика религиозной жизни не обращена на себя, она одна из лестниц восхождения к Божеству. Известно, как опасно заглядываться на ступеньки: неровен час, шею свернешь. Отсюда понятно, что художественный слой церковного быта должен находиться под неусыпным оком канонического сознания, дабы он не прельстил собой паствы, из чего вовсе не следует, что в религиозной эстетике не может быть смены стилей. Но всякая перемена, всякое личное откровение должно быть выверено соборным сознанием прежде, чем стать общецерковным достоянием.

Религиозный смысл лепоты, той самой, что поразила посланцев Владимира, в том, что она является небом, почти раем, о чем те прямо и говорили, но только не самостийной красотой, с какой мы привыкли иметь дело.

То, что в католичестве и православии такая исключительная эстетическая наполненность, свидетельствует об их вселенском характере — когда охватывалось всё мироздание без изъятия, когда внешним (*кроме-шным*) оставался только ад. Во времена религиозного расцвета ничего светского

в абсолютном смысле не было, — было только иерархическое убывание церковного света.

Подлинно светскую стихию в христианский мир принесло индивидуалистическое сознание, о чем многожды говорилось в связи с Возрождением. Если во время богослужения вы наслаждаетесь музыкальными достоинствами хорового пения, смакуете поэтические находки молитвословия или увлечены живописным великолепием иконы, будьте уверены в том, что вы не молитесь. Надо, однако, признать, что в наши времена сам прихожанин не так уж виноват во всех этих прегрешениях. Светская стихия и в церковной эстетике начинает брать верх.

Нам в наших посильных размышлениях важно понять, что красота в религиозной жизни прежде всего жертва Богу, а не та богиня, что царствует в светской эстетике. Художественная выразительность и в церкви может быть сколько угодно прекрасной, но как бы беспамятствовать об этом. Как только она обернулась на себя, она превращается в соляной столп.

Свободное художественное творчество, каким мы теперь его знаем, можно, пожалуй, назвать и молитвой, и фимиамом, и жертвой, но теми, что мы проносим перед самым, виноват, носом Господа Бога, чтоб самим полакомиться.

Странно говорить об этом, когда всё было угадано уже в Элладе. Эллинам было дано откровение такой эстетики (по сути, впервые и вполне подлинной эстетики), у которой были свои собственные законы, освободившие искусство от религиозных обязательств. Это независимое творчество окончательно утвердилось в наше время, став одной из важнейших его характеристик, так что церковная эстетика может быть просто исключена из сферы искусства.

Самое время сделать оценочные заявления о спасительности церковной ограды перед соблазнами дьявольских оболещений, или, напротив, о прогрессивности свободного творчества в сравнении с церковной рутинной, — но я, пожалуй, воздержусь. С меня довольно признания разрыва между религией и свободным искусством, что вовсе не снимает вопроса об их взаимоотношении, а скорее осложняет его, правда, на ином уровне, пребывая в одной и той же человеческой душе, став уже собственной проблемой художника.

2

В своем очерке "Заметки на полях лирики Пушкина" Роман Якобсон касается интересной особенности поэта. Речь о том, что и современников, и последующие поколения исследователей его творчества удивляла своего рода неопределенность мировоззрения Пушкина, которую пытались объяснить спецификой его поэтики, прежде всего расплывчатостью, неконкретностью его словесного строя, который якобы размывал словесные образы навстречу друг другу до их полного взаимосмещения, что в целом оценивалось как негативное качество пушкинского творчества. Но Якобсон как раз в этой расплывчатости видит достоинства этой поэтики, которая обеспечила Пушкину такое исключительное место в русской культуре, ибо она сама позволяла не только разным поколениям, но и несхожим читателям одной и той же эпохи разглядеть в сочинениях поэта нечто близкое себе.

По правде сказать, трудно сдержатъ разочарование, наблюдая, как люди ходят вокруг да около. Якобсон так даже помянул самое главное, но неприметным для себя самого образом. Что до словесного ряда Пушкина, надо прежде всего

отметить прямо противоположное его качество. Речь Пушкина исключительно точна. Это настолько очевидно для всякого умеющего читать, что гармоническая ясность стала для русского сознания неотъемлемым свойством Пушкина, и я позволю себе не задерживаться на этом аргументе. Второй же пункт, о мировоззрении, постараюсь развить, поскольку он имеет отношение не к одному Пушкину, но, говоря без всякого преувеличения, к любому художнику, хоть это становится более ощутимым в творчестве "всеотзывчивых" поэтов, являясь всё же обязательным и для поэтов "одной, но пламенной страсти". Смею думать, что мы сейчас говорим о важнейшем свойстве искусства, а потому не лишним будет вспомнить слова самого Пушкина о том, что поэзия выше нравственности или во всяком случае нечто иное, да и целью поэзии является сама поэзия. Несмотря на беглость этого высказывания, им не только схвачена самая суть искусства, но и в своем творчестве Пушкин оставался верен этому постулату.

Прежде всего такое осмысление поэзии возмущает моралистов, но, ей-Богу, для негодований нет ни малейших оснований, ибо, если поэзия свободна от нравственных (да и любых других) обязательств, то сам поэт по своей человеческой природе полностью погружен в стихию жизни, разделяя обычаи, верования и предрассудки своего времени в том или ином смысле, то есть находится в постоянном личностном становлении, что и отражается в его творчестве. Но поэзия остается при этом абсолютно невозмутимой. Это дело поэта: страдать, радоваться, обретать и отчаиваться.

Скажем больше, в своем пределе искусство отрицает не только поэта со всеми его убеждениями, но и всю жизнь. А почему, собственно, я не могу себе позволить резкости напоминанием

банальнейшего положения? Ведь должен же кто-то поднять из праха знамя прописных истин?! Искусство – это не позиция в жизни, а позиция над жизнью. В этом отношении искусство даже нигилистично.

Сама по себе поэзия совершенно равнодушна к тому, чем является жизнь поэта, счастьем или страданием, к тому же, кто таков сам поэт, умен или глуп, нравствен или аморален, религиозен или атеист. Но для самого поэта на этом пути чрезвычайно важно, кем он является и чем располагает, потому что творчество – крайне дорогостоящее путешествие. Посему и художник подлежит осмыслению с точки зрения производимых им затрат. Даже если он атеист, то для верующего это не довод для отрицания такого творчества, так как художнику даны личные откровения, которые он сам и оплачивает, а человеку религиозному дано знать, в чем укоренена личность в своей последней глубине.

Скажем прямо, этот творческий вояж настолько разорителен, что задолго до появления областей соблазна и прельщения большинство даже стоящих талантов вынуждены признать, что эти приключения им не по карману. В качестве наглядного пособия удобно себе представить огненный столп, в котором, корчась, сгорает поэт, между тем как ледяной истукан поэзии в абсолютном равнодушии к мукам своей жертвы попирает свой возвышенный пьедестал. Я предлагаю взглянуть в лицо этому идолу.

Нет слов, обаяние красоты настолько могущественно, что наивное сознание связывает с ней истину и благо. В ригористическую эпоху изображение Сатаны было откровенно безобразным и уродливым. Никакого вам горделивого лика, высокого чела и властного взора, никакой изящной осанки или блистания доблестной стали в драма-

тическим складках плаща. Все эти штуки были запрещены как нечестный прием. Но как бы там ни было, уже в Элладке сделали не только верные наблюдения, но и непреложные выводы. Телесная красота достается далеко не всегда людям достойным и добродетельным. Природа знает страшную красоту стихии, без разбору губящей и правых, и виноватых. В самом искусстве сплошь и рядом мы имеем различные по своей нравственной и мировоззренческой наполненности творения, не уступающие друг другу своими художественными достоинствами. Уже этого одного было довольно для острого ума греков, чтобы догадаться о странной нейтральности красоты относительно всех мыслимых и немыслимых ценностей. Но и этого мало. Те же греки открыли еще кое-что, а именно, что хоть красота и свободна от любого идеологизма и утилитаризма, она сама по себе является ценностью, коль скоро человек стремится к ней ради нее самой. А также, что созерцание красоты составляет особое, "высокое" наслаждение, не смешиваемое с другими гедонистическими радостями, что красота энергийна, то есть выразительна, что причастность к красоте как бы облагораживает, что она неистощима, и лишь наше психическое утомление мешает нам бесконечно любоваться ею, ну, и сверх того, красота, не исчислимая в своих проявлениях, способна (и это самое главное) буквально *вос-хитить* душу человека, исторгнуть ее из оков роковой необходимости.

Христианство, отменив язычество как таковое, тем не менее многие его интуиции подтвердило, а иные даже углубило. Но могущественный нейтралитет красоты не был влспринят в христианском мире однозначно. Восточное христианство при всей трудности своих отношений с художественной сферой все-таки осмелилось взглянуть прямо на не-

изреченную и свободную красоту. Сказывалось наследство духа Эллады. Правда, тема апофатизма превалировала. Мир по своей греховности не мог вместить в полноте ни истины, ни блага, ни красоты. Отсюда или ослепляющий, всё расплавляющий золотой блеск или, напротив, тихий и сокровенный свет лампы наряду с недоверием к рационализированным формам. Католичество в основном старалось идти с красотой на мировую, стремилось договориться с ней по древней формуле *do ut des*, подчас коллекционировало красоту, как оружие, которым не известно кто и когда воспользуется, но пыталось также и рационализировать эстетику, что на Западе особенно ярко проявилось позднее в протестантизме. Вождь реформации был уже откровенно утилитарен, приказав сочинить строго религиозные тексты на популярные в народе песни. "Нельзя уступать Сатане красивых мелодий", — объяснил он. Чем продолжился опыт Лютера по запряганию красоты в конфессиональную колесницу, мы знаем из того, как процветает на Западе дизайн современного техницизма. Красота сама по себе, не разбавленная пользой, слишком крепкое вино для прагматической головы.

3

Тотальность искусства проявляется и на другом уровне. Многие у нас радуются тому, что теперь со свободой слова наша литература, вечно выполнявшая всяческие чуждые художеству общественные повинности, осуществлявшая идеологические и просветительские функции, наконец-то займется своим настоящим делом.

Действительно, без цензуры как-то лучше. Од-

на беда, никак нельзя понять, в чем собственно дело литературы. Объясняют, что не нужно соваться туда, где завелись свои специалисты: политологи, философы, культурологи. Жалко, конечно, но готов уступить. Ну, а как там насчет житейской суеты и романтической, так сказать, сферы? ведь и тут развелось спецов видимо-невидимо? – социологи, психологи, сексологи, наконец. Убеждают, что и это надо бросить. Литература-де должна заниматься сама собой: словами, текстами, тропами. Но дайте и мне насладиться последовательностью и отметить, что и на это давно объявились свои профессионалы: литературоведы, филологи, текстологи, лингвисты. Мало того, следует в этом случае открыто признать, что никакого собственного дела у литературы не существует, и остется совать нос в чужие дела, чем, собственно, литература всегда и занималась, не спрашивая ни у кого разрешения, и мы были не только согласны на этот нос, но даже рады ему, особенно, если это нос талантливого художника, скажем, такой, как у Гоголя, пусть за него потом и схватится какой-нибудь Фрейд. Но это уже другая профессия!

Назидательно, что и учения крайнего эстетизма заняты не подлинной природой художественного творчества, а теоретическим обеспечением совершенно посторонних идеологем. Возьмем хотя бы работу Ортеги-и-Гассета. Для ее полного рассмотрения здесь она слишком обширна, но тот, кто читал ее, должен признать, что у нее есть краеугольное положение, изъятие которого разрушило бы всё теоретическое здание, обнаружив далеко не эстетические планы его строителя.

Основной тезис таков.

Современное искусство всё более освобождается от гнета реальности в том отношении, что оно всё реже берет ее в качестве своей темы. Собственные

чисто эстетические формы* становятся основным содержанием творчества, что вполне оправдано, ибо реальность искусству чужда. Ортега дает аналогию с окном в сад, где прозрачное стекло выражает собой подлинную художественную сущность, в то время как сад лишь отвлекает наш взор от созерцания прозрачной субстанции стекла. Нужно научиться видеть именно эту прозрачность, чтобы искусство таким образом вполне освободилось от всего инородного и стало чистым в том смысле, в каком мы имеем чистую математику.

Математика очень кстати оказалась под рукой. Возьмем ли мы дюжину яблок или десяток кирпичей (вспомним школьные годы), нам ничего не стоит отвлечься от предметной сущности и получить чисто количественное выражение, с которым мы можем разобраться отдельно. Это оказывается возможным потому, что число, кроме всего прочего, различимо в себе, само раздельно и структурно. Попробуй мы разложить какой-нибудь эстетический предмет (положим, красивую женщину или красивое здание) на предметность и эстетическое содержание само по себе, мы с удивлением получим просто женщину или просто здание и, виноват, нуль красоты, точнее, простое ничто.

Несомненно, красота как сущность реальна сама по себе, иначе ничего красивого и быть не могло. Но ее природа совершенно иная, она апофатична, непознаваема, ибо красота проста и

* Увы, никаких чисто художественных форм в природе не существует. То, что мы так именуем, приобретает эстетическое значение только в особом ракурсе творческого сознания. Объективно данная "поэтическая речь" как основа беспристрастного научного знания о поэзии — мираж Ю. Тынянова и Ко. Художник вообще изначально не располагает ничем своим. В этом его *ex nihilo*.

неразложима, это чистая сплошность, которая не может нами созерцаться непосредственно, и как таковая для нас — чистое нигиль. Она дается нам только опосредованно, через предметную отраженность и не иначе.

Это не мнение, а простой и неопровержимый факт. Если бы природа красоты была иной, мы давно бы уже без хлопот располагали чистым искусством, соответствующим чистой математике, которая возникла сама собой из элементарной операции абстрагирования, с чего начинается всякое мышление. Вместо этого мы гадаем, в каком инкубаторе нужно высиживать такое искусство.

Красота как простая сущность, оставаясь в границах самой себя, абсолютно непроницаема для нас и оказывается доступной нам, лишь когда в своем энергийном аспекте проливается за собственные пределы на чуждую ей среду. Даже в том случае, когда красота в искусстве полностью пронизывает и охватывает собой предмет, она все-таки навсегда остается отчужденной от предметности.

Эта опосредованность красоты для нашего восприятия навсегда делает художественное творчество предметным, из чего вовсе не следует, что предметность и есть подлинное эстетическое содержание искусства. Бытие как человеческая проблема является для нас важным и вне всякого искусства, но в творчестве оно для нас важно как преодоленное красотой. По уровню этой преодоленности мы и говорим о чистоте искусства, а вовсе не по нулевому показателю предмета. Художник, как и любой человек, обречен на ту или иную идеологичность, которую он волен выбирать сам, что и дает нам право говорить уже о свободном искусстве. Методологическая трудность критического анализа произведения искусства и заключается в

37-1589

неразводимости предмета с его гармоническим осмыслением при явном различии их природ. Аналогия Ортеги с прозрачностью имела бы смысл, окажись эта прозрачность хоть слегка мутноватой, иными словами, будь она непрозрачной и доступной созерцанию*. Правда, Ортега тут же предлагает не затевать спора о том, возможно ли чистое искусство. Странная уступчивость! Он даже соглашается с тем, что такое искусство скорее всего не нужно и даже иррационально. Вот те раз! Зачем же было огород городить? Нет ли за этой неожиданной покладистостью свое расчета? Как не быть! Ортеге уместней назвать свою теорию либерализацией, дереализацией, дистилляцией искусства, но он называет ее дегуманизацией. Это уж точно его собственная карта из родного, так сказать, рукава. Он уже охотно признает, что как только искусство освободится от предметности, то ему, собственно, тут же нечего будет сказать. Как мы только что увидели, правильной было бы употребить – "нечем сказать". Поэтому Ортега усматривает лучший способ отстаивания эстетической самостоятельности уже не в отказе от реалий, а в из атомизации,

* Здесь уместно все же привести выдержку из обсуждаемой автором работы Ортеги-и-Гассета "Дегуманизация искусства": "Пусть читатель вообразит, что в настоящий момент мы смотрим в сад через оконное стекло. Глаза наши должны приспособиться таким образом, чтобы зрительный луч прошел через стекло, не задерживаясь на нем, и остановился на цветах и листьях. Поскольку наш предмет – это сад, и зрительный луч устремлен к нему, мы не увидим стекла, пройдя взглядом сквозь него. Чем чище стекло, тем менее оно заметно. Но, сделав усилие, мы сможем отвлечься от сада и перевести взгляд на стекло. Сад исчезает из поля зрения, и **ЕДИНСТВЕННО, ЧТО ОСТАЕТСЯ ОТ НЕГО, – ЭТО РАСПЛЫВЧАТЫЕ ЦВЕТНЫЕ ПЯТНА, КОТОРЫЕ КАЖУТСЯ НАНЕСЕННЫМИ НА СТЕКЛО (выделено нами).** – Ред.

разложении или искажении с тем, чтобы мы все-таки опознали обезображенный труп жизни. Между прочим, следуя смыслу дереализации, Ортега был попросту обязан дать также и другой ее способ: размывания бытия, скажем, в эфирной сфере. Но это лишило бы его возможности растоптать и унижить жизнь. А в этом удовольствии и единственной, по сути, своей цели он отказать себе не мог. Как тут обойтись без общих мест, крикливых жестов и подлогов? Любопытно, что Ортега довольно ловко спекулирует на действительном положении искусства модернизма. Дробление бытия, дереализация в искусстве и вправду возрастает, что является самым естественным результатом общедуховного состояния нынешнего человечества, прошедшего честный путь от разделения труда и профессиональной специализации до узколобого релятивизма. Современный художник и хотел бы, да чаще всего не может осмыслить мир тотально, ибо сам давно перестал быть целостным существом. Во многом победа позитивизма объясняется недоверием человека самому себе. Обращение к однозначной и плоской идеологии научно понятого факта припахивает некоторой объективной стабильностью, за которую человек отчаянно цепляется, не имея собственного хребта. Позитивизм стал новым утешителем вместо Духа Святого: объяснит и спать уложит. А какие сны могут присниться, мы знаем по Юнгу.

Искусство, конечно, не сама красота, но особая художественная деятельность, реализующая энергии красоты. И как специфическая человеческая активность может среди прочих быть и предметом познания или темой творчества, что в случае с художником даже естественно, так как ему важно понять, чем же он занят. Но совершенно ниоткуда не следует, что он обязан замкнуться на этой теме

как на единственно дозволенной ему. Слава Богу, многие художники гениально осуществили себя, почти не вспомнив об искусстве как теме, хотя только через него и видели жизнь.

Не уход от действительности, а максимально полное ее переживание составляет энергетику творчества. Но жизнь мы можем переживать и в самой жизни и часто гораздо острее, чем в искусстве, поэтому не интенсивностью переживания жизненной драмы отличается искусство. Не отказ от жизни, а ее сгорание подобно ракетному топливу, без чего невозможен взлет, который в нашем случае и есть реализация искусства, то есть гармоническое преодоление жизни и лишь в этом смысле ее отрицание. Но и в искусстве красота не дробится и своей простоты не утрачивает, оставаясь неизъяснимой достоверностью, через которую мы познаем и оправдываем бытие, а не наоборот. Может быть, это зона абсолютного холода:

Только песням нужна Красота.

Красоте же и песен не надо.

В этой простоте красоты и протекании ее энергий через стихию бытия и раскрывается религиозная природа искусства.

То или иное представление о красоте сопровождало человечеству всегда, то или иное эстетическое заполнение своей жизни также. Но искусство как особая активность, создающая самодостаточные эстетические объекты, возникло в определенное историческое время, то есть было чем-то обусловлено. Проще говоря, искусства когда-то не было, как не было религии в ограничительном смысле, философии, науки, юриспруденции, политики и т. д. Мы говорим об особой дифференцированной стадии человеческого сознания, и представить ее мог только новый вид человека, на который не трудно указать: это гражданин грече-

ского полиса, самосознающая индивидуальность, заинтересованная помимо всего прочего и своим самостийным существованием. Рождение искусства и его судьба крепко-накрепко связаны с судьбой именно индивидуального сознания, с его специфическим становлением, ибо нужно учитывать и то, что индивидуальность античного мира при всем своем изощренном субъективизме позднего эллинизма имела все-таки мало общего с личностным самосознанием Нового Времени.

Христианство (надо заметить, в самый критический момент расщепления античного субъективизма) вернуло человеку его целостность, но путем снятия темы индивидуализма. Главные переживания Средневековья были собраны вокруг одной Абсолютной Личности. Свободное искусство в этот период было забыто ради церковной полноты бытия. По мере смещения акцента с Творца на человека в эпоху Возрождения новая, осложненная личностным качеством индивидуальность обретает и новое искусство.

Вне индивида нет искусства, а только его прикладные формы. И нынешнее убывание творческих сил – лишь указание на то, что порожденный Ренессансом тип индивидуализма завершает свой исторический цикл. Ясно, что искусство да и вся культура вышли из культа. Свободный художник своего рода блудный сын. На чьи денюжки мы поначалу так пировали? – на папины. Что же удивляться тому, что с пустым карманом мы едим из одного корыта со свиньями?

Саморасщепление индивидуальности снова пришло в наше время к критической точке и стало уже неуправляемым. В глазах рябит от капризной дробности теперешнего субъекта, который разложил себя на психические комплексы, но ничего интересного в себе так и не нашел. Собрать себя

вновь в какую-то сносную целокупность ему уже не удастся. Современное искусство свидетельствует об этом с редкой убедительностью: в своих лучших представителях – сложностью и усталостью, в малоодаренных – бесстыдной крикливостью предельного мельчания.

Я не буду здесь касаться проблемы нового синтеза. Я по грехам моим люблю искусство, и гибель творческого духа меня не радует. Но остановить этот процесс убеждениями, разъяснениями и призывами нельзя: за ним стоит какая-то грозная объективность. Художественный дар дается человеку, но может быть также изъят из обращения. Нынешнее искусство в подавляющем числе своих проявлений утратило магизм духовного синтезирования. Оно уже не чарует человека, ибо оно просто не искусство.

4

У нас нынче многие авторы не без надменности отвергают венец пророка, которого, между прочим, им никто подносить не собирался. Замечу, что профетические дары самым жалким образом путают с предсказанием будущего. На то есть гадалки. Не сомневаюсь, что именно из боязни прослыть цыганкой Мандельштам, по свидетельству его вдовы, отрекался от звания пророка: с него довольно было того, что он еврей. Впрочем, не только из осторожности, но и для удобства лучше обходиться одним званием поэта, хоть высшие откровения красоты как живого смысла бытия оправдывают и наши преувеличения.

Но и в религиозном, и в художественном смысле пророчество прежде всего озабочено не будущим, а вечным в аспекте его проявленности в настоящем,

вечным, которое и есть подлинное будущее, будущее навсегда. Сакральность художника осознавалась всегда, но она стала особенно ощутима с убыванием святости в христианском мире. С угасанием авторитета церкви, когда с художником стали связывать уже прямо религиозные чаяния, безусловно преувеличенные, как мы теперь хорошо знаем. Топор секуляризации, тотального обмирщения, подрубил общий корень духовного делания. Сегодняшнее отрицание пророчества в искусстве указывает прежде всего на то, что современное сознание вообще не видит ничего сакрального в жизни.

На сцену вышли позитивизм и прагматизм, которые похваляются тем, что являются носителями нового демифологизированного мировоззрения. Не терпится узнать, что это такое. Если это так называемое "научное мировоззрение", то уж очень оно странное. Сами люди науки исповедуют очень разные, часто между собой несовместимые взгляды на жизнь, иной раз страшно далекие от позитивизма. Словом, пока наука не обосновала самоё себя (а она упорно отказывается это делать), даже ученым в обобщающих воззрениях на бытие приходится следовать своим интуициям и строить гипотезы, то есть заниматься научным мифотворчеством, которое по своей природе тождественно философским мифам того же Платона и ничуть не научней всякого народного, патриархального мифологизма. И в этом нет ничего удивительного. Наука воспринимает мир как реальную действительность и не может выйти за пределы его фактической наличности, если хочет оставаться наукой. Причина мира (если таковая имеется) предшествует миру; цель (при том же условии) лежит за его пределами. Науке просто нечего сказать об этом, у нее другие задачи. Наука сама по себе не предполагает ника-

кой философии сциентизма, и если она возникла, сама наука виновата в этом лишь, так сказать, психологически, соблазнив малых сих. Этим научным соблазном исчерпывается вся научность позитивизма, и мы, воленс не воленс, должны внести позитивизм в список остальных мифологий на самых общих непривилигированных основаниях. Согласимся всё же, что у позитивизма есть некоторая особенная гримаса, которая смущает неискушенного человека. В нем и в самом деле как бы чего-то не хватает. Не будем гадать, а скажем сразу, что позитивизм – мифология оскудевшего до схематизма духовно кастрированного сознания.

Миф жив именно в той мере, в какой он воспринимается как самая реальная подлинность, как самый настоящий смысл бытия, в этом бытии укорененный и от него не отделимый. Оторванный от почвы реальности, он начинает задыхаться. Как только сказание превращается в сказку, миф теряет свою безусловность. Разумеется, оторвать от земли Антея может только Геракл, – один миф вытесняется другим.

Мы мало что поймем в мифе, воспринимая его за небылицу или фантастическое преувеличение каких-то древних событий. Только чуждый нам миф почитается нами за нелепость и утопию. Вообще говоря, человеческое сознание не может не быть мифичным, но было бы чрезмерной щедростью присваивать его всякому человеку, даже располагающему какими-то там взглядами на жизнь. Отличие истинного мифизма – в чрезвычайной активности переживания своего смысла, своего откровения и столь же активное его утверждение.

Безусловно, и художник исходит из мифических представлений, но поэт не является только пассивным медиумом, безвольным объектом пону-

кания тиранического внеличного вдохновения. По свидетельству многих художников, сумевших отдать себе отчет в происходящем, творческий процесс в самом ответственном моменте является борьбой двух начал, двух волей: внеличного откровения архетипа и личного труда выражения. Из немислимой эквилибристики этой борьбы и рождаются подлинные вещи искусства. Существенный перевес одной из сторон оборачивается либо невнятицей, или осиновым колом пошлости. Именно холодное неистовство, неизъяснимая ясность, неисповедимое ведение составляют существо творчества. Стихии, пронизывающие мир, вся фактическая пестрота и противоречивость бытия и есть то, что художник преднаходит и вдруг ощущает как личную проблему. Парадоксальным образом скорее уж художник демифологизирует мир, но, конечно же, не потому, что миф для него пустая выдумка, а наоборот: миф слишком могущественная сила, чтобы пренебречь его лицом. А художник в акте художественной гармонизации опознает безымянные силы, разгуливающие по лицу земному, выразительно являя их лики человечеству, умея к тому же достичь отрешенности от них. Как бы там ни было, если мы сомневаемся в способности художника нейтрализовать миф (что и в самом деле проблематично), то все-таки мы должны признать, что благодаря поэту борьба в мире происходит уже не в потемках, а на освещенной сцене, и дело принимает более сознательный, а потому и более ответственный оборот. Не трудно понять, почему тоталитарные режимы старались укротить свободное искусство, развратить или уничтожить художников. В этом секрет и особой "любви" деспотов к людям искусства.

Опять-таки, уже поставив акцент на тезисе явленного лика, я не успел определить его эсте-

38-1589

тической специфики, что в пылу рассуждения может привести нас к другим крайностям, которые словно напрашиваются сами собой, едва были упомянуты режимы и репрессии, а рядом с ними нечто похожее на обличение зла и всяческих пороков. Несомненно, художник по человечеству может прямо-таки пламенно ненавидеть зло, в том числе и политическое насилие, но, увы, в силу той же самой человечности он может от всей души и возлюбить всяческие пакости житейские и быть рабски преданным какому-нибудь вельможному душегубу. Это не должно стать помехой нашему пониманию вопроса. Пока художник остается художником, будь он каким угодно человеком, ему придется дать именно эстетическое выражение своим переживаниям. Здесь-то нас и настигает имморализм красоты уже как эхо в самом художественном творчестве. Художник может сколько ему вздумается любить кого-то или ненавидеть, поэт сколько угодно может проклиная или прославлять кого-то, но в самом творческом акте происходит снятие предмета, выход за пределы его фактической наличности, каким бы злым или благим самому поэту он ни казался. Здесь мы снова имеем дело с особым нигилизмом искусства, но понимать его следует только как эстетическое освобождение от гнета необходимости и стихии текучего. Предмет взят художником во всей доступной ему фактичности, во всей своей антиномичности и неразрешимости, а художник уже тем не менее свободен от него, хоть ни в какой мере и не утратил.

Замечу мимоходом, что в этом преодолении жизни происходит и своего рода спасение самой жизни. Но не нужно смешивать религиозное и художественное спасение. Художник достигает этого, утверждая жизнь выразительно в эстетической вечности. В религиозной жизни спасительное пре-

ображение прежде всего нисходит на сокровенное в человеке. Это разные и по значению, и по назначению призвания.

Правда, в этом утверждении жизни в эстетической вечности таится и опасность искусства. Сама целокупность гармонической явленности завораживает человека. Возникает искушение разыграть эстетическую тему, данную в идеальном пространстве, уже в самой текущей реальности. Что говорить о других, если сами художники соблазнялись желанием стать уже прямо демиургами, но чаще оказывались просто жертвами. Примеров больше, чем достаточно.

И всё же это эстетическое спасение или освобождение решает не просто отвлеченную профессиональную задачу мастерства, но сущностно духовную проблему художника как человека. Поэтому свести художественное делание к бесполезной и бесцельной игре позитивистам никак не удастся. Конечно, у понятия "игра" есть много толкований, среди них – ряд глубоких теорий, освященных и древностью, и благородством духа. Но позитивисты не хлопочут о достоинстве человека или искусства, намеренно педалируя несерьезность и пустяковость игры. А поэтому этот термин лучше не брать из их рук и вообще до поры до времени не трогать. Напротив, следует искусство называть делом, очень важным и ответственным, на какое способны очень немногие. Истощение художественного творчества лишает человека возможности узнавания мира и самого себя. В обаянии искусства, в его магизме – перекресток всех противоречивых суждений о нем, здесь можно нащупать и узел ответственности художника прежде всего перед самим собой.

Стихия бытия, гнет необходимости, жизнь как духовная проблема составляют суть творчества, и художника мы ценим и будем ценить по тому, ка-

кой пресс ему удалось вынести. И хотим мы того или нет, но сила дарования идет рука об руку с богатством личности. Если талант не провоцирует личностного роста и наоборот, то все стоящие творческие реакции прекратятся сами собой, чему тьма примеров, ибо художник – специалист только по отношению к материалу, по своей же бытийственной задаче, он именно человек, возводимый в степень своей личности.

Дробление сознания на излете культурных циклов порождает множество сумеречных суждений о природе искусства, некоторые из которых сгущаются до непроглядного мрака. Взять хотя бы моду драпировать творческую импотенцию эзотерическими покрывалами. Спора нет, сложность духовной ситуации так или иначе приводит к формальному и тематическому осложнению вещей искусства, к изоощрению вкуса. Да и сам вкус зависит от ценностных ориентиров культуры, относительно которых и возможны его воспитание или порча.

Но живую достоверность утерянного целостного мироощущения заменить нечем. Поневоле напускают теоретического туману или устраивают дымовую завесу из аллюзий, философем и прочих ухищрений притупленного вкуса. Адепты этой эзотерики не шутя утверждают, что только горстка знатоков, искушенных, как и они сами, тайным знанием, имеют право эстетического суда над их творениями. Правда, это, как правило, не мешает им требовать поклонения от профанов. Не будем, однако, преувеличивать трудностей. И права прямого суждения о вещах искусства у нас никто не отнимет. Трудно всерьез принять утверждение, что нельзя понять Крылова без Лафонтена, Лафонтена без Федра, а последнего без Эзопа. Трудно, ибо Бог весть в какие египетские и халдейские пласты уходят корни этого грека. Помилуйте! Да ведь

каждый человек соединяет в себе свойства своих родителей. Не будем же мы настаивать на том, что пока не установим всех его предков до Адама, мы не можем разглядеть его лица. Всякий живой человек является прежде всего самим собой и, хоть и определяется во многом своими корнями, к ним не сводим. В художественном творчестве дело обстоит точно также. Свет искусства прост и наивен, и эстетическое творение насквозь пронизывается этим светом вопреки любой содержательной сложности и несмотря на все формальные ухищрения.

Возьмите хотя бы хрестоматийный пример "Евгения Онегина". Его сила действует на нас прямо и непосредственно лишь оттого, что мы говорим по-русски. Между тем, этот роман насыщен всевозможными историческими и литературными аллюзиями и многими другими вещами, о которых мы не всегда узнаем даже из комментариев. Мало того, художественное единство произведения позволяет нам преодолевать и возможные лакуны, иногда очень значительные, без ущерба для целостности романа, которая опять-таки не сводима к сумме своего текста.

Но даже большие дарования поддавались соблазну культурологической надуманности. Примером такой художественной неудачи я считаю "Поэму без героя", где только редкие блестящие моменты напоминают о поэтическом таланте Ахматовой. Все мысли, все события и, что хуже всего, вся душа этой поэмы в комментариях, а переживать творение искусства по сноскам невозможно. Конечно, для понимания судьбы Ахматовой эта вещь имеет значение, но то, что она была провалом, сознавала и сама августейшая Анна. Недаром она так усердно собирала отзывы об этом своем изделии. "Прямо шахматная партия", — однажды заметил ей Мандельштам по другому случаю.

Если поэту мало поэзии, он в этом случае уже не поэт. В искусстве, возможно, число средств и ограничено, но не их возможности. И если мы говорим о кризисе искусства, то не будем увлекаться переносом понятий с больной головы на здоровую. Это мы в кризисе, и наши творческие силы оскудели. Не искусство выдохлось, а у нас кишка тонка... Кажется, Руссо говорил, что всё совершенно в деснице Господней, и всё непосредственно в руках человека.

И поэтому (я настаиваю на безукоризненности своего вывода), с позволения моего читателя, я завершаю очерк таким положением:

Для искусства нет проблемы религии, это проблема художника.

Ну и на прощание доверительным шепотом на ухо:

Миф, покидая сцену, дарит нам на память свою маску (посмертную). Миф, сидящий с нами за одним столом, маски снять не может, — у него живое лицо.

Если предание возвращается*

Давняя ориентированность церковного читателя на "что попроще" привела к его ограниченности в восприятии неординарной религиозной литературы. Ни книги А. Меня, ни религиозная философия, как правило, не находят места на церковных прилавках и в православных киосках. Похоже, что Церковь весьма ревностно блюдет умы своих чад от всего "заумного" (что, по мнению многих, уже ересь), а если на титульном листе нет "благословения" Московской патриархии – это всё равно, что нет Божьего благословения.

В поведении официальной церкви сегодня можно заметить следующую тенденцию: создать образ Церкви, в которой "всё в порядке". Сейчас, когда выявились многие белые пятна нашей истории, история Церкви XX века, тем не менее представлена довольно смутно. Когда-то были гонения, но это всё в прошлом. Канонизация некоторых новомучеников как будто уже решила все проблемы. Вопросы, касающиеся Декларации 1927 года, неоднократно поднимаемые в печати, затушевываются как несущественные. Стремление представить церковную культуру односторонне, в виде фресок и икон, не больше, откинув от нее всякую мысль, – также нынешняя тенденция.

Сборник "Дар ученичества" – первый том серии "Христианская Россия: XX век" – книга неординарная. Она для тех, кто интересуется церковной культурой как явлением, причем явлением сложным, и сложным вдвойне в трагических перипетиях нашего века. Авторы данного сборника – люди, размышлявшие о судьбе Церкви и о своей роли в этой судьбе. Люди, стоявшие в непримиримой оппозиции к церковной лжи. Подзаголовок "Потаенная сокровищница" напоминает о не ведомых нам путях, какими были сохранены эти произведения в годы террора; о неуничтожимости церковного предания и живого голоса Церкви.

* Сб.: Дар ученичества. Сост. П. Г. Проценко. М.: Руссико, 1993.

Попытаемся хотя бы вкратце дать представление об авторах и материалах сборника.

* * *

Епископ Варнава (Беляев) и две его повести – "Однажды ночью" и "По Волге... к Царству Небесному".

Интересна судьба человека, начавшего свой святительский путь и путь церковного писателя в самом начале гонений на Церковь. В 1915 году он – выпускник духовной академии, в 1920, в возрасте тридцати трех лет, – принимает епископский сан и становится викарием Нижегородской епархии, попав в подчинение епископу Евдокиму (Мещерякову), одному из тех, кого впоследствии называли "красными архиереями". Обновленческое движение, организованное большевиками с целью расколоть Церковь изнутри, прошло через Нижегородскую епархию самым непосредственным образом, найдя поддержку в лице правящего архиерея. Епископ Варнава, попав в сложную и духовно опасную ситуацию, решает оставить кафедру и уйти в затвор, приняв при этом на себя довольно редкий в наше время подвиг – подвиг юродства. Тем не менее, это не помешало ему быть арестованным в 1933 году.

Срок отбывал в Бийских лагерях. Затем жил тайно сначала в Томске, потом в Киеве, вплоть до своей смерти в 1963 году, до самого конца оставаясь для всех окружающих чудачковатым "дядей Колей", и только в узком кругу близких людей известный как писатель и епископ.

"Василий Ильич Экземплярский (1875–1933) – богослов, религиозный публицист, профессор по кафедре нравственного богословия в Киевской духовной академии. Бессменный секретарь Киевского религиозно-философского общества. Издатель журнала "Христианская мысль", – пишет о В. И. Экземплярском составитель сборника Павел Проценко. В сборнике представлена его работа Экземплярского "Старчество".

Оба автора не приняли Декларацию митрополита Сергия (Старгородского) в 1927 году, поставившую Церковь в зависимое положение от советской власти.

Повесть "По Волге... к Царству Небесному", написанная в пятидесятых годах, возвращает нас в 1913–й, мирный и благополучный год, когда на пароходе, плывущем из Нижнего

Новгорода вниз по Волге, между автором и героиней повести Липочкой завязывается необычный разговор, отправной точкой которого является фраза из Евангелия: "Вам дано знать тайны Царствия Небесного, а прочим не дано". Повествование ведется в виде диалога – жанре, традиционном для начала века. Происходит беседа о тайной, мистической стороне христианства, о смысле внутренней духовной жизни, об основах аскетики. "Не то чтобы учение это, наподобие тайных сект, религиозных и мирских, держалось в тайне и сообщалось только посвященным. Нет, оно, вначале обладавшее всеми этими свойствами, поскольку и само христианство было *religia illicita* (недозволенная религия), теперь, наоборот, распространяемое явно, на ДЕЛЕ... – на деле всё же является для большинства людей ТАЙНЫМ, неизвестным, скрытым. И скрытым, скажем прямо, от неразвитых и непросвещенных внутренних очей и слуха". Героиня повести Липочка желает получить ответ на вопрос: в чем правильный и положительный путь?..

Посвящая нас в тайны духовной жизни, автор рисует нам и другую картину: нравственного состояния России в начале XX века. Объявления, которые читает он в газетах, говорят скорее о царстве невежества, чем о христианском расцвете. Весь разговор о тайнах христианской жизни, о добротелях и их стяжании, о "новой твари" – человеке с новыми расширенными чувствами – происходит на фоне духовного упадка, безверия, пустоты.

Последний мирный год страны, когда еще "красивый купчина средней упитанности" спокойно заказывает себе обед из доброго десятка блюд, когда беспечно звучит романс, а Липочка, студентка консерватории, берет в руки Евангелие только для того, чтобы погадать на нем. Последний год перед чередой катаклизмов, которые сотряснут эту страну до основания, ввергнув в пучину развала, разрухи, братоубийственной войны и нищеты. Тень будущей тревоги уже пробегает по страницам повести: диссонансом звучат описания "купчины" и монахини уездного монастыря, собирающей средства для свой нищей обители. Так вырисовывается картина российской жизни, в которой места христианству остается всё меньше и меньше. И может быть, в лице Липочки всё молодое поколение того времени задает вопрос: в чем же правильный и положительный путь? Как отдельному человеку найти его в этом мире?

Она получает ответ и совершает свой выбор. Годится ли он для всех? Является ли он универсальным? И хотя вскоре вся судьба христианства в России была поставлена под

39-1589

сомнение и подобные Липочки, бывшие студентки консерваторий и пансионеров либо покинули страну, либо влились в общую массу, наполнившую ГУЛАГ, человек был обязан совершить свой частный выбор: определить свое место перед Богом.

Но повесть наводит на размышления по ряду других аспектов, на которые нельзя не обратить внимания. Невольно напрашивается вопрос: какие пути российской жизни привели к крушению общества? Какое оскорбление образа Христа и унижение Его достоинства в душах людей привело к тому, что пришлось платить впоследствии столь дорогую плату? И не повторяем ли мы и сейчас старых ошибок, возводя стены когда-то разрушенных храмов и не думая о том, что творится внутри этих стен? И если сейчас какая-нибудь Липочка или молодой человек задумаются над тем, в чем же "правильный и положительный путь", куда они обратят свой взор? Не отшатнутся ли они от христианского призыва, почувствовав в нем ложь и пустоту? И найдется ли такой попутчик, который сумеет объяснить, что в этом мире, наполненном разнообразными соблазнительными идеями, есть еще одно учение, "скрытое от непросвещенных очей и слуха"?

Нерешенные вопросы времени никуда не исчезают. Нравственные вопросы экзистенциального порядка, некогда отодвинутые на задний план или отброшенные вовсе, по прошествии 70 лет встают снова и требуют решения и ответа.

В статье "Издано с любовью" ("Сегодня", 27 авг. 1994 г.) Яков Кротов, восторженно отозвавшись о внешней, эстетической стороне издания и дав в целом положительную оценку содержанию, при этом замечает: "...Тексты ориентированы на современного читателя, только современность та для нас уже пахнет нафталином... Апологетический разговор с барышней вряд ли много скажет уму современных барышень".

Апологетика, раз состоявшись, угадав когда-то (пусть даже на заре христианства) своего адресата, в принципе, устареть не может. Вечные вопросы поиска смысла, поиски Бога и правды всегда находят последователей. (Хотя Липочек, людей ищущих, как замечает сам епископ Варнава, "раз, два и обчелся".) Те читатели, к которым обращались епископ Варнава и Экземплярский, были вырублены коммунистическим террором, но читатели нынешние – те из них, кто озабочен поиском ответов на "больные вопросы", – не с Луны свалились; неведомым образом они переняли от прежних "барышень" и небарышень не только тоску о вечном, но и саму проблематику христианской культуры, переняли тра-

дицию. "Не всегда и не вполне достигая своей цели, апологетика всегда оказывала услуги христианству: не одерживая побед на неверующими, она помогала верующим оберегать свою веру", – писал в начале века И. Андреев в словаре Брокгауза и Эфрона.

Заявить сейчас о том, что апологетика епископа Варнавы и Экземплярского устарела, значит отказать современным людям (и неофитам, в частности) в поисках ответов на их вопросы, более того – отказать им в праве на сами вопросы. Это значит признать, что осуществилась самая главная коммунистическая мечта – создан "новый" человек, у которого нет никаких вопросов, касающихся его собственной души, Бога и смысла жизни. Но это невозможно, как невозможно уничтожить Бога, Его замысел о людях и вложенный Им в человека религиозный инстинкт.

"Однажды ночью" – это произведение так называемого "житийного" жанра, рассказывающее о жизни св. Григория Акрагантийского, в юности ушедшего в пустыню, чтобы научиться у старцев подвижнической жизни и ставшего впоследствии епископом города Акраганта. Шестой век. Время, еще более отдаленное от нас, нежели век девятнадцатый. Время "еретических бурь и жестоких гонений", время Халкидонского и Пятого Вселенских Соборов. Время лжепророков и лжеучителей, а также даров чудотворений, которыми, кстати, обладал и св. Григорий, хотя его путь к этим дарам, его внутренний подвиг остается от нас скрытым. Несмотря на то, что повесть написана в "житийной" традиции, она сопровождается научными комментариями, что придает ей историческую точность. Св. Григорий, заключенный в тюрьму по навету, даже в лице папы не находит защитника. Те, кто раньше почитал его как святителя, теперь легко с презрением отворачиваются от него. И хотя повесть имеет несколько сказочный, счастливый конец, когда враги св. Григория разоблачены, а он освобожден, она направлена против л о ж н о г о понимания христианской жизни как жизни приятной, с духовными утешениями и своеобразным "душевым" комфортом. Такого, каким стремились его сделать люди многих поколений, приспособлявая неотмирные христианские ценности к интересам и удобствам века.

Для нынешней церковной жизни, для церковного самосознания это весьма актуально. Либо создавать ложный образ "благополучной" Церкви, где всё хорошо и благодатно, либо серьезно и жестко рассматривать церковные проблемы.

Епископ Варнава, прошедший сложный путь от монаха-аскета до викария Нижегородской епархии, от викария до 39*

заклученного ГУЛАГа, затем до церковного писателя, живущего тайно и лишенного возможности священствовать, прекрасно понимал все тонкости соблазна "благополучного" христианства, которое на его глазах воплотилось в "серианстве", купившем это благополучие в советской стране ценой потери духовной свободы.

Так, по прочтении этих двух произведений, – далеко не единственных в наследии епископа Варнавы, стоит сказать: перед нами христианский писатель XX века, своеобразный, еще не изученный, недавно открытый для читателя и не занявший еще своего места в литературе XX века.

Работа Экземплярского "Старчество" посвящена изучению старчества как исторического явления древнецерковной жизни, монашества и аскетики. Этот вопрос тем более стоит признать интересным, что в нынешней церковной жизни старчество в его подлинном смысле отсутствует, а то, что мы наблюдаем, – разделенность церковной среды на чад "каких-то батюшек", есть лишь суррогат старчества, грубая пародия на него, с искажением всей его глубокой сути и смысла. И это явление, а точнее "духовная болезнь", в наше время не случайно. С одной стороны, легкомысленное и широкое использование аскетической литературы в церковной среде, внесение опыта подвижников в нашу жизнь без рассмотрения огромной разницы времен; с другой, – поиск реального духовного авторитета в Церкви, которого она в данное время не имеет; с третьей, – незрелость и неопытность самого духовенства, легко поддающегося соблазну стать кормчими и руководителями, – всё это приводит к созданию псевдостарчества, на котором рано или поздно сбываются слова: "если слепой будет вести слепого, оба упадут в яму". Всё это создает прослойку людей, якобы живущих в Церкви и в то же время представляющих анархичную неуправляемую толпу людей, лишенных осмысленного дела и цели, неспособных решать серьезные жизненные задачи ни самостоятельно, ни с помощью обожаемых "старцев".

Посмотрим, как описывает суть старчества Экземплярский на примере старцев египетской пустыни III–IV веков. Говоря о послушании как об основной обязанности ученика по отношению к старцу и вытекающих из нее следствий – полном доверии, отсечении своей воли, откровении помыслов, Экземплярский обращает внимание и на другой весьма важный момент: взаимную ответственность старца и ученика за дело послушания. "Надо отметить, что такая всецелая преданность ученика воле старца имеет всё же какой-то внут-

ренный предел, за которым подобное послушание становится либо преступным, или бесполезным для ученика. И действительно, такой предел указывался руководителями монастырской жизни. Я сказал, что после мгновения свободного избрания себе духовного отца ученик отказывался от своей воли и от своего разума. Но ясно, что он не только не переставал быть свободно-разумным существом, но и самый подвиг принимался для развития этой свободы духа". И далее: "Подлинная же духовная сущность и ценность старчества всегда состояла и выражалась в самоотреченной любви, которая всю жизнь старца делала радостным служением его духовным детям..."

Специфика старчества и монашества того времени слишком очевидна – это было явление уникальное, неповторимое, оно дало миру выдающихся аскетов и подвижников, но оно никак не призвано было остаться неизменным и не зависимым от внешних задач и проблем, выдвигавшихся временем. При перенесении на другую историческую почву оно должно было обретать другие своеобразные черты. Подражание, копирование, механическое перенесение формы тех отношений в наши дни говорит лишь о том, что самостоятельный институт старчества, а также институт духовного просвещения и воспитания сегодня в Русской Православной Церкви отсутствуют. А почему – об этом стоит задуматься.

Но не только об этом заставляет задуматься писатель. О том, что связи "учитель-ученик", утраченные в наше время, были духовной ценностью в жизни людей, опорой, передачей опыта, спасением души. Разрушение подлинности существа этих отношений привело людей к утрате преемственности положительного опыта, бездуховности, обнищанию, одиночеству, потерянности. Там, где нет учительства и ученичества, построенных на любви с одной стороны и вере с другой, общество напоминает слепых, оскудевших разумом людей. И образовавшиеся пустоты занимают лжеучителя, гуру, масс-медиа. Общество превращается в собрание учеников, считающих себя учителями.

Наличие духовных связей и их глубина говорит о крепости нравственных опор. Но известно, что "по мере умножения беззакония во многих охладевает любовь" (Мф., 24, 12). Остается только пожалеть, что теперь у нас таких опор нет.

Весьма существенно, что сборник "Дар ученичества" появился именно сейчас, когда пыл "религиозного возрождения" несколько угас и проступили очертания реальности, стоящей за ним. Возвращается предание Церкви – то, которое

должно было быть уничтоженным вместе с тысячами уничтоженных людей. Произведения столь своеобразных писателей вовсе не имеют целью показать нам некий образец идеальной христианской жизни, который нами утрачен. Они стремятся всего лишь напомнить о том, что христианство с л о ж н о и призывают быть осторожными в обращении с христианскими ценностями.

Елена БАЖИНА

"А было путешествие отменным..."*

В отличие от животных человек является тем существом, которое ищет смысл в жизни; которое стремится осмыслить свою историю и понять себя как цельную личность; проникнуть ближе к центру бытия. Это стремление проявляется особенно сильно при хаосе и ужасах нами прожитой эпохи – эпохи двух терроров. Религия и искусство (в данном случае – поэзия) способствуют такому приближению к центру, к целостному осмыслению и восприятию событий и даже случайностей. Без такого восприятия жизнь остается раздробленной и абсурдной, а человек отчужденным, его сознание расчлененным. И тут оказывает помощь нам поэзия – стихи сверстников и недалеких предшественников.

Всем нам хочется прожить значительную жизнь совершенного произведения, написанного авторитетной рукой большого мастера: с четким началом, существенными перипетиями и положительной, осмысленной развязкой. Но такая последовательная жизнь эмигрантам не дана. Нам скорее свойственны переломы и разрывы, которые затопляют наше сознание. В результате мы стремимся только бы прожить день. Поэты этого сборника возвращают нам наше прошлое.

Они, свидетели эпохи, закрепляют общие наши с ними следующие темы: время, память, разрушение старой общей и личной жизни, новое понимание потерянного мира и потерянного себя; свежее осмысление нового мира (в частности, Германии и Америки), воссоздание личности при этих же условиях, сохранение родного языка, старость и грядущая

* Берега. Стихи поэтов второй эмиграции. Ред. Валентина Синкевич. Сост.: В. Синкевич и В. Шаталов. Philadelphia. Encounters, 1992. В заголовок вынесена строка из стихотворения Ивана Елагина.

смерть. В общих рамках такова тематика настоящего сборника, с глубоким пониманием составленного В. Синкевич и В. Шаталовым.

Когда жизнь у поэтов бывает в крутой динамике, а не в статике, то постоянное перемещение (бег, уход) учит жить открыто, "по-привальному дверь отворя", как поет воевавший Окуджава. Через открытую дверь врываются струей или роем впечатления. Таким образом физическое движение в пространстве поощряет духовное развитие. Насыщенность впечатлений до предела обогащает внутренний мир поэтов, и вышеуказанные темы находят свой особый язык. Многозначность нашей эры, ее хаос, ее страшные и великие года дают людям талантливым возможность себя реализовать в искусстве.

Приведем далеко не полный ряд примеров этого искусства. О памяти и уходе времени: "А память разворачивает свиток" (Бернер), – и прошедшее становится бесценным; в "Из памяти" Евгения Димер находит уход в детство и отдых душе; Валентина Синкевич по-новому понимает время: "Что, коль сегодня только пятнадцать, / а завтра больше шестидесяти"; Владислав Эллис оправдывает самое свое существование: "Люди верят в мое вчера. / Значит, я – и сегодня что-то!" О теме разрушения жизни Ирина Бушман пишет: "С недоеденным яблоком, / крепко зажатым в кулак, / мы уходили из Рая,...". У Юрия Салманова же: "Снова жизнь я бросил на рельсы / И лечу...". Показательно, что у обоих поэтов разрушение старой, привычной жизни потенциально дает возможность нового сознания.

Новое понимание потерянного и прошедшего явно в стихах Березова: "Как часто случайной перемены мест" и чувствуется у Бернацкой: "Я не знаю тебя, но встает твоя прелесть живая..." ("Царскому Селу"). Ответ старой России сквозь память младенца. Параллельно с пониманием старого происходит и осваивание нового мира, как правило Германии и Америки. Чужие места, чужие пейзажи становятся своими и выявляют у поэтов богатство впечатлений: ночной Мюнхен вписывается привлекательно знакомым в стихи Андрея Касима, как и Нью-Йорк – в стихи Елагина и Ильинского. "А я пишу Нью-Йорк экипажей / Нью-Йорк воздушных шаров!" (Ильинский "Другой Нью-Йорк"). Или же Мюнхен ("Колодец Дианы в Мюнхене" Ольги Анстей) и Бавария у Юрасова ("Нет, не чужой я! / Ни этой баварской осени, / Ни этой альпийской дали") даны в новом, освежающем ракурсе.

Но если новый мир сравнительно легко освоить, то как быть со старой личностью, с прежним "я", особенно когда единый исторический опыт террора и страха делится на многообразие личного опыта в спокойные времена. Тут появляются разные взгляды. У таких, как Ирина Бушман ("Урок великий почерпни / Ты у крылатых пилигримов") и Глеба Глинки ("Лишь облака и поэты / Не признают рубежей") остается страсть к динамике. Другим видны ценности в статике: "Будем жить никому неведомым быльем...", "Вот и всё: / Как беспредельно много!" (Б. Филиппов). "Встают все образы развеянных годов.../ И кажется, ты жизнь принять готов" (Н. Бернер). Такая участь беженца далеко не бедна. Парадокс потери в том, что уходящее освобождает внимание и сознание для нового, хотя само не уходит.

Разумно и светло звучат строки Татьяны Фесенко:

Я знаю всё, печальное и злое,
Что, не скупясь, нам родина дала.
Я из дому в недобрый час ушла,
И вот живу в довольстве и покое,
Трудом упорным оплатив сполна
Всё, что дала чужая сторона.

Но у других чувства уверенности и почвы часто попадают под сомнение. Знаком и мотив отчужденности: "И в сотый раз попробую понять / Свою беспутную мучительную повесть" (Бонгарт); "Страшен мой город / И я - чуждых нравов раба?" (Бабенко); "Как нам песню пронести Господню / По земли чуждей?" (Анстей).

Объединяет всех этих поэтов, конечно, преданность языку. "...Пока мы с ним, на нем - / Мы даже, может быть, титаны сами", - пишет Ольга Анстей, и в нашем воображении шеренгой выстраиваются поэты за ее словами. В своем стихе "В миниатюре" Николай Моршен беспокоится об измельчании русского языка в СССР и своей заботливостью, то есть писанием стихов, сохраняет полноценный русский язык. И, как мы знаем теперь, вместе с другими поэтами возвращает его русскому читателю в России. Тут вспоминаются елагинские несбывшиеся желания: "Полететь мне по свету осколком, / Нагуляться мне по миру всласть / Перед тем, как на русскую полку / Мне когда-нибудь звездно упасть".

При нашей еще жизни исчез железный занавес, и разорванный круг как-будто сомкнулся, а что же остается нам, оставшимся на дальнем берегу? Только подтвердить нашим опытом ранние слова нашего же поэта Вячеслава Нечаева: "Мы правду временем измерим / И скромным подвигом

своим" ("Благословенье") и повторить слова Ивана Елагина: "А было путешествие отменным".

Благодаря усилиям Валентины Синкевич и Владимира Шаталова это эмигрантское "путешествие" стало доступным русско-язычным читателям по обе стороны океана и особенно должно быть оценено в России, где теперь проявляется сильнейший интерес к судьбе именно второй эмиграции, так как она (по сравнению с первой) всегда была "Terra incognita".

Георгий ПАХОМОВ

* * *

*

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

Г е р г е н р е д е р Игорь Алексеевич. Род. в 1952 году в г. Бугуруслане Оренбургской обл. в семье русских немцев, высланных туда во время войны. Закончил факультет журналистики Казанского университета, работал в различных газетах. Начал писать прозу. С 1985 года стали выходить его рассказы, повести в журналах, в коллективных сборниках. Вот что пишет автор в своем письме в редакцию: "Мой отец прошел рядовым горестный путь Народной армии Комуча от Сызрани до Иркутска, участвовал в бою на реке Салмыш в апреле 1919 года, в сражении на Тоболе в сентябре того же года и в других боях. Был дважды ранен. Попал в плен к красным в Иркутске, заболев тифом; несколько лет провел в одном из самых первых советских концлагерей. Когда я родился, отцу было уже 50 лет. Мы жили в Бугуруслане, отец преподавал русский язык и литературу в средней школе. Он рассказывал, – а рассказчиком он был отменным! – мне свою жизнь, я вырос на его воспоминаниях... Отец умер на 89-м году жизни. Основываясь на услышанном от него, я написал ряд рассказов. Один из них и предлагается читателю..." С недавнего времени автор живет с семьей в Германии.

Ж и л к и н а Татьяна Александровна. Родилась в Иркутске. Окончила филфак Иркутского университета. Журналист. Работала в газетно-журнальных редакциях на Дальнем Востоке и на Украине (Киев). Последние годы живет в Москве. В "Гранях" № 168(2)/1993 был напечатан ее очерк "Тридцать дней февраля" (под псевдонимом Татьяна Калинина) и в № 170(4)/1993 – этюд о В. Д. Набокове "Из небытия".

К р я ч к о Борис Юлианович. Род. в сентябре 1930 года. Ученый-филолог, профессор, специалист по старо-английской филологии, русский писатель, живущий в Эстонии. Лет десять назад на Запад попала довольно объемистая папка рукописей, на которой имя автора было обозначено: Андрес Койт – балтийские имя и фамилия ("койт" по-эстонски, если не ошибаемся, означает "роса") в сочетании с удивительно русской фактурой сказа многих рассказов и особенно замечательной повести "Битые собаки", давали основания считать, что автор назвался псевдонимом. И только в 1991 году мы узнали настоящее имя писателя.

Лучше всего он сам рассказал о себе в опубликованной в "Гранях" № 158 беседе с молодыми таллиннскими журналистами Ириной и Виталием Белобровцевыми.

М а л ь ц е в Юрий Владимирович родился в 1932 году в Ростове-на-Дону. Окончил филологический факультет Ленинградского университета в 1955 году. Преподавал итальянский язык на историческом факультете Московского университета, печатал в московских и ленинградских издательствах свои переводы А. Моравия, Эдурдо де Филиппо, Л. Скварцина, Ч. Дзаватини, К. Монтелла и др., а также статьи в разных журналах. В 60-х годах стал активным участником Демократического движения в защиту прав человека в СССР, за что был уволен с работы. А после того как вошел вместе с 15 другими наиболее известными диссидентами в Инициативную группу защиты прав человека, был заключен в психиатрическую больницу, однако, в результате протестов друзей в Москве и за границей вскоре был освобожден.

В 1974 году, после серии долгих допросов в Лефортовской тюрьме КГБ, получил, одновременно

с рядом других диссидентов, возможность эмигрировать из СССР. Ему удалось тайно вывезти часть своих рукописей и позже в "Новом журнале", в "Новом русском слове", в "Русской мысли" был опубликован ряд его рассказов и документальный очерк "Репортаж из сумасшедшего дома". Поселившись в Италии, начал преподавать русский язык и литературу в университетах Пармы и Перуджи.

В 1977 году в издательстве "Посев" вышла книга Юрия Мальцева "Вольная русская литература. 1955-1975" – обширнейший и до сегодняшнего дня наиболее полный единственный обзор современной русской бесцензурной литературы, распространявшейся самиздатом. Автор не только описывает историю зарождения и развития литературы самиздата в самых разнообразных ее жанрах, но и дает глубокий литературоведческий анализ как отдельных произведений, так и творчества в целом очень большого числа авторов самиздата.

В "Гранях" № 147(1)/1988 была опубликована большая аналитическая работа "Личность Бориса Пастернака".

В марте 1994 г. в Москве издательство "Посев" через свой Филиал выпускает новую книгу Ю. Мальцева "Иван Бунин. 1870-1953".

М и х а л е в и ч Алла (Валерия), петербургский поэт. Автор книги стихов "Эхо" (1990 г.), печаталась в журналах "Звезда", "Нева", сборниках "Молодой Ленинград", "Невские просторы". Многолетний участник литературного объединения Александра Кушнера. Член Петербургского союза писателей.

П а х о м о в Григорий, филолог, преподаватель одного из местных колледжей в Филадельфии (США).

П о п о ф ф, Александра (урожд. Бакланова), недавний московский литератор, писала под псевдонимом Ланина. В Москве вышла книга ее рассказов "Судьбы скрещенья" (1989 г.), много публиковалась в периодических изданиях. Вышла замуж за журналиста, потомка духоборов. Живет в Канаде, преподает в местном университете и пишет статьи и рецензии в канадские газеты.

Р а с к и н Давид, петербургский поэт. Участник литературного объединения Александра Кушнера

С е н д е р о в Валерий Анатольевич родился в 1945 году в Москве. Математик. Закончил Московский физико-технический институт. В 1968 году перед самой защитой диплома был исключен из института со стандартной формулировкой - "за поведение, недостойное звания советского студента, которое проявилось в чтении, распространении и обсуждении философской литературы". В 1970 году, после двухлетней борьбы с чиновниками от образования, диплом было разрешено защитить. В том же году В. Сендеров поступил в аспирантуру Московского областного педагогического института, откуда через год был отчислен за написание работы "Философия Ницше". С тех пор - редчайший в научной практике случай - вольный (как противовес "невольному", служащему) математик. К настоящему времени автор нескольких десятков работ по функциональному анализу, почетный член Американской Академии наук, один из авторов задачника для одаренных школьников "Физико-математические олимпиады" (М., "Знание", 1977), постоянный устроитель и член жюри юношеских математических олимпиад, автор (совместно с Б. Каневским) самиздатской работы "Интеллектуальный гено-

цид", в которой авторы протестовали против дискриминации евреев при поступлении в вузы в период, известный под название "застойного".

В апреле 1982 года у В. Сендерова был проведен обыск, изъяты рукописи, книги, материалы НТС. Сознывая неизбежный арест, он сделал заявление для прессы, в котором просил считать момент ареста моментом его самоприема в Народно-Трудовой Союз российских солидаристов. 17 июня 1982 года В. Сендеров был арестован с предъявлением обвинения в издании и распространении Информационных бюллетеней СМОТа и передаче материалов в "Посев". Приговор: 7 лет лагерей плюс 5 - ссылки.

В связи с горбачевской "перестройкой" был выпущен осенью 1987 года и тут же, как и прежде, включился в общественную деятельность, став открытым представителем НТС в Москве. С апреля 1993 г. - член Исполнительного Бюро НТС. Член редколлегии и постоянный автор общественно-политического журнала "Посев", а также автор журнала "Грани", редакции которого он помогает как собственными материалами, так и нахождением новых авторов.

У т е х и н Сергей Васильевич, известный русский историк, автор многочисленных статей и книг по русской истории и правоведению. До выхода на пенсию был профессором истории Стэнфордского университета (США, Калифорния). Живя за границей по паспорту "бесподданного", год назад получил российское гражданство, два семестра вел курс истории России и истории российской государственности и права в Новом Гуманитарном университете в Москве.

ИЗДАТЕЛЬСТВО "ПОСЕВ"

POSSEV-VERLAG, V. Gorachek KG
Flurscheideweg 15, D-65936 Frankfurt a. M.

Tel.: (069) 341265

Telefax: (069) 343841

Postscheckkonto: 33461-608 Ffm

Dresdner Bank AG BLZ 500 800 00, Kto 241275500

Ответственный издатель: М. В. Горачек
Директор российского филиала: К. В. Русаков
Коммерческий директор: Л. А. Мюллер

Условия подписки для заграницы на 1995 г.:

Журнал "Посев" (6 выпусков в год)

Годовая подписка в издательстве	60 нм
Годовая подписка через посредников	70 нм
Почтовые расходы	10 нм

Журнал "Грани" (4 выпуска в год)

Годовая подписка в издательстве	60 нм
Годовая подписка через посредников	70 нм
Почтовые расходы	10 нм

Доплата за воздушную почту на "Посев" и "Грани":

Сев. Америка, Африка, Бл. Восток	20 нм
Южн. Америка, Дальний Восток	30 нм
Австралия, Новая Зеландия	40 нм

Торговые представительства издательства "ПОСЕВ"

АВСТРАЛИЯ	S. Sesin, Unification Bookstore, 43 Croydon Rd., Surrey Hills, Vic., 3127
БЕЛЬГИЯ	B. P. 1094-Bruxelles 1
БРАЗИЛИЯ	O. Aleksandrow, Av. Lavandisca 648, Moema, 04515 Sao Paulo
ВЕНГРИЯ	Bartók Béla, út 16. 1.em. H-1111 Buda- pest. Tel.: 361/ 186-2527
США	G. Valk, 501 5th Ave. Suite 1612, New York, NY 10017
ШВЕЙЦАРИЯ	G.Bruderer, Möslweg 40, CH-3098

"ГРАНИ"

Журнал литературы, искусства, науки и общественно-политической мысли

Мнение авторов не всегда совпадает с точкой зрения редакции. Авторы опубликованных материалов несут ответственность за подбор и точность приведенных фактов, цитат, статистических данных, географических названий и иных собственных имен и прочих сведений, за оценку событий и персоналий, а также за то, что в материалах не содержится данных, не подлежащих открытой публикации. Редакция оставляет за собой право публиковать рукописи в сокращенном виде.

Непринятые рукописи не возвращаются.

Редакция не может высылать авторам рецензии на их произведения, давать консультации литературоведческого или юридического характера и выступать ходатаем в официальных учреждениях. Направляемые в адрес редакции рукописи должны быть напечатаны на машинке через два интервала четким шрифтом (допускается аналогичный компьютерный вариант) без правки, вставок и вклеек. Рукописи представляются в редакцию в двух экземплярах. Объем каждого предлагаемого материала не должен быть более трех авторских листов. Рукописи, превышающие указанный объем, редакцией рассматриваться не будут.

Учредитель: Филиал Коммандитного товарищества
"Издательство ПОСЕВ".

Журнал зарегистрирован в Министерстве печати и
информации Российской Федерации.

Свидетельство о регистрации № 011038 от 13.01.1993.

Адрес московского филиала издательства "Посев"
для оформления подписки, заказов на отдельные экземпляры
и комплекты журналов "Грани" и "Посев",
на книги издательства "Посев" и писем:
103031 Россия Москва К-31 Русакову К. В.
Телефон: 927-27-37. Факс: 927-25-47.

© ГРАНИ-ГРАНИ

Индекс 73078

Подписано к печати 18.02.1995. Формат 84х1-8 1/32.

Бумага офсетная. Печать офсетная. Усл. печ. л. 20. Усл. кр.-отт. 15.

Уч.-изд. л. 16. Тираж 2000 экз. Заказ № 1589

Отпечатано с оригинал-макета в ДПК.

142040 Моск. обл. г. Домодедово, Пионерская ул., 18.

ЖУРНАЛ "ПОСЕВ"

*** * ***

"Посев" – общественно-политический журнал, выходящий с 1945 года. До 1990 г. "Посев" выходил за рубежом и был органом свободной российской оппозиции, трибуной свободного слова из России. Теперь журнал выходит в самой России, следуя своим прежним принципам участия во внутрироссийской политической борьбе за право, свободу и справедливость. Эта задача определяет направленность журнала, который:

- поддерживает российское освободительное движение во всех его гуманных проявлениях;

- стоит на позициях национально-государственных интересов России;

- участвует в обсуждении современных и будущих проблем российского государства (политических, экономических, социальных, идеологических, духовных);

- стремится к выявлению в России конструктивных сил, осознающих необходимость оздоровительных перемен во всех областях жизни страны и готовых к активному участию в их проведении.

Журнал "Посев" выходит 6 раз в год (каждый второй месяц) на 128 страницах.

**Продолжается подписка
на журналы "Грани" и "Посев"
на 1995 год**

Индекс журнала "ГРАНИ" по каталогу "Роспечати" -
73078 (четыре номера в год)

Индекс журнала "ПОСЕВ" по каталогу "Роспечати" -
73308 (шесть номеров в год)

ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА

Начиная с осени 1994 года, Вы имеете возможность подписаться на журнал "ГРАНИ" непосредственно через новый отдел подписки филиала издательства "Посев" в Москве.

Это хорошая возможность получать журнал в срок, в нашем конверте и наложенным платежом - *значительно дешевле* традиционной подписки в "Роспечати". Экономия средств - от 40% до 600% в зависимости от региона.

На первое полугодие 1995 года каждый номер журнала будет стоить Вам всегда всего *одну тысячу шестьсот рублей* плюс пересылка бандероли.

Вы также можете оформить подписку на журнал "ГРАНИ" - перечислив почтовым или банковским переводом (по Вашему выбору) **ТРИ ТЫСЯЧИ ДВЕСТИ** рублей издательству "Посев" в Москве (за два номера журнала, т. е. за первое полугодие 1995 г.).

Адрес для почтовых переводов:
103031 Россия Москва К-31

Русакову Константину Владимировичу.

Номер счета для оплаты через банк:
Расч. счет 1810591 в Марьинорощинском ОСБ;
ОПЕРУ МБ СБ РФ в г. Москве.
Кор./счет банка 164110, код ВА; МФО 201906.
Новый МФО 44583342 (указывать оба МФО).

На бланках переводов напишите:
"Посев-Филиал", "Журнал ГРАНИ -
подписка на первое полугодие 1995 г."
Точно укажите ВАШ ПОЧТОВЫЙ АДРЕС С ИНДЕКСОМ
- по нему вам будет высылаться журнал.